

150

1868-2018



НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
МАКСИМА ГОРЬКОГО

НИЖНИЙ НОВГОРОД

NIZHNY NOVGOROD 1(18)/2018



КСЕНИЯ
КОНОВАЛОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8



НИКОЛАЙ
ЛАЛАКИН
ВЛАДИМИР

22



НАТАЛЬЯ
РЕЗАНОВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД

26



СЕМЁН
БИГОВСКИЙ
ЧЕБОКСАРЫ

45



АНДРОНИК
РОМАНОВ
МОСКВА

54



АНАСТАСИЯ
БЕЗДЕТНАЯ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

57



АЛЕКСАНДР
КОВАЛЁВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

62



ВИКТОР
БЕРДИНСКИХ
КИРОВ

66



ЕВГЕНИЙ
СТЕПАНОВ
МОСКВА

107



ПАВЕЛ
КРУСАНОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

118



ОЛЕГ
ДЕМИДОВ
ХИМКИ

148



ПАВЕЛ
БАСИНСКИЙ
МОСКВА

168



НИКОЛАЙ
ФОРТУНАТОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

176



МИХАИЛ
ЧИЖОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

202



ЕЛЕНА
СОМОВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД

238

16+

В НОМЕРЕ

Проза

Олег РЯБОВ	
ЛИПЫ МАКСИМА ГОРЬКОГО	4
Ксения КОНОВАЛОВА	
НЕ СПИТСЯ	8
Виктор ЕРШОВ	
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК	14
АНГЕЛ МОЙ...	20
Николай ЛАЛАКИН	
ПЕНАЛЬТИ	22
Наталья РЕЗАНОВА	
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛОТОС	26
Иван КАТКОВ	
ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ	39
Семён БИГОВСКИЙ	
СХИМНИК	45

Поэзия

Андроник РОМАНОВ	
Я – ЭТО ТОТ, КТО КО МНЕ УЖЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ...	54
Анастасия БЕЗДЕТНАЯ	
ЗОЛОТЯТСЯ У МИРА ВИСКИ...	57
Александр КОВАЛЕВ	
КАЗАЛОСЬ, ВСЁ ДАВНО УЖЕ СЛУЧИЛОСЬ...	62

Проза

Виктор БЕРДИНСКИХ	
РУССКИЙ НЕМЕЦ. Роман о времени	66

Поэзия

Евгений СТЕПАНОВ	
СПАСИБО ЗА ЭТОТ ПРИВАЛ	107
Галина ТАЛАНОВА	
Я ЗА НИТОЧКУ СВЕТА ДЕРЖУСЬ...	110
Даниил СИЗОВ	
ВНЕ МОЛЧАНИЯ	115

Публицистика

Павел КРУСАНОВ	
ПРЯМАЯ РЕЧЬ	118
ШАНС ВЫРАСТИТЬ КРЫЛЬЯ	122
Александр РЯБОВ	
НАША ПАМЯТЬ	126

К 150-летию со дня рождения А.М. Горького

Андрей РУМЯНЦЕВ	
«ПРОТИВИТЬСЯ ЗЛУ ЖИЗНИ...»	131
Елена КРЮКОВА	
ЕСТЬ БОГ	145
Олег ДЕМИДОВ	
ГОРЬКИЙ И ИМАЖИНИСТЫ	148
Павел БАСИНСКИЙ	
СТРАННЫЙ ГОРЬКИЙ	168
ТРАГИЧЕСКИЙ КОРДЕБАЛЕТ	173
Николай ФОРТУНАТОВ	
БЛИЗНЕЦЫ – АНТИПОДЫ? Платон Каратаев Л. Толстого и Лука М. Горького	176
Эдуард КУЗНЕЦОВ	
МАКСИМ ГОРЬКИЙ И САТИРИКИ	190
Михаил ЧИЖОВ	
М. ГОРЬКИЙ. XXI ВЕК Перечитывая «Заметки о мещанстве» и «Разрушение личности».	202
Ирина КУЗНЕЦОВА	
ДАРЫ МАКСИМА ГОРЬКОГО	210
Вячеслав ФЕДОРОВ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА	216

Стихи по кругу

Александр ПОПОВ	229
Наталья ОКЕНЧИЦ	229
Мстислав ШУТАН	231
Сахиб МАМЕДОВ	233
Елена ОСТРЫХ	234
Сергей МАРЧИК	234
Александр КОНОПКИН	235
Вячеслав МАЙОРОВ	237
Елена СОМОВА	238
Пётр РОДИН	239

Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами внеземных цивилизаций), облкниготорге, издательстве «Нижполиграф».

В настоящее время – директор издательства «Книги». Член «Российского Союза антикваров», «Национального Союза библиофилов». Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки».

Член Союза писателей России с 2002 года. Живёт в Нижнем Новгороде.

ЛИПЫ МАКСИМА ГОРЬКОГО

К 150-летию со дня рождения Максима Горького

Мне приходилось залезать на нижние ступени пирамиды Хеопса, трогать камни Колизея и стоять в подвале Гур-Эмира перед могилой Тимура. Но никогда я не испытывал большего трепета, чем от общения с живыми свидетелями замечательных или скорбных страниц истории. Я имею в виду деревья. Ещё значительнее общение с питомцами великих людей, взявших в руки лопату в трудную или светлую минуту своей жизни и посадивших, а значит, и оставивших на память потомкам живое существо (а может, не существо).

Вы представляете, как это замечательно: посидеть на Цейлоне под деревом, помнящим Будду, или на Крите разыскать оливу (они живут до трёх тысяч лет), слушавшую Гомера, а ведь есть живой дуб, под которым Иван Сирко писал письмо турецкому султану, поныне живо и дерево, с которого Емельян Пугачев разглядывал горящую Казань. Да и четыре сосны во Львовке, посаженные Натальей Ланской, вдовой Пушкина, живые свидетели нашей истории.

Я не оговорился: они слышат и помнят. Это научно доказано. Просто мы пока ещё не умеем пользоваться той информацией, которой владеют наши зелёные братья. Может, как-то нехорошо так их называть: заигрывающе или панибратски? Да и братья ли, когда мы каждый день мимодумно, а часто и безрассудно обращаемся с ними.

Хотя лесные народы, мордва или черемисы, прекрасно сознают, что Кереметь всегда накажет человека, неуважительно отнесшегося к священному дереву или роще. А рощу любых деревьев стоит считать

всегда одним существом, точнее организмом, потому что у неё единая корневая система.

Множество раз, оглядывая свою жизнь, как большое поле битвы, Максим Горький вспоминал летние месяцы 1903 года как самое счастливое время. Он отдыхал тогда на даче в поместье Турчаниновых в Горбатовке с женой Екатериной Павловной и с детьми Катей и Максимом. Вместе с ними на отдых приехали и тёща писателя Мария Александровна с племянницей Ольгой и две служанки.

В те годы «Нижегородской Ривьерой» назывались в народе эта местность: Желнино, Сейма, Игумново, Растяпино, Черное. Окские золотые пески, речные прогулки на лодках, сосновые рощи и походы за грибами, весёлые компании и любительские спектакли, концерты, на которые приглашались из города знаменитости, делали этот район Черноречья излюбленным местом летнего отдыха нижегородской интеллигенции и чиновников. Купцы и промышленники, адвокаты и врачи снимали в этих селах и деревнях дома под дачи на лето. Тут же находились и летние резиденции нижегородских миллионщиков Бугрова и Башкирова, которых Алексей Максимович хорошо знал и запросто ходил к ним в гости. Именно тогда в Черноречье была задумана и написана Горьким пьеса «Дачники». Его соседи по даче, его ежедневные собеседники становились прототипами будущих героев пьесы.

Алексей Максимович Горький не догадывался тогда, что это его последний год проживания на родной нижегородской земле.

К этому времени слава Горького стала по-настоящему всемирной, его книги издаются в десятках стран, его пьесы играют на главных сценах, он получает бешеные гонорары, общаться с ним, быть знакомым с ним престижно. Алексей Максимович прекрасно понимает, что его общественное положение, его статус резко меняется именно в эти годы. Но именно тогда и завязывается один из главных амуров великого писателя, до сих пор вызывающий много споров и кривотолков, и предметом его была Мария Андреева, замечательная актриса МХТ и партнёрша Станиславского, с которой Горький познакомился ещё в Крыму.

Николай Александрович Бугров, купец-старообрядец, выросший в непролазных и заповедных заволжских лесах, один из богатейших людей России, позволявший себе называть премьера Сергея Юльевича Витте просто «Витей», присылал за писателем свою коляску. И это только затем, чтобы провести с ним несколько часов в беседах под белоснежным шатром на Сейме, где стоял его знаменитый на всю страну сказочный домик-пряник.

Здесь, на Сейме, Горький, человек сугубо городской, впервые прямо-таки столкнулся с совершенно незнакомой ему ранее мощной культурой «лесных людей», для которых живыми, а точнее обожествленными, становились и небо, и земля, и вода, и деревья, и отдельные виды животных. Это удивительным образом совмещалось с христианским старообрядческим мировоззрением.

Ардальен Иванович, садовник-грек, которого купец-миллионщик пригласил из Крыма, чтобы озеленить и обустроить территорию вокруг своего деревянного гнёздышка, просветил великого писателя и убедил его, что посаженное дерево – лучший памятник человеку, потому что дерево помнит, кто его сажал и ухаживал за ним в первые трудные дни, недели и месяцы. Под корой деревьев бежит живительный сок, похожий на нашу кровь, а каждая клетка его живет и копит и передает знания об окружающем мире через свои семена. А главное – дерево живёт

многие сотни лет, и редкий каменный или железный постамент сможет сравниться с ним в долголетию. И липа, и дуб могут жить по тысяче лет.

Детские игры и забавы, прогулки в лес с шестилетним Максимом и трёхлетней Катей были ничем не заменимой радостью. Собирались грибы и жуки, рассказывались сказки и учились стихи. Катания на качелях и на лодках, ежедневные новые детские игры и шарады – у Горького была неистощимая фантазия на выдумку развлечений и забав. Всё это было замечательно, ежедневно, неповторимо и волшебным.

А вот после разговора с садовником Ардалием писатель со своими детишками ходил в лес, выкопали они там три («на каждого!») молодых, но уже крепких липки, таких, которые ещё не цветут, и посадили их прямо под окнами турчаниновского дома. Каждый день он отливал молодые деревца – не дело заниматься такими пересадками в июне. И через три дня листики, вначале повисшие тряпками, снова затвердели, зашуршали, зашелестели, глянец заблестели.

Но всё же основной и ежедневный интерес Горького был на железнодорожной станции, куда он ходил регулярно за письмами, газетами и прочей корреспонденцией. Туда же приходили и любовные письма от Андреевой, роман с которой только-только начал развиваться.

Высокий, подтянутый, даже худой, в красной рубашке, подпоясанной ремешком, в легких сапогах, широкополой соломенной шляпе с тонкой можжевеловой тросточкой, вырезанной собственноручно, он добирался до станции за двадцать минут, дорога назад занимала в два раза больше времени: сидя на особом привычном поваленном дереве, читались безумные, страстные объяснения в любви.

Через год станцию Чёрная переименовали в станцию Растяпино. Сделано это было по непосредственному распоряжению Желябужского Андрея Алексеевича, главного контролера Курской и Нижегородской железных дорог, законного мужа М. Ф. Андреевой, которая посылала Горькому любовные письма на станцию Чёрное. Себя хотел укорить, а наказал жителей, которых стали «растяпами» звать.

Через три года, в Америке, где писатель находился в рабочей поездке уже со своей гражданской женой Андреевой (она уже научилась подписывать письма – Мария Пешкова), догнала писателя страшная весть: умерла от менингита его дочка-любимица Катенька. Жестоким было наказание за этот внебрачный амур, и Горький всю жизнь себя корил за это предательство по отношению к семье. Только в письмах оставалось ему теперь писать о маленькой девочке, бегущей по лесу и кричащей: «Я нашла ги-лип!»

Писатель туда, где ему было как никогда хорошо, вернулся через четверть века. Он вернулся на родину, на родную нижегородскую землю, вместе с сыном Максимом.

После пятнадцати лет эмиграции страна с триумфом встречала своего великого писателя и мировую знаменитость. Ему было устроено грандиозное турне по стране Советов, в маршрут был включен и Нижний Новгород, ещё не переименованный в его честь. Курировал все встречи писателя с коллективами рабочих и сопровождал его лично Андрей Александрович Жданов, первый секретарь Нижегородского крайкома. В обязательную программу посещений был включен и только что вступивший в строй гигантский химический комбинат в Черноречье. Кроме Жданова и сына Максима сопровождал их в этой поездке какой-то местный писатель, имя которого Горький тут же почему-то забыл.

Ехали на крайкомовской машине. На крутом подъеме, среди вековых сосен, в песках забуксовал автомобиль. Не было никакой возможности своими силами его вытащить или вытолкать. Пришлось вызывать для гостей пролётки, запряженные безотказными лошадками. Горький сел с неизвестным писателем, а сын Максим – со Ждановым.

Видимо, судьба великих людей складывается из случайностей, иногда не очень хороших, а чаще – очень хороших и перспективных. Извозчик (я буду называть его так), который вёз Горького, был из местных, и писатель разговорился с ним. Болтали о жизни – Горький был всегда человеком любопытным. Болтали о пролётке, о рессорах, о том, какая пролётка была у Павла Ивановича Чичикова, а какая у Николая Александровича Бугрова и которая лучше. Местный писатель всё больше молчал. И вдруг что-то активно стало отвлекать от разговора Алексея Максимовича, что-то знакомое увиделось ему в стороне, что-то напомнило ему о прошлом. Он попросил извозчика остановиться

– А скажи-ка, дружок, – обратился к нему Горький, – не слышал ли ты, где тут много-много лет назад, еще до революции, жили Турчаниновы?

– Товарищ Горький, – ответил извозчик, – мне ведь самому много-много лет, и я тут знаю каждую собаку и каждую подворотню, а иначе меня бы к вам и не приставили. А Турчаниновы, если это те, которых я помню, жили на соседнем порядке. Можно тут развернуться да подъехать. Только мы опаздываем на собрание: люди ждут!

– То, что люди ждут, – плохо! Ну, товарищ Жданов это на себя примет. А ты вот что – будь любезен, если не трудно, подвези, покажи мне этот дом Турчаниновых. Уж очень мне надо!

Август. Деревенская пыльная улица без травы, без палисадников, длинный, одноэтажный, обшитый досками, почерневшими от дождей, старый дом, где-то покосившийся, где-то провалившийся. И с торца, обнимаясь друг с другом, стоят, тянутся вверх три красивых мощных липы.

Писатель осторожно спустился с пролётки, держась за поручни, опираясь на подножку.

– Посидите, друзья, минутку. Я мигом, – сказал он своим попутчикам. И уже про себя пробормотал: – Что же я не взял в свою пролётку Максима-то. А может, и не надо: может, это судьба! Значит, так намечено.

Долго-долго стоял великий писатель, поглаживая красивые, будто лакированные, стволы взрослых деревьев, пока его не окликнул извозчик. Местный автор (а может, это и не автор был, а кто-то совсем другой?) подошел к Горькому:

– Алексей Максимович, вам не помочь? Может, поедем?

– Иди, иди, голубчик. Я сейчас помолюсь по-своему, и – тоже!

На собрание, конечно, опоздали.

А липы Горького стоят посреди улицы и тянутся в небо уже вторую сотню лет.

Его липы. Только никто уже не вспоминает про это.

Ксения КОНОВАЛОВА

Родилась в 1995 году в Омске. В настоящее время студентка магистратуры Санкт-Петербургского госуниверситета, факультет международных отношений.

Участница прошедшего недавно в рамках XI Ассамблеи Русского мира международного конкурса «Всемирный Пушкин», организованного фондом «Русский мир» и Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Болдино».

Живет в Санкт-Петербурге.

НЕ СПИТСЯ, или Одна ночь из жизни Столыпина

Дождит в субботу и в воскресенье, и в саду налиты до краев две белые вазы. В горлышках их обеих спят жуки-водомеры; по жукам щелкают крупные капли.

...Дорога измотала его, и ветла, раненная прошлогодней грозой, стучалась в окно и измотала еще больше, и он не уснул. Он вспоминает, как немного лет тому назад сам попросил, чтобы дом для них был в саду, одергивает одеяла и уходит прочь из комнаты. Последнюю неделю он весь выветрился в поездах, и возит с собой сам дух купейного вагона и стучающие колеса, и холод из форточки – прямо под пижамной рубашкой.

Он идет на лестницу, ступеньки похрипывают под ним. Он удивляется, что и в этот естественный звук, привязанный всегда к его дому, забралось «тук-тук-так-ту-у!».

Он спускается, с одной рукой на перилах и мыслью о том, что держаться двумя – еще нет, не по возрасту, а скажи кому о бессоннице – упадет со смеха.

Пижамы на ногах доходит до щиколоток. Ноги гудят – день напролет носили его по размокшему Петербургу.

...Энгельгардт попадаетеся ему в западной гостиной. Она выглядит молодой и маленькой, на ней ночная сорочка, и перед ней на столе – всего один слабый светильник. От светильника идут пятна такого цвета, как если бы в нем поселилась маленькая заря, и в пятнах скатерть, и сама Энгельгардт также в пятнах. Кроме светильника на столе он видит коробочку. У коробочки откинута крышка, и по гостиной – тонкий минор. Энгельгардт сидит, скосив голову к плечу, и смотрит внутрь коробочки. Там механизм крутит в танце маленького кавалера в жабо и маленькую даму.

Стул под Энгельгардт стоит хитро боком.

– Оля? – окликает он вполголоса.

Она, не поворачивая головы, говорит:

– Я посидеть пришла. Не спится.

Голос ее дрожит, в ее голосе много воды. Он догадывается, идет к ней ближе, останавливается у самого стола. Теперь он кладет правую руку на верх коробочки. Завод выхрустывает одну нотку и запирает всю музыку. Энгельгардт удивляется и поднимает на него глаза, блестящие, водяные.

– Я, Оля, так берег, пока в Питере ходил. Завернуть не завернули, и я по-всякому, понимаешь, спасал от ливня... Машу огорчу, думаю, если испортится... А тут от тебя все равно заржавеет. Что за дело, Оля?

Энгельгардт приставляет платок к глазам, не отвечает ни слова и не дышит. Женская истерика от него надежно запрятана.

– Отчего ты плачешь? – Он гладит ее по голове левой, не дуэлянтской рукой.

Она отвечает:

– За тебя тяжело... Не могу.

– Ну... – Он обнимает ей зараз оба плеча, в ней что-то прорывается, и она плачет в голос. – Дети спят, Оля, ты что.

Энгельгардт поднимается со стула. Голова Энгельгардт приходится ему между подбородком и грудью. Он выпрямляется, смотрит поверх нее и скрещивает на ней руки. На шее у него моргают.

– Уйди, уймись. И так знобит, еще ты холодная, – он высвобождается и сажает Энгельгардт обратно.

– Ты не заболел? – Энгельгардт водит по нему светло-голубыми глазами, трогает его щеку.

– Нет, здоров, – отвечает он. – Перемерз, перетрясло... Ничего, Оля.

– Смотри. Сам, – произносит Энгельгардт, глотая слова обрывками.

Он уходит к дверям, оборачивается. Энгельгардт сидит, упирает лоб в ладонь, как приговоренная.

– Петя!.. Посиди со мной. Минутку.

Он идет опять к столу, берет себе стул, складывает руки на колени.

– Так, Оля?

Энгельгардт кивает, кивок ее судорожный, набирает воздуха.

– ... Ты сам ничего не боишься, я вижу. А я, дети... Тебе не жаль, да?

– Оля, ты что! Откуда ты взяла все это? – Он поднимается. Лицо его вытянутое.

– Скажи мне, – свистит из ее груди. Она протягивает к нему руку. – Плохо ли нам было все время, пока тебя не назначили? Плохо ли? Почему ты просишь себе больше этой муки?

– Я не прошу. Я и ничего не решаю, – говорит он, придвигая к себе светильник. Теперь заревые пятна ползут по его рукаву.

– Разве нельзя было отказаться? Нашли бы другого...

– Я отказывал, отказывал дважды или трижды! – Он шумно роняет на стол ладонь. Она вздрагивает, закрывается от него руками. Он говорит, очень понижая тон: – Прости, Оля, я тебя напугал.

Она смотрит в сторону.

– Если бы даже он сам приехал к нам сейчас, стал здесь, увидел, как ты страдаешь... Хоть Христом Богом умоляй я его отменить назначение – он не согласится, Оля. Я сколько говорил с ним, я твердил: «Не могу, не могу, Николай Александрович. Это против моей совести». Он

пожимал плечами, отвечал мне: «Тогда я вам приказываю это сделать. У вас – одна совесть, я думаю, вы скоро примиритесь с ней. У меня – совесть ста двадцати восьми миллионов. Это совершенно другое. Ваше назначение нужно не мне, ваше назначение нужно ста двадцати восьми миллионам».

– О, – Энгельгардт, выслушав, улыбается печальной улыбкой. Ее губы, бордовые, расплывшиеся, сведены. – Неужели ничего не сделаешь?

– Ничего, – говорит он. – Я не ослушаюсь.

Секунду они оба не произносят ни слова. Она собирает платком со стола слезы, поспешно говорит:

– Можно ли тогда просить какие-нибудь гарантии? Когда нас поселят, можно ли, чтобы он, – здесь она закатывает глаза наверх, – приставил к нам людей?..

– Не знаю. Это, так сказать, еще открытый вопрос, – отвечает он. – Я задумал: посетителей буду сам принимать. Обустроим общественный кабинет...

Он подбоченивается, убирает ногу на ногу. Она смеется.

– Общественный кабинет!.. Какой ты смешной. Похудел еще, Петя.

– Я-то? – Он смотрит на пижамную рубашу, которая надета на нем свободно. – Не говори.

– А что поездка вообще?

– Обыкновенно. Приехал, одну ночь в Петергофе ночевал, завтрак там же... Позавтракал я без удовольствия: с ними со всеми неловко. Не знаю, Оля... На второй день я спросился в город. Он сказал мне: «Оставьте, гостите у меня. Тем более я вижу: вам негде расположиться». Я поблагодарил и следом ответил, что поищу номер. Он ответил на это: «Как пожелаете». Мы прощались, и я еще передал поклон от тебя Марии Федоровне.

– Правильно.

– Следующим утром меня сопроводили до города, и около десяти я уже искал место. Вообрази, номеров нигде нет. И сколько угодно денег давай. Даже чемодан не хотели устраивать.

– Ты бы назвался, Петя. Телеграмма при тебе была?

Он отмахивается.

– При мне, при мне. Я и назвался. Нашли, откупил двухкомнатный.

– А погода там? – Энгельгардт кладет подбородок на руки. Глаза ее полузакрыты.

– Погода дрянная. Дожди... Грязь – до небес, никакой красоты не видел. Ходил пешком.

– У нас тоже вон дождь... Не перестает. А почему же в пролетку не сел?

– Не поймал ни одной. Как вы здесь были? Что с детьми?

– С детьми? Порядок, Петя, – она поднимается, хватая сцепленными ладонями коленку, качается на стуле.

«Сама себя укачивает», – справедливо кажется ему. Она продолжает:

– Маша не дает в шкафах ревизию навести, сама, говорит, переберу, чтобы ничего не трогали. На тебя похожа страшно... У Оли новое дело – шитье, она на меня посмотрелась. Я же занимаюсь, когда делать нечего. Младшие учатся, дневнички я теперь беру. Аркаша вчера крутился целый день, тебя спрашивал.

Он улыбается.

– А ты что сказала?

– Я сказала: «Папа в Петербург поехал. Он новую работу получил, хорошую, о какой мечтал. У нас у всех – радость». Ты прости меня, – она вздыхает, расцепляет замок пальцев.

– Ладно. Что там, – он отворачивается, подсовывает левую руку под щелку светильника. Розовое пятно плывет от его ногтя. Он ждет, и у запястья ловит пятно правой рукой. Не пойманное, оно продолжает плавание поверх двух его рук.

– Столько мелькает всего: ты нравишься выдающимися делами, ты завтракаешь в Петергофе, ты пошел к земским, заседаешь где-нибудь, едешь задерживать... Бросаются в тебя... бомбами. Знаешь, мы с Машей условились: около тебя я одна буду ходить, а она пусть со всеми по другой стороне улицы, мало ли...

Энгельгардт пристально смотрит на него. Ее глаза сочно-синие, в углах блестят. Он встает, прохаживается по комнате. Она слышит:

– Я думал, этой теме конец, а сам не дождусь от тебя пощады. Больно.

Она верит, оставляет стул, идет к нему. Ноги ее затекли – она шатается.

– Я не хотела, Петя. То был последний раз.

– Как же, последний...

Он смотрит на нее. От игр ночной тени ее профиль непривычно продолговат.

– Ты себя измаяла, Оля. Тебе бы спать. Сколько можно.

Энгельгардт вжимает губы и трясет головой.

– Нет, – она хочет сказать с твердостью, но ее слово в чем-то тонет. – Не пойду.

– Выйдем на террасу? – спрашивает он, кивая на большие занавешенные двери перед собой.

Энгельгардт зовет их «летними дверями»; за ними – место, где сейчас все заполонил плющ, скрипит качалка и на хромоногом столике увязаны горы журналов.

– Там сора много, – говорит Энгельгардт. – Не убрано. В этот год еще не открывали. Тепло ведь неделю назад началось.

– Не открывали?

Он поворачивается на пятках, уходит. Она не следит за ним и удивляется, когда видит его опять: он несет стул.

– Ты что? – спрашивает она.

– Полезу открою.

Он оставляет стул вплотную около летних дверей, дергает занавески. Лезть ему не так сподручно, и он сначала ставит оба колена и потом с шумным выдохом выпрямляется в рост. Верхняя щеколда все же выше, он тянется на носки. До него доносится полуголос, шуршание: «Только бы не убился».

...Спускается он также, за несколько приемов, уносит стул, отпирает нижние щеколды. Бросив и отступив на шаг, он оказывается около Энгельгардт.

– Все, Оля, – удовлетворенно говорит он, хватая ручки рам.

Клубки серебристой пыли рассыпаны в воздухе, громыхает, трещит дерево, рамы бьют одна о другую. Стекло скрежещет, на пол падает жеваная тесьма, лоскуты, намотки – зиму летние двери держали затыканными, утепленными. Энгельгардт машет на себя, кашляет от пыли. Первое время воздух отдает сухой доской, старостью, но все улетучивается, и приходит запах растительной прохлады, влажной ночи, и гостиная кажется налитой дождем до потолка.

Они оба с Энгельгардт замирают молча, дырчатые тюли веют и достают до них.

– Я сейчас, – он вдруг опять уходит. Энгельгардт решает не оглядываться и стоит одна, обдаваемая свежестью. Он возвращается, и она угадывает это по плащу, который он принес и который висит у нее на плечах.

– Спасибо. А сам так собрался, без ничего?

– Там лето. Ну, пойдём.

Он дает ей руку, и они идут на террасу. Останавливаются возле качалки. Сад шипит в темноте, на Энгельгардт летят дождины.

– Там, может, обшлага грязные, осторожно, – предупреждает он, кивая на плащ.

Энгельгардт разбрасывает руки. Он – обнят.

– Петя, ну куда ты повезешь меня? Ты важный человек, ты станешь меня стыдиться. Ты же видел, Петя, каковы все петербургские, да и я помню, хотя и сто лет назад было... Одни шляпки чего стоят.

– Ну, Оля, не знаю. Я на петербурженок не заглядывался, – он смеется. – Ох ты...

– Тяжело дома менять. Прирастаешь...

Она смотрит на небо и быстро думает:

«Возьму я, что ли, загадаю. У меня с собой – приколки, ключ, капли мои – для сна, платок. Сейчас уйдем с ним, и если ничего не брошу здесь, не оставлю – все хорошо будет».

Приколки она устраивает на волосы, одной второпях защипывает себе лоб. От ключа есть кольцо, и она нанизывает его на палец, почему-то на безымянный. Капли она хватает крепко рукой, не обремененной ключом, а платок мнет и толкает в карман сорочки. Теперь, готовая, она говорит:

– Пойдем уже?

– Пойдем, – соглашается он.

Они отворачиваются от сада, где два вечера подряд хулиганит дождь. Вместе перешагивают через порог в гостиную.

Карман сорочки на Энгельгардт ловит крючок, который приделали, чтобы поближе к августу вешать кашпо. Край платка выхвачен, а она не замечает. Они уходят. Платок прорван в середине, надут от ветра и развевается облачком. Висит вместо кашпо.

Уже в комнате она просит:

– Подожди.

Тянет руки к голове, проверить приколки. Ей, само собой, приходится разжать пальцы, и флакон с каплями, про который она забыла, выскальзывает вниз. Она, присев, только-только успевает поймать его в колени. Она шевелит безымянным пальцем – на пальце мешается и звенит ключ. Крепясь в последний раз, она хлопает по карману сорочки.

Ее рука безнадежно ударяется о ее же бедро, ничто не смягчает удар. В кармане нет платка. «В кармане нет платка», – тяжело выстукивает у нее в ухах. Испуганная, она лезет за пояс под плащ, проверяет дальше. Ничего.

– Петя... – произносит она с раздавленной нежностью.

Он, молча наблюдавший за всей драмой, тихо отвечает:

– Что с тобой?

– Я забыла. Платок.

Он закрывает летние двери, дергает тюли, отряхивает от ладоней штукатурку и пыль, спрашивает между делом:

– Какой?

Ответа нет. У него предчувствие, он оглядывается.

Энгельгардт стоит, перебирает пряжку на плаще. В ее лице нет движения, рот искаженно раскрыт. Глаза смотрят без ясности.

– Что с тобой? – Когда он делает шаг, она впивается в его руку. Ее неравномерно качает. Он держит ее за оба локтя. – Что случилось?

Не ожидая больше ответа, он берет плащ и толкает ее к себе. Голова ее сваливается к нему на плечо. Он увлекает Энгельгардт из гостиной, говорит ровным тоном, как при прочтении стихов:

– Тебе нельзя так, нельзя, Оля. Это уже не шутки. Ложись сию минуту.

– Я не усну. Мне каждую ночь теперь... – берется возражать она, но с безразличием.

– Вместе уснем, – говорит он. – Что там твоя дурнота? Вся пройдет.

Они преодолевают лестницу, на ступеньке Энгельгардт спотыкается. Он гнется на всю ширину лестницы, загораживает ее от падения, ругает:

– Смотри, Оля, какая ты... Вся болтаешься, всю трясет. После одиннадцатого часа чтобы никто ложиться не шел! Я запрещаю!

– Конечно, Петя. Скоро уезжаем?

– На послезавтра билеты... Держись!

– У меня в дорогу все готово, и у девочек, думаю. Ну, Аркаша вот... Ты посмотри, Петя, чего тебе собрать. Еще дам в стирку – просохнет за ночь.

Лестница совсем отвернулась от гостиной, следует в спальню, где мучается ветла, свежо и шумно. Светильник по полу пускает розовые кружочки. Дух улицы с садом пока не ушел, и по-прежнему пахнет, будто кто-то заготовил море салата из огурцов.

Виктор ЕРШОВ

Родился в 1957 году в Муроме. После обучения в Казанском танковом училище служил в армии, затем работал инженером, занимался предпринимательством. Окончил Муромский институт Владимирского госуниверсита по специальности «юриспруденция», работал государственным служащим. Краевед, автор двух сборников рассказов.

Живет в селе Филинском, Нижегородская область.

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

В тишину морозного декабрьского утра врезался раскатистый звон колоколов Рождественской соборной церкви. Через мгновение к нему присоединились колокола других церквей, и вот уже над посадом звучит многозвучный колокольный ряд.

Оживают и город, и посад. Тяжело, со скрипом открываются базарные ворота кремля. С дворов доносятся крики разбуженных первых петухов. В темноте, на фоне черных силуэтов домов появились блики тусклого света. Это сквозь оконца пробиваются отсветы от зажженных в избах свечей и лучин.

Во дворе Степана Кадомца, в прошлом известного своими ратными подвигами служилого человека, более двадцати лет отдавшего царской службе, а ныне губного старосты, все проснулись. В горнице, едва освещенной свечами, жена Варвара стоит в красном углу и, совершая земные поклоны, тихо молится: «Отче наш, иже еси на небесех...»

Дворовые, накинув однорядки поверх холщовых рубах, поспешно, скрипя дверями, творят свои заботы. Всюду сутолока. Во всем, даже в непривычных для утра громких говорах отроков, ощущается приближение праздничного дня.

Степан, потянувшись, встал со скамьи, на которую он прилег после вечерней службы. Натягивая на ноги сшитые нарочно для праздников красные кожаные сапоги, натужно произнес:

– Рождество Твое, Христе Боже наш... Варвара, все ли готово к празднику?

В ответ жена, выходя из избы, уже через плечо ответила:

– Во славу Божью, Степан. Успеем к вечеру.

Оставшись один, Степан, поправив складки красной верхницы, перекрестившись на образ Спасителя, озаренный пламенем лампадки, направился в заднюю избу. Здесь его уже ожидали отец и матушка.

Отец по случаю праздника облачился в привезенный Степаном из Мещеры охабень, подбитый мехом бобра. Матушка в расшитом золотом шерстяном опашне, в шапке из красного атласа, надетой поверх тафтуновой повязки, сидела на лавке и неторопливо теребила в руках ноговицы. Степан вспомнил, что еще с вечера договорились с отцом идти в церковь.

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Батя, самое время идти в церковь, а то не успеем к заутрене, – обратился к батюшке Степан.

Отец утвердительно кивнул головой, потер ладонью побитое в прошлом и оттого постоянно напоминающее о себе тупой болью колено, встал со скамьи и направился на выход из избы. Матушка, подобрыв полы опашня, засемила за ним. Степан поспешно надел соболиную шубу и, натянув на голову лисью шапку, вслед за родителями, минуя холодные сени, вышел со двора и направился по Дмитриевской улице в храм Благовещенья. Тихий скрип снега под ногами не мешал приглушенному разговору Степана с отцом. Впереди них шли другие посадские жители. В одиночку, а то и группами они, уминая выпавший за ночь снег, следовали в направлении уже обозначившейся серыми стенами и растворяющимся во мгле крестом церкви.

Со всех сторон слышалось: «Спаси, Господи. Во славу Божью».

При входе в церковь Степан вслед за другими прихожанами обнажил свою седую шевелюру и перекрестился. Сегодня в храме было необычно торжественно. Молитва игумена Сергия, нарушаемая лишь тихим потрескиванием горячих свечей, простираясь по церкви, возносилась вверх к куполу. Отсветы от пламени свечей на мгновение выхватывали из молчаливой людской массы умиротворенные лица прихожан, внимающие словам молитвы, их сложенные на груди крестом руки. Муромцы в едином порыве троекратно крестились, некоторые из них, подымая полы шуб и охабней, опускались на колени. Запах ладана и воска постепенно смешался с запахами многочисленных человеческих тел. Служба пролетела как одно мгновение. Прозвучали последние слова Сергия:

– С нами Бог. Ему же честь и поклонение подобает – Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

И Степан вместе с родителем вслед за другими прихожанами тихо, без суеты вышел из храма. Стоя на паперти, он посмотрел вслед прихожанам, расходящимся по своим дворам, потянул застывшую от долгого стояния спину и подумал: «Вон Гришка отстоял службу и, поди, пошел на двор. Ему праздник. А тут одни заботы».

Выбранный на сходе в старосты, Степан должен был проверить порядок в городе, убедиться, что концы и стогны посада готовы к празднику. Поэтому, расставшись с родителями, от церкви он направляется к ближайшим торговым рядам. Здесь в ожидании хорошего торгового лавочки в полутьме поспешно доставали из погребов и клетей свои товары. Воздух вокруг них постепенно наполняется запахами снеди. Иван Синег, хозяин нескольких лавок в Большом ряду, припадая на левую ногу, лично осматривал свой товар, делая по ходу громкие замечания работникам: «Не зевай, поспешай. Как дивий возишься».

«Добрый гость, да и подати платит исправно», – про себя отметил Степан и, не останавливаясь, направился в сторону кремля. Пройдя несколько шагов, он услышал топот бегущего позади него человека.

Степан не успел повернуться, как холоп в накинутом поперх рубахи овчинном тулупе, подпрыгивая на ходу, спешно обогнал его.

«Кому в гости, а кому морозить кости», – пожалел он удаляющегося отрока. Подумав, что в столь ранний час на стужу холопа мог выгнать только хозяин с наказом пригласить кого-то из знатных гостей на обед.

Вдруг из-за поворота, разметая рыхлый снег, на стогну вылетела запряженная карим мерином пролетка с облаченным в лисью шубу бородачом. Этого знатного жеребца не спутаешь с другими.

«Никак Молчан Лукин», – смекнул Степан.

Повозок между тем остановился у двора всем известного на этом конце Самойла Гордеева. Молчан по-молодецки спрыгнул с него и, путаясь в полах шубы, направился к дубовым дворовым воротам.

«Пооди, решил самолично пригласить к себе на трапезу будущего тестя. Ай да Молчан, этот своего не упустит», – размышляя, не спеша, Степан подошел к базарным воротам кремля, остановился, стянул с головы меховую шапку и перекрестился в сторону Рождественского собора, купола которого купались в лучах утреннего солнца.

Уже на территории кремля, у осадного двора князя Андрея Бабичева, Степан чуть не столкнулся с княжеским приказчиком Овсеем, который, кланяясь, поломал перед старостой шапку. Ответив тому поклоном, как выборному подобает, Степан пошел далее. С улыбкой на устах он вспомнил, как в прошлом году князь Андрей с товарищами на Рождество Христово пировали в его доме: «Да что там говорить. Князь, уже отставленный по старости от службы, решил потягаться в питии с молодыми отроками. Но не сдюжил. Пиво так ударило ему в голову, что пришлось, несмотря на знатность, вытащить князя в холодные сени, чтобы немного привести того в себя от обильно выпитого хмельного. Да и отроки молодцы – подзадорили князя».

Проходя мимо воеводской избы, Степан подумал о приготовлениях к пиру, которые совершаются сейчас в его дворе. Он явственно представил, как в горнице, предназначенной для трапезы, дворовые производят уборку, устилают ковры, на окнах вешают занавески, на карнизах кладут наоконники, столы и лавки накрывают нарядными скатерками и полавочниками, заправляют свечи и паникадила, уставляют поставец посудой. Вдоль стен перед лавками устанавливают длинные столы, в обычное время хранящиеся в подклети. Воспоминания об обилии питья и закусок, готовящихся дворовой поварней, невольно заставили его ускорить шаг. На выходе из кремля, у Спасских ворот, Степан услышал глухие стуки, доносившиеся со стороны реки Оки.

«Что там? Надобно посмотреть. Вдруг неугодное дело творится», – подумал он и, идя на звук по тропке, петляющей по самому краю Воеводиной горы, вышел на крутой берег реки. Внизу, на льду, на удалении нескольких шагов друг от друга стояли две приблизительно равные толпы. По их поведению было видно, что они готовились к кулачному бою. А разгоряченные крики с противоположных сторон свидетельствовали о том, что в схватке никому из противников пощады не будет. На глазах у Степана страсти на льду накалялись.

И тут перед взором предстали события прошлых лет, когда он, будучи недорослем, участвовал, в таких боях от Нижегородского конца. С ударами в бубны летели в сторону зипуны и кафтаны, лед пестрел разноцветными, преимущественно красными рубахами. Раздавался свисток, и стороны бросались друг на друга. Далее все перемешивалось: свирепые лица, орущие рты, машущие руки, пролетающие кулаки, уда-

ры, один, второй... Постепенно от свалки отваливались окровавленные бойцы... Битва сама собой затихала, а матушке потом несколько дней приходилось делать Степану примочки и отпаивать его настоем из трав.

«Матушка! Сколько раз ты выхаживала меня. Если бы не твои заботы, разве выжил бы я, покалеченный под Смоленском. Даже лекарь-старец Ефрем удивился, увидев меня на своих ногах», – с благодарностью подумал он.

Мимо Степана с восторженными криками пробежала стайка отроков и белиц. Подняв снежное облако, они полетели вниз по склону к реке. Рядом с отроком в лаптях или башмаках, сплетенных из лозы, в опашне или однорядке поверх холщовой рубахи, молодец в башмаках или сапогах из телячьей или конской кожи, в собольей или лисьей шубе. Здесь же белицы в венце или широкой повязке, вышитой золотом, покрытые или высокой шапкой, или простой повязкой.

«Как дроли... Пощебетали и упорхнули», – с нескрываемым огорчением вспомнил Степан о своих преклонных годах и, довольный тем, что в кремле и на посаде все в порядке, заломив шапку, направился обратно, в сторону своего двора.

Когда он вышел на Козью речку, то сразу же окунулся в атмосферу смеха и детской радости. Каждую зиму, очистив лед от снега, на этой речке посадские дети катаются на коньках. Лицо Степана просветлело, и он вспомнил, как много лет назад покупал сыну Ивану на Макарьевской ярмарке коньки. Тогда, порядочно побродив по торгу, Степан нашел их в кузнечном ряду, среди всякой хозяйственной мелочи. Сколько потом восторга у недоросля вызвали эти две деревянные подковы с узкими железными полосками, впереди загнутыми вверх.

«Иванка, Иванка. Не уберег я тебя там, у этой речки. Шляхтич поганый порубил сынка, как хворостинку. Но и сам не ушел от моего палаша», – горькие мысли преследовали... Сколько прошло уже с того дня, но по-прежнему скорбь об убитом сыне не покидает душу Степана. Вот он, старый, живет, а молодой отрок лежит в земле. Но недаром говорят, что время все лечит. От горьких мужских слез не осталось и следа. Но Степан никогда не забудет озорной светлый взгляд сына.

Между тем солнце уже поднялось к зениту и оттуда своими холодными лучами, потерявшими все тепло в плотном морозном воздухе, ярко освещало округу. Прищурившись, Степан посмотрел на светило.

«Вечное светило... Умру я, умрут мои дети, внуки, а оно всегда будет, так же будет освещать землю...» – от раздумий Степана отвлек зычный голос бирюча, донесшийся со стороны стогны у губной избы: «...а ежели кто замечен будет в тятях, тому кару нести по делам его...»

«Эка напасть. Кузьма опять дерет горло. Поди, воевода князь Роман Волховский наказ учинил, а то и выше бери – с Приказа грамота пришла», – с досадой подумал Степан и, идя на голос глашатая, вышел на стогну. Бирюч к тому времени уже закончил свое объявление и неторопливо, осознавая значимость своей работы, удалялся в сторону воеводской.

На большой территории стогны, поливаемый солнечными золотистыми лучами с высоты безоблачного неба, среди палаток, лавок, упряжек и скота суетился разночинный народ. Пестрая нарядная масса, подчиняясь никем не писанному порядку, текла от калачного ряда через мясной, рыбный и москательный к сырмятному.

Степан, окинув взором стогну, увидел, как в праздничную толпу врезались скоморохи. Наряженные в яркую, необычную, собранную

из лоскутков одежду, они на ходу громко созывали жителей на свое представление. За ними гурьбой увязалась ватага посадских ребятишек.

Ой ду-ду! На дубу грянул ворон во трубу,
Зашумели леса, и пошли чудеса!

По-молодецки озорно врезалась песня скоморохов в монотонный гул, стоявший над стогной и, разорвав его, понеслась над головами посадских жителей:

Сел сверчок в уголок, таракан на шесток.
Сели, посидели, песню запели

В то время как бородатые, покрытые сединой посадские, очевидно, привыкшие к таким представлениям, продолжая торг, лишь усмехались в сторону скоморохов, отроки и белицы, оставив лавки, поспешили на зов песенников. Степан, поддавшись веселой песне, охотно последовал за мелодыми. Потешники с масками на лицах своими прибаутками и складными рассказами так веселили зрителей, что некоторые недоросли, не стесняясь народа, катались по земле. Чуть в стороне от песенников отрок в колпаке с бубенцами дул в дудку. Выученные собаки, словно в пляске, крутились вокруг него.

Ах, у нашего сударя, света батюшки,
У доброго живота всё кругом ворота!

– вторили ему слова потешников.

Как тут было не порадоваться и Степану. Позабыв о цели своей прогулки, он заулыбался. В его глазах заиграли огоньки, а широко раздвинутые уста бесцеремонно потеснили густую бороду.

«Вот и тебя, старого, бес попутал», – подумал Степан, поправляя съехавшую на самый затылок шапку. Тут он вспомнил о том, что скоро к нему придут гости и, раздвигая плотную веселящуюся толпу, направился к своему двору.

Всю дорогу до двора Степан думал о том, что надо еще самому проверить готовность к пиру, попробовать питье и закуски. Неожиданно в голове у него всплыли воспоминания о прежних пирах, церемонно начинающихся и шумно заканчивающихся. И, как в прежние года, Степан увидел отца Сергия, пришедшего к нему, словно провожая праздничный день, ближе к полуночи, после того, когда все гости, угомонившись, разойдутся по своим дворам. Варвара, догадываясь о его предстоящем приходе, оставляет в печи испеченные по случаю праздника круглые калачи и перепечи. Принимая угощения, седой, невеликий ростом, немного сгорбленный духовный пастырь славит Христа.

– Христос рождается – славите! Христос с небес – срящите! Христос на земли, возноситесь! – вслух, внемля словам старца, произнес Степан.

Уже на дворе, заметно уставший, он присел на скамью и задумался о своей жизни. Прожито более пяти десятков лет, загустевшая кровь медленно обращается в его жилах, потяжелевшая голова все чаще напоминает о приближении старости.

Степан вспомнил, как прежде они, такие же молодые, как сегодня их дети, в ночь после празднования Рождества Христова, нарядившись,

бегали со сверстниками по посаду, кликали Коляду, пели под окнами и колядовали. На всю жизнь он запомнил, как после одной из таких бедовых ночей их, недорослей, под охраной пушкарей привели к старосте. Великий ростом, широченный в плечах староста дядя Семен, как исполин, навис над ослушными отроками и долго допытывался, кто был зачинщиком поджога бороды одинокого хмельного мужичка. Но никто из ватаги недорослей так и не выдал Ивашку Трегубова и Гришку Калинина, заманивших мужика в Воскресенский овраг и предложивших там созоровать над ним. До сих пор Степан не понимает, как они не выдали зачинщиков под гневным взором старосты. Позднее отпущенный под крестное целование более не повесничать, дрожа мелкой дрожью и стуча зубами, дабы выпустить пар, недоросли надавали тумачков зачинщикам.

«Ивашка, Ивашка, старый хрыч, поди, до сих пор помнишь наши затрешины», – усмехнулся Степан.

Перекрестившись в сторону посеребренного, крытого лемехом купола Ивановской часовни, Степан вошел в избу и окунулся в запахи закуски и пряностей, витающих среди столов и скамеек. Варвара в вышитом орнаментами сарафане, стоя у закута, давала последние указания служкам. С минуты на минуту начнут прибывать гости. Довольный увиденным Степан вышел в сенник. Здесь он будет ожидать званных гостей.

АНГЕЛ МОЙ...

В это уголок необъятного Нижегородского края последнее время я, будучи экскурсоводом, приезжаю довольно часто.

Сегодня погода была, как говорят, «слякотная» – моросил мелкий дождик, обтекающий нас ветер, проникая под одежду, охлаждал тело. Темные ватные тучи росли на глазах и, опускаясь все ниже и ниже, приближались к земле.

Войдя через металлические, узорчатые, окрашенные черной краской ворота на территорию монастыря, я поднял глаза, пытаюсь разглядеть верхушку позолоченного креста на высоченной многометровой колокольне. Этот крест, возвышаясь над множеством других, венчающих храмы обители, невольно притягивает взор. Ведь он ближе всего к небесам, а значит, и к Всевышнему. Следуя моему примеру, туристы так же подняли головы вверх и ждали от меня каких-то слов, объяснений.

Что я мог сказать этим людям, приехавшим сюда с надеждой если не прикоснуться к чуду, то непременно совершить церковные обряды и ощутить себя ближе к божественным таинствам?

Год назад, в очередной раз приехав в монастырь, я думал, что ничего нового здесь не увижу. Буду, как и прежде, водить туристов по храмам, рассказывать историю, церковные писания, советовать приложиться к мощам. Я ходил по обители и видел, что некоторые люди здесь суетятся, другие, наоборот, ведут себя степенно, важно и торжественно. Осуждал первых и пытался понять вторых, подолгу задерживал взгляд на юродивых с их блуждающим, словно ищущим что-то взором. Немного стеснялся редких прихожан с мягкими, почти детскими чертами лица, в открытых глубоких глазах которых виделась чистота и покой.

В тот раз, оставив туристов в соборном храме, я вышел на площадь. День был будничным, наверное, поэтому она была безлюдной. Постояв немного и не найдя ничего достойного внимания, я вошел в кафе, называемое «Монастырская трапезная». Оно было небольшим и вмещало всего два круглых столика.

Я взял чашку чая и, прислонившись в дальнем углу к обитой рейками стене, стал рассматривать картины, которыми были увешаны стены. В слабо освещенном помещении на меня задумчиво взирал сгорбленный, с посохом в руке старец Серафим, облаченная в яркое одеяние блаженная Параскева и окруженная ореолом смиренная матушка Александра.

После картин мое внимание привлекла худощавая, одетая в демисезонное клетчатое пальтишко девочка лет семи-восьми, стоявшая рядом с входной дверью. Опустив перед собой сжатые в кулаке руки, она не отходила от двери и смотрела на каждого, выходящего из трапезной. Лицо девочки было не по годам серьезным, неподвижным и заметно оживлялось, когда очередной посетитель направлялся к выходу. Тогда

она вытягивалась в струну и, казалось, чего-то ждала. Сначала я подумал, что мне это показалось. Просто стоит девчонка и ждет кого-то из своих родных или знакомых.

Время шло, чай мной был уже выпит, но уходить из кафе я не спешил. За то время, пока я наблюдал за девчонкой, в кафе вошли и вышли более десятка посетителей, а она все так же стояла у выхода. «Что же заставляет ее стоять и всматриваться в каждого выходящего?» – с этой мыслью я подошел к стойке и, встав напротив девочки, попытался незаметно заглянуть в ее глаза. Может быть, в них кроется ответ? Но широкие серые глаза ее ничего не выражали, они были безмолвными и словно замерли. В тот момент, когда я уже собрался выйти из кафе, невысокая, средних лет женщина, стоявшая у соседнего столика, направилась к выходу. Стоило ей подойти к двери, как девочка встрепенулась, ее взор впился в эту женщину, а в глазах появилось трепетное ожидание. Я даже насторожился. Когда женщина молча вышла из кафе, девочка осунулась, ее плечи опустились, взор потух.

Мое терпение иссякло и, подойдя к ней, я спросил:

– Извини меня за мое любопытство. Долго наблюдаю за тобой и не могу понять, почему ты стоишь у двери и провожаешь каждого выходящего из кафе? Ты кого-то ищешь?

Девочка, потупив взгляд, молчала.

– Может, тебе помочь? – не унимался я.

– Не надо, – прозвучало в ответ, – просто я жду, когда скажут: «Ангел мой, пойдем со мной, ты – впереди, я – за тобой».

«Ангел мой! Вот чего ждала она, долгое время у выхода, – подумал я и оторопел. – Она не просто желала услышать эти слова, но и увидеть небесного посланца!»

Земной ангел стоял передо мной! В простеньком пальтишке, с прядью светлых волос, выбивающихся из-под полинялого клетчатого платка. Когда она подняла глаза, в них было немного грусти, оттого, что она не увидела ангела, немного радости оттого, что поделилась со мной своей тайной и надежда.

Я отключился от внешнего мира. В голове мелькали храмы, иконы, суетящиеся люди... И вдруг я ясно увидел девочку, идущую по цветущему, ярко освещенному солнцем лугу, и услышал опускающиеся с высоты слова: «...Ты – впереди, я – за тобой...» Осмотревшись, я не увидел девочки. Очевидно, она вышла из трапезной незаметно для меня. Направляясь к автобусу, я вспомнил, как в детстве после посещения сельской церкви, куда меня привела бабушка, насмотревшись храмовых росписей, представлял своего ангела. В моем воображении это был летающий над землей крылатый младенец с ореолом над головой. Мне кажется, что он являлся ко мне во сне, и мы разговаривали с ним. Но эту тайну я никому не открыл. Помня бабушкины слова о том, что «ангел защищает меня от болезней», я хранил эту тайну как оберег.

В тот день я почувствовал своего ангела. Образ его был неясным, расплывчатым, зато теплое, нежное прикосновение было очевидным. С той поры я часто обращаюсь к нему, и в дни печали и в дни радости. Он стал моим постоянным спутником, а та девочка из трапезной часто видится мне.

Николай ЛАЛАКИН

Родился в 1947 году в Орехово-Зуеве (Московская область). Окончил Литературный институт имени А. М. Горького.

Поэт, прозаик, литературный критик. Автор 18 книг, лауреат премии имени Алексея Фатьянова и «Золотое наследие» Всероссийского фатьяновского праздника поэзии и песни, победитель V Международного славянского литературного форума «Золотой витязь», награждён медалью «Василий Шукшин».

Главный редактор журнала «Клязьма». Секретарь Союза писателей России, председатель Владимирского отделения Союза писателей России. Живёт во Владимире.

ПЕНАЛЬТИ

Я не хотел входить в штрафную площадь, когда получил точный пас прямо в ноги от Саши Еременко – нашей двадцатилетней восходящей звезды. Обработал мяч, остановился в центре штрафной, у самой ее разметки, в надежде, что кто-то из зенитовцев его у меня отнимет.

Но не тут-то было... Их рыжий защитник, верзила под два метра, вместо отбора мяча решил от него меня отеснить. Он грубо толкнул меня в спину, придав мне такое ускорение, что я уже ни о чем не думал, пытаюсь лишь удержаться на ногах, чтобы не упасть в штрафной...

Но устоять мне не позволил все тот же защитник. Он настиг меня и, видя, что уже врываюсь во вратарскую, вцепился в мою футболку и отчаянно рванул.

Я упал на уже пожелтевший газон, дважды перевернулся...

Судья, который находился рядом, в трех шагах, решительно указал на одиннадцатиметровый. Никто оспорить его решение не решился. Нарушение явное.

Еще лежа на земле, ощупывая рукой полученные ссадины на правом бедре, я услышал свою фамилию...

– Груздев! – одновременно выкрикнули выбежавший к кромке поля наш главный тренер Столбов и капитан команды Витя Стрижев.

Я не хотел пробивать пенальти, но... Помогая мне встать, Стриж зло шепнул мне на ухо:

– Волчара, заварил кашу – теперь сам ее и жри!

Оправдываться мне не хотелось. Я привычно взял в руки мяч, поцеловал его, как делал это всегда, бережно опустил на землю, погладил рыжие травинки рядом с ним и отошел метра на три для разбега.

Вынырнувшее из облаков солнышко высветило правую от меня трибуну, очень похожую на пестрое мозаичное панно. На нем отчетливо высту-

пили перекошенные криком лица болельщиков, которые, когда я упал, все разом, как по команде, вскочили с мест и, предвкушая нечто, заорали...

Долговязый вратарь «Зенита» нервно поправлял на голове кепчонку, затем, встретив мой взгляд, отчаянно сорвал ее и, не глядя, запулил за спину.

Видя мое прихрамывание, тысячеротый стадион на мгновение смолк. Наступила такая тишина, что мне стали слышны скрип вековых вязов и шум берез, золотые кроны которых покачивались рядами трибун.

Болельщики ждали гола. Его ждали все: друзья, соседи по девятиэтажке, жена, сын, дочь. Гола просто жаждали губернатор Градов, мэр Александров, чиновники всех мастей. Куда иголки, туда и ниточки. Целая свита из начальников зашла в раздевалку подбодрить нас перед началом игры.

Ставка была огромная. Только победа давала нам право перейти играть на следующий год из второй лиги в первую. Перед сегодняшним последним матчем чемпионата наши соперники опережали нас на одно очко.

Играть осталось всего три минуты. Именно столько же добавил судья. На табло горели яркие золотые единички. Желанный результат для гостей. Никогда наша «Клязьма» за всю свою историю не подходила так близко к своей желанной цели. Наверное, сейчас у губернатора и мэра там, на западной трибуне под козырьком, такое на душе, что рюмки с коньяком застыли на весу...

Но этот выигрыш не нужен нам, ветеранам, кому за тридцать. В первую лигу нас с собой не возьмут, отчислят. Как пить дать! Будет другой денежный расклад, прикупят игроков получше и помоложе...

Два дня назад Витя Стрижев собрал нас у себя на квартире, отправил жену с сыном в театр. Сам купил им билеты... Собрались все шестеро «старых» – так мы звали часто друг друга. Все в свое время поиграли в разных командах мастеров второй и первой лиг, а мы со Стрижем даже отыграли три сезона в премьер-лиге – в московском «Торпедо», где за выигрыш кубка получили мастеров спорта.

Два года назад нас с Витей отыскал Столбов и попросил помочь родной команде, мы оба когда-то занимались у него в городской футбольной школе и по его рекомендации были приняты в «Клязьму». Одним словом – первый наш наставник. Он наконец-то дождался своего назначения в местную команду мастеров после очередного ее слабого выступления в чемпионате второго дивизиона.

Стриж и я к тому времени оказались как бы на распутье. Он не был уверен, что его оставят в Нижнем Новгороде, в «Волге», а я имел претензии к жилью, которое мне предоставило руководство команды «Агидель» в Уфе. Двухкомнатная квартира для нас четверых была тесна. Так что мы даже обрадовались его предложению. Тем более что платить нам согласились не меньше, чем в этих командах.

Первый сезон мы отыграли влегкую, особо не напрягаясь, заняли пятое место. Все были довольны. Но аппетит у руководства Клязьминска пришел, видимо, во время наших победных игр. На своем поле мы уступили лишь дважды. Руководители города и области собрали предпринимателей, надавили на их патриотизм, стали больше нам платить, усилили команду еще одним мастером спорта из ярославского «Шинника» и двумя местными молодыми талантами. Последние могли обегать самого черта... Были поставлены задача-минимум – стать призерами чемпионата, задача-максимум – выиграть его.

В команде появилась конкуренция. И если мы еще с Витей, напрягаясь, конечно, играли в основе, в стартовом составе, к нам претензий не было,

то другим «старым» приходилось туго. Они не всегда выдерживали темп, предлагаемый молодыми. Их чаще всего стали в ходе игры заменять.

Стриж прямо, без обиняков, обо всем этом за рюмкой водки вслух порассуждал и нашел во всех нас полное понимание и согласие.

В конце разговора по душам он намекнул нам, что со стороны «Зенита» есть предложение отблагодарить нас за ничью.

– Проигрывать не надо, чтобы комар носу не подточил, – подчеркнул капитан. – Первый тайм сыграем во всю силу. Если представится возможность забить – забьем, но не больше одного мяча – нам так будет легче помочь «Зениту» отыграться.

Сколько кому он за это заплатит, Стриж при всех говорить не стал – беседовал с каждым с глазу на глаз.

Мне он предложил десять тысяч. Я заулыбался, заявил, что это несерьезно.

– Как несерьезно? – вспыхнул Стриж. – Десять тысяч зеленых для тебя несерьезно?

В ответ я, с облегчением вздохнув, пошутил, что он про «евро» ничего не говорил...

– Никаких евро, хватит зеленых, – твердо возразил капитан. – Сам же говорил, что именно такой суммы тебе не хватает, чтобы разъехаться с тещей.

Витя все знал, был в курсе моих проблем. Поэтому так вот, не таясь, пригласил меня на эту встречу. Другие, полагаю, также имели свои проблемы, а главное, все понимали, в какой ситуации могут оказаться на следующий год. А так, уступив в этом матче, можно еще несколько сезонов во второй лиге поиграть, получая неплохие деньги.

...Серебристый, слегка продолговатый мяч, в точности такой же, каким играли на минувшем чемпионате Европы, лежал неподвижно вблизи ворот «Зенита» и, как сверхмощный магнит, притягивал взоры всех к себе.

Сейчас от моего по нему удара рухнут, как карточные домики, все наши наполеоновские планы, а мне придется продолжать жить в одной квартире с тещей.

Все это пронеслось в голове за какие-то считанные секунды, а точнее, за то время, пока я разбежался.

Удар у меня поставлен. Я признанный пенальтист. Из 86, а точнее из 87 – чуть не забыл, что сегодня в первом тайме после выверенной подачи верхом еще одного нашего молодого гения Андрюши Захарова я в прыжке головой вонзил мяч в нижний угол ворот. Давно не забивал так красиво... Так вот – из 87 забитых мною голов добрая треть пришлась на пенальти.

Все произошло как на тренировке, как во время проведения мастер-класса для юных футболистов. Обманым движением я заставил вратаря прыгнуть в сторону, а сам, выдержав паузу, не сильно, но точно послал мяч в другой угол. Он затрепетал в сетке ворот, как майский жук в сачке.

По-другому я бить пенальти не умел.

Меня вновь сшибли в штрафной, но теперь свои. Молодые устроили шумную кучу малу, а Стриж, улучив момент, больно сунул кулаком в бок, затем поднял, обнял и повел к центральному кругу. Он еще, видимо, надеялся за две оставшиеся минуты изменить счет. Но помочь ему уже было некому. Из нас, шести заговорщиков, Столбов на игру поставил лишь четверых. Причем еще двоих сразу же заменил после пропущенного нами во втором тайме гола. Уж очень не вовремя споткнулся на ровном месте и упал наш опытнейший защитник, «старый» Леша Серов...

Я стоял в центре поля, до конца еще не осознавая, что же все-таки натворил? От боли в боку, от досады на эту дурацкую гладиаторскую

жизнь слезы как-то сами собой нахлынули из глаз. Но что в это время творилось на трибунах – слов не найти! Люди словно обезумели от радости. Они обнимались и целовались, неистово кричали, сворачивали и поджигали газетки, на которых только что сидели. Многие скандировали: «Игорь Груздев! “Клязьма” – чемпион!»

И я еще сильнее зарыдал. Но это уже были другие слезы, слезы прозрения, слезы счастья.

Собственно, ради таких минут и стоит жить, и стоит играть!

Из-за непрерывного гула на стадионе мы на поле не расслышали финального свистка арбитра, а лишь по знакомому жесту его рук поняли – игра закончилась. Нас болельщики долго не отпускали, заставив дважды совершить круг почета по беговым дорожкам стадиона.

Через два дня заявили ко мне домой «старые», без Стрижа, – устроили мне темную. Но били почему-то вяло и не больно...

Через две недели «Клязьму» чествовали. Мне при переполненном зале областного Дворца культуры мэра Александров вручил ключи от новой двухкомнатной квартиры. Я от неожиданности чуть было вновь при всех не заплакал. Шел по залу к жене и детям, не веря в случившееся до тех пор, пока теща, сидевшая рядом с нами, не попросила у меня взглянуть на ордер.

– Вот в ней мы с дедом и будем жить, – твердо и, как мне показалось, радостно заявила она. – Вы же оставайтесь в трехкомнатной.

Клязьминский поэт, мой друг Колька, по этому случаю даже сочинил притчу: «Забьешь гол – будешь не гол!»

Еще через месяц, в канун Нового года, нас, «старых», по одному вызвали в спорткомитет, где пятерым объявили о непродлении контрактов. Поощадили меня одного. Предложили мне место играющего тренера, но заключили со мной договор лишь на один год.

– Ты у нас, Игорь, любимец публики. На тебя идет народ, губернатор же в тебе души не чаёт, – прямо сказал мне председатель спорткомитета Зрелов в присутствии нового главного тренера Бодрова, известного футбольного имени.

Он привез с собой в команду четверых игроков из высшей лиги. Столбова в команде оставляли вторым тренером, но он обиделся и ушел к пригласившим его рязанцам.

Футбольному клубу «Клязьма» наши власти передали в собственность несколько зданий, а также в разных районах города участки земли. На них вскоре как грибы, выросли спортивные магазины, рынки, кафе «Чемпион “Клязьма”», «Корнер», ресторан «Пенальти». Я везде выступал на их открытии как гвоздь программы.

В чемпионате первой лиги «Клязьма» заняла двенадцатое место. Это золотая середина турнирной таблицы.

Я отыграл почти все домашние матчи, но на выезде меня выпускали редко, большинство встреч просидел на запасной скамье, рядом с главным тренером, невольно глядя на игру его глазами. Из шести забитых мною голов четыре – реализовал с пенальти. Мне исполнилось тридцать пять.

В декабре нашего губернатора пригласили в Москву.

На следующий футбольный сезон контракт со мной не продлили.

Вот и все. Рассказал, как было, даже в горле пересохло. Пойду выпью пивка, но уже не для рывка, как, впрочем, и водочки не для обводочки...

Наталья РЕЗАНОВА

Родилась в Горьком. Окончила историко-филологический факультет Горьковского университета. Работала на телевидении и в издательствах. В настоящее время редактор издательства «Деком».

Работает в основном в жанрах научной фантастики, альтернативной истории и фэнтези. Автор ряда романов и повестей. Многочисленные рассказы и критические статьи публиковались в сборниках, журнале «Если» и альманахе «Полдень. XXI век».

Живет в Нижнем Новгороде.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛОТОС

Это ночью ему опять снились головы. Обритые женские головы, сваленные горой. Он сам никогда не видывал подобного зрелища. То есть, конечно, отрубленные головы врагов были ему привычны, но головы монахинь? А ведь они громоздятся по монастырям, где не осталось никого, кто мог бы похоронить их. Сколько монахинь обезглавлено по его приказу – две тысячи? Три? Двадцать? Ему докладывали, он не помнил. Тогда он сказал – чем искать в пруду одну мелкую рыбешку, не проще ли отравить воду? И стало по слову его. Кто бы посмел послушаться владыку Поднебесной? Стоило заподозрить, что проклятая мятежница может скрываться в каком-нибудь женском монастыре – и это оказалось достаточным для массовых казней. Если она была там, то мертва, как и прочие. Но почему его мучает этот проклятый сон – груды голов, изжелта-бледная кожа, искаженные в смертной муке черты лиц – молодых и старых... а потом глаза одной из мертвых открываются, в них пляшет черный огонь, прожигающий смотрящего. И она скалится в злорадной ухмылке. И остальные хохочут. Он просыпается, хрипя, от боли в сердце, и даже наяву слышит этот лающий, резкий смех.

Почему, почему он не может избавиться от этого сна? Почему вообще поиски одной ничтожной мятежницы оказались так важны? Бунт подавлен больше трех лет назад, и ничто не угрожает величию династии Мин. Его династии. Он – Сын Неба, властелин Поднебесной, победоносный полководец, и сейчас возвращается из очередного славного похода, покарвав грязных варваров. Ибо еще никому не удалось скрыться от его карающей длани.

Ни одному, кроме... сколько бы он ни убеждал себя в обратном. Конечно же, сопляк Юньвэнь сгорел заживо, когда дворец пылал во вре-

мя уличных боев. Сгорел, и даже горстки костей от него не осталось. Именно потому у нынешнего императора не было полной уверенности в его смерти. Молодой император мог бежать, уплыть по сточным каналам, проползти змеей между рушащихся палат. А раз никто не видел мертвого тела, всегда будут ходить толки, будто он жив, жив, законный наследник первого императора династии Мин, а тот, кто нынче на Драконовом престоле – узурпатор.

Двадцать с лишком лет минуло со дня падения Южной столицы. И все эти годы государь разыскивал беглого племянника, ибо, не получив его головы, не чувствовал себя государем.

Тогда он казнил всех, кто уцелел во время пожара во дворце – слуг, служанок, евнухов. Четвертовал всех советников Чжу Юньвэня со всей их родней. Всем скопом их было больше, чем этих никчемных монахинь, и они никогда не являлись ему во снах. Он не был жесток, зрелище пролитой крови не доставляло ему удовольствия. Но правление надо было начинать с зачистки. И потом это был юг, проклятый юг, который он всегда ненавидел. Его вотчиной был север, и Северную столицу он сделал своей резиденцией, отстроив с невиданной доселе пышностью. Но когда четыре года назад, пусть и далеко от Нанкина, вспыхнул мятеж, император был уверен, что бунтовщики провозгласят бегло племянника своим вождем. Это было не так – бунт возглавила баба-еретичка из Белого лотоса. Императорские полководцы подавили бунт, пусть и ценой больших усилий, но проклятая еретичка и главные ее подельники утекли как вода сквозь пальцы, растворились как пар, исчезли... как Юньвэнь? Что, если они встретятся и объединятся?

Какая разница! Он – великий владыка, сын основателя династии, и сотни лет Поднебесная не видела такого блистательного царствования! Он навсегда переломил хребет монголам, и они больше не могут угрожать спокойствию империи. Он разгромил на море объединенный флот японских пиратов. Он присоединил к империи новые земли, а корабли его флотилий достигали невиданных прежде стран. Тысячи ученых по его приказу создавали всеобъемлющие труды по всем сферам знаний. Северная столица, Пекин, стала величайшим из городов мира, поражающим величием храмов и дворцов. Не зря его правление протекает под девизом Юнлэ – Вечная радость, и сам он именуется этим прозвищем.

А сердце ноет, и сон прошел как не бывало. Слишком светло, вот в чем дело, думает он. Свет мешает спать, хотя он приказал погасить светильники.

Император поднимается с ложа, идет по пушистым коврам, устилающим шатер. Слуги и телохранители, ночующие здесь же, в шатре, заслышав движение, разумеется, проснулись, но помалкивают – не было приказа говорить.

Слишком светло, хотя стоит глубокая ночь. И не от лагерных костров – к этим огням император привык, и они скорее успокаивали. Это луна, луна. В степи она всегда кажется больше. А сейчас этот белый глаз катается по темному куполу, мертвое сияние его проникает сквозь завесы шатра.

Император Юнлэ опускает взгляд, смотрит на костры своих славных воинов, чтобы утешить сердцебиение. Там, у костров, почти все спят, только где-то вдали слышна старинная непристойная песенка про одного из южных владык, страдавшего от мужского бессилия.

У ихнего величества ужасная печаль.
 Приличья не позволят её назвать, а жаль.
 Наследника не видно, беда столицу ждет.
 И чтоб хворобу излечить, даоса он зовет.
 У нас же здесь раздолье гуй, так шутят небеса,
 Мы знаем!
 Зато сюда не сунется ни одна лиса.
 Рыдаем!
 Даос правителю сказал: не стоит горевать.
 Лекарство от хворобы нетрудно отыскать.
 Едва его ты примешь, проснется спящий змей,
 И у тебя появится три дюжины детей.
 У нас же здесь играют песнь и флейты и басы.
 Прекрасно!
 Но к югу от Янцзы нет ни одной лисы.
 Ужасно.
 Что ж это за лекарство? – был радостный вопрос.
 А это лисья печень, отвечивал даос.
 Ее откушай вволю, забудешь о беде.
 Другого же лекарства не сыщешь ты нигде.
 И бесы и драконы здесь только для красоты.
 Досада!
 Но к югу от Янцзы нет ни одной лисы.
 Засада!
 Великую награду правитель обещал.
 Даос ушел на поиски и без вести пропал.
 С тех пор пытались многие печенку отыскать,
 Но как бы ни старались, все пользы не видать...

Обычно государя развлекала эта песня о незадачливом южном ване, он даже подпевал ее на марше. И ведь верно – все говорят, что на юге своя нечисть, в основном гуй, неупокоенные мертвецы, а лис там не видят.

Но сейчас мы на севере.

Лис на пути армии не видать, но они здесь в степи есть – император знает, охотился не раз. Они здесь мельче, чем те, что водятся в лесах, и со светлым мехом, и заметить их в степных травах очень трудно, настоящая задача для охотника. А сейчас они, наверное, подбираются к местам ночевки, ищут себе пропитания... внезапно до него доходит – это же лисы, лисы тявкают там вдалеке, вот что показалось ему хохотом мертвых монахинь. Задача легко разрешилась, но почему-то это вызывает досаду. Император знает, что до утра уже не заснет, зовет секретаря.

– Какие известия по делам мятежников из Шаньдуна?

Евнух-секретарь не удивляется, что государь внезапно вспомнил о мятеже четырехлетней давности. Его величество – человек, мыслящий необычайно широко, здесь, в степи он строит планы новых морских экспедиций, и для этого вопроса тоже может быть основания. Секретарь шелестит бумажными свитками, щелкает дощечками для письма. Ему разрешили зажечь светильник, и его колеблющееся пламя прогоняет мертвенные лунные лучи.

– Есть отчеты их высокопревосходительств генералов Лю Шена и Линь Цзиня...

Император благосклонно кивает.

– Вот что писали генералы, объясняя причины падения городов Цзинань, Жичжоу и Дэчжоу провинции Шаньдун: «Гнусная Тан Сайер, попирая все законы, презрев нравственность и свершая бесчисленные преступления, именовала себя “Матушкой Буддой”, на деле же овладев искусством колдовства и призыва демонов. Не может быть иного объяснения тому, что ей удавалось обманывать невежественных простаков и причинять ущерб подданным императора. Известен случай, рядом с ней на поле боя появились десять тысяч демонов, хотя на самом деле то были ничтожные бумажные куклы...

– Достаточно. – Конечно, у генералов были свои советники, и те уж насоветовали, как их господам объяснить, почему заслуженные воины терпели поражения от грязных крестьян и рабов. Десять тысяч бумажных кукол, о небеса! – Есть ли доклад от Парчовой охраны?

– Я уже подготовил его для вашего величества...

Созданное императором сыскное ведомство не подвело. Они никакой чуши про демонов-кукол в качестве улики не предъявляли.

– Указанная преступница, – зачитывал евнух, и его визгливый голос странным образом успокаивал, ибо заглушал хохот из темной степи, или из тьмы сознания, – как показало расследование, родом из Шаньдуна, из семьи состоятельного крестьянина. С детских лет она обнаружила несвойственное для ее пола и сословия пристрастие к чтению буддийских писаний. Однако же не стремилась поступить в монастырь, а вышла замуж за человека по имени Линь Сан. Он же проявил редкостное недомыслие, позволив жене продолжать занятия чтением, и что гораздо хуже – проповедовать, забыв всякий женский стыд. Вокруг самозваной проповедницы стали собираться люди худшего толка – разбойники, нищие, беглые рабы, женщины срамного поведения. Когда их число достигло полутысячи, она Тан Сайер оставила дом и с толпой своих последователей отправилась бродяжничать по стране, везде сея смуту. В то время многие жители Шаньдуна были призваны на принудительные работы на великих стройках. Те из них, кто не желал постичь великих замыслов Сына Неба, бросали работу и бежали вслед за преступной проповедницей, в своей глупости почитая ее как воплощение Будды.

Неизвестно точно, когда она вошла в секту Белого лотоса – в родительском доме или уже после замужества, достоверно лишь, что она достигла в этой секте высокого статуса. Когда беззаконная толпа достигла Цзинжао, туда прибыли чиновники с новыми императорскими указами. Как это нередко бывает, среди невежественного простонародья указы вызвали недовольство, а чиновники принимались враждебно. Используя это, мятежники, и Тан Сайер среди них, обвинили чиновников во взяточничестве и вымогательстве, в том, что под предлогом государственной службы они разлучают мужей с женами, а родителей с детьми, и предались убийствам, объявив, что волею небес карают злодеев. Толпы людей потянулись к лже-Будде. Невозможно отрицать, что Белый лотос сделал все, чтоб одурачить их и переманить на сторону мятежников – иначе невозможно объяснить, каким образом преступница в краткое время оказалась во главе многотысячной армии. Все разговоры о том, что Тан Сайер владеет тайнами колдовства, разумеется, также распускались адептами Белого лотоса...

Секретарь продолжал читать, но государь уже не слушал его. Секта Белого лотоса! В Парчовой охране либо слишком смелые, либо слишком невежественны, если решились напомнить государю о секте. Ибо все, что здесь изложено, подозрительно напоминает начало истории государя

Гао-ди – с поправкой на то, что тот был мужчиной. Многие соратники государя давно покинули этот мир, неважно каким образом. Никто теперь не вспоминает, что основатель династии был родом из семьи нищих крестьян, начинал свой путь как мятежник и захватил престол военной силой. Однако и говорить об этом – не преступление. Ибо Чжу Юаньчжан сверг и изгнал гнусных захватчиков, мерзких монголов, столетиями угнетавших Поднебесную. И лучше видеть на Драконовом троне сына ханьского крестьянина, чем потомка варварских владык.

Однако совсем иное – вспоминать о том, что Чжу Юаньчжан с младых лет состоял в секте Белого лотоса и секта эта приложила немало усилий, чтобы помочь бунтовщику взойти на престол, равно как тысячу лет назад секта Пяти доу риса помогла захватить власть злодею Цао Цао. Вот только помянутый злодей сохранил неизменным договор, заключенный с иерархами еретической секты. А Чжу Юаньчжан, став государем Гао-ди, законодательно запретил Белый лотос под страхом смерти. Ибо какой же правитель допустит в своем государстве существование учения, в основе которого утверждение: «Все люди равны, все – братья и сестры»?

Тысячи сторонников Белого лотоса погибли мучительной смертью, и те, кто говорил, будто раньше государь был одним из них – тоже.

Но Юнлэ знал. Ведь он родился в те годы, когда Чжу Юаньчжан еще сражался за власть, сектанты Белого лотоса были его соратниками и говорить об этом было незачем.

Так что, может, и ошибался император, предполагая, что мятежники недавних лет хотели сделать своим знаменем беглого племянника. Все это – месть Белого лотоса, который за минувшие десятилетия вновь сумел расцвести. Мы, мол, как посадили вас, Чжу, на престол, так и свергнем! Но не на того напали. Пусть по недомыслию местных чиновников бунтовщикам и удалось достичь временных успехов, в итоге императорская армия собрала силы в кулак и разбила преступную шайку... вот только кулак был сжат недостаточно крепко, зачинщики вновь ускользнули... и кто знает, где и когда они явятся опять, напоминая, что государь – ненастоящий?

Он столько сил приложил, чтобы позабыть. Отец никогда не выказывал к нему особо теплых чувств, но он со всеми сыновьями вел себя так. И столь естественно было, когда три его старших сына умерли, назвать наследником Четвертого принца, единственного из принцев, кто успел показать себя как одаренный полководец? Чжу Ди, Яньский князь, к этому времени разбил чжурчжэней и монголов и был надежным стражем северо-западных рубежей империи. Но император завещал трон внуку – не блиставшему ни умом, ни дарованиями, слабому и нерешительному. Все его достоинства сводились к тому, что он был сыном покойного Первого принца и находился рядом с дедом в Южной столице, пока Чжу Ди сражался в степях и отстраивал Пекин.

Но какова же была истинная причина подобного выбора? Вполне вероятно, Гао-ди не хотел видеть наследником сильного соперника. Причина важная – но единственная ли?

Разумеется, Чжу Ди с детства знал, что является приемным сыном госпожи Ма, позже именуемой императрицей Сяо-цзи. Родной матери он не помнил, да и не было нужды помнить, что она – наложница низкого ранга, и даже не из народа хань, всего лишь одна из тех корейнок, которая прежняя династия получала в качестве дани. Когда Гун-фэй наскучила господину, он перестал ее посещать, и неизвестно,

когда она умерла. А Чжу Ди был назван сыном главной жены, ибо госпожа Сяо-цзи, будучи женщиной разумной, понимала, что жен ценят за плодovitость.

И, конечно, хотя сыновья императрицы чаще всего – первые в порядке наследования, император вправе назвать наследником любого из своих признанных сыновей. Однако вздорный старик отдал предпочтение ничтожному Юньвэню, а когда Чжу Ди, после смерти Второго и Третьего принцев вздумал было заикнуться о праве наследования, государь зыркнул на него, как только он умел, и прошипел: «И думать не смей!»

Более ничего, но Яньский князь только в этот миг позволил себе вспомнить услышанное краем уха перешептывание прислужниц о том, что Гун-фэй прежде была наложницей одного из противников господина в его борьбе за власть. Хозяин Гун-фэй принял смерть в сражении, а сама она попала в плен уже будучи беременной.

Чжу Ди был тогда совсем мал и не вполне понимал смысл этих слов, но уже догадывался, что повторять этого нельзя – ни за что и никому.

Позже он осознал – Чжу Юаньчжан признал его своим законным сыном, потому что мятежнику нужны были сыновья-соратники. И вдобавок на ту пору здравствовали трое старших сыновей Чжу Юаньчжана. Но для государя Гао-ди невозможно было назвать наследником приемыша, какими бы блестящими дарованиями тот ни отличался.

Знали ли об этом мятежники? Сомнительно. Если б знали, использовали бы против него. Хотя... вряд ли это имело для них значение. Согласно доктрине Белого лотоса все равны – крестьяне и знать, мужчины и женщины, свободные и рабы. И какая разница, кто занимает трон – законный сын императора и императрицы или отродье предателя и чужеземной рабыни?

Какая разница... он сегодня уже произносил эти слова. Не значит ли это, что в душе он согласен с мятежниками?

Евнух давно уже перестал читать, он с тревогой смотрит на искаженное лицо императора. За пологом шатра светает, и солнечный свет изгоняет проклятую луну с горизонта. Лисы, следившие за лагерем, скрываются в степной траве.

Она тоже видит сны, но в них нет для нее ничего необычного. Это всплывающие со дна памяти картины прошлых лет.

Вот она стоит на утесе и смотрит, как внизу, в долине, множество людей роет огромный канал, тянущийся из бесконечности. Издали она не видит лиц, видит лишь, как порой изможденные землекопы, исхлестанные бичами, падают на землю. Одни поднимаются, других оттаскивают наверх на край котловины, чтоб не мешали работать. Вечером их закопают. Она вспоминает, как радовались родители изгнанию монголов. Больше народ не будут силой сгонять на прокладку каналов, дабы товары на кораблях доставлялись в Байду со всех концов Поднебесной. Не зря новый император дал своей династии имя, созвучное с именем будды грядущего!

Но прошло немного лет, с тех пор как Мин сменила Юань, а Байду стал называться Пекином, а людей принялись вновь сгонять на строительство и рытье каналов – и гораздо больше, чем прежде.

...Она стоит на залитой солнцем городской площади. За ней мрачные люди в крестьянской одежде. Они попросили уважаемую госпожу

Тан, столь начитанную в священных книгах, ходатайствовать за их дочерей. Новый окружной начальник оказался сластолюбив сверх всякой меры, по его приказу хватают и тащат к нему и юных девушек, и замужних женщин, что уж вовсе попирает все мылимые обычаи. Может быть, матушка Тан убедит господина отпустить несчастных?

Тот, кто вышел навстречу просителям, более всего похож на свинью в чиновничьей шапке. Точно так же толстомяс, точно так же лоснится от жира и пота, точно так же скалит желтые клыки. Но от свиней, по крайней мере, есть польза, думает она. И когда он хохочет в ответ на ее убеждения и просьбы родителей и мужей – она поднимает руку, и один бросок кинжала превращает кабана в борова. И пока боров визжит, обливаясь кровью и корчась от боли, крестьяне набрасываются на окружную охрану и разоряют ее.

Новая картина – она скачет во главе конного отряда на противника. Шуацзянь, парные клинки – в ее руках. Это оружие она получила в отрочестве от своих наставников в монастырской школе. Монастырь находился под рукой братьев и сестер Белого лотоса, и детей там учили не только чтению и письму. Боевыми техниками она овладевала с той же легкостью, что запоминала иероглифы. Еще тогда стали поговаривать, что она отмечена Ушэн Лаому, Нерожденной Праматерью. Но никто не считал это колдовством.

Да, мечи были ее собственные, а вот доспехи и ферганский конь были взяты в бою у имперского генерала. Почти все оружие и снаряжение у ее людей – трофейное, и сегодня они добудут еще больше мечей, копий и доспехов.

Тучи стрел летят над ее головой, и солдаты, которых уверили, что им придется сражаться с безоружными крестьянами, в страхе бегут.

Этот сон – прекраснейший из всех, и она хотела бы, чтоб он длился вечно, но, увы, это не так. Трусливых пехотинцев сменяет опытная тяжелая кавалерия, закаленная в боях с монголами.

Под императорские знамена в провинцию стягиваются все новые армии. Будь у противника солдат вдвое, да что там, впятеро больше, она бы справилась. Но их больше в двадцать раз.

И когда становится ясно, что надежды нет, она велит оставшимся повстанцам рассредоточиться и скрыться. Она прикрывает отход.

Последнее видение – отступление.

Вместе с горсткой самых верных людей она уводит за собой императорские войска. Это ее родная провинция, она и ее товарищи знают местность, возможно, им удастся запутать противника. Но у того тоже есть проводники из местных, они указывают тайные тропы и убежища – кто за плату, кто из страха. И когда отступающие, израненные, изнуренные, валяясь без сил на землю, сухую траву раздвигает острая лисья мордочка.

На этом месте она всегда просыпается. Потому что, кем бы ее ни считали – колдуньей или воплощением Будды, – она всегда была разумной женщиной. А то, что она видела после, разум отказывался принять. И если днем она придумывает для происходящего объяснения, ночью сознание ставит преграды.

Ночь меж тем миновала, свет пробивается в келью через окно, вырезанное в скальной стене. Все как прежде: фрески, повествующие о чудесах, каменные изваяния будд. Здесь их много, хоть и не так много, как в соседнем монастыре. Однако и там среди тысяч будд нет ни одного в женском воплощении. Зато есть другое, многое другое.

Она садится, бросает взгляд на спящего рядом мужчину. Тот продолжает безмятежно храпеть. За долгие годы она привыкла к этому храпу, и он не мешает спать. Линь Сан всегда доверял ей и всегда следовал за ней. Мечник он был никакой, зато стрелял отменно, и это много раз помогало в бою. Можно же за это простить человеку маленькие недостатки?

Набросив монашескую одежду – они все здесь носят такую, а как иначе? – она выходит на террасу. Молиться лучше на свежем воздухе и на свежую голову. Особенно когда перед тобой предстает такой вид.

За три с лишним года можно было бы и привыкнуть, но нет, каждый раз красота этого места потрясает, как впервые. Место, где небеса соединяются с преисподней. Гора Тайшань.

Будь на ее месте кто-либо более возвышенного склада, не преминул бы вспомнить бессмертные строки Ду Фу:

Великая горная цепь –
К острию остриё!
От Ци и до Лу
Зеленеет Тайшань на просторе.
Как будто природа
Собрала искусство свое,
Чтоб север и юг
Разделить здесь на сумрак и зори.

Шаньдун – сердце Поднебесной. Сколь славных имен связаны с этой провинцией – не перечислить. Кун-цзы и Чжуан-цзы, Сунь-цзы, Мо Ди и Чжугэ Лян – все родом отсюда, совпадение ли?

А Тайшань – самая священная из пяти святых гор Поднебесной – сердце Шаньдуна.

И храмы, и монастыри чтимых божеств здесь с незапамятных времен, и тысячи паломники приходят сюда на поклонение.

Когда Чжу Ди объявил ее в розыск, он верно предположил, что Тан Сайер, Матушка Будда, найдет приют в монастыре. Но его люди искали по монастырям удаленным, скрытым от людских глаз. Никому не пришло в голову, что она находится здесь, в центре паломничества.

И уж конечно, шаря по женским монастырям, они не подумали заглянуть в мужские.

На святой горе нашлось убежище для всех, кто пришел вместе с Тан Сайер, но здесь, в Храме Лазурного облака, поместили только ее с мужем. И только ей открыли правду о происходящем. Правду, в которую ей до сих пор трудно поверить.

Мальчик-служка появляется на террасе, кланяется.

– Чтимая наставница ждет госпожу для беседы.

Сайер без слов следует за ним. За годы, проведенные здесь, она, казалось бы, изучила все залы, висячие площадки и переходы монастыря, но она не позволяет себе увериться в этом. Не каждый раз, но довольно часто проход, которым ее вели, оказывался неизвестным, и без проводника она бы заблудилась.

Наставница могла ждать на вершине горы, куда вели вырубленные в скале ступени, или в одном из залов, где глаза слепило пламя, отраженное в начищенной бронзе. Или в одном из множества подземелий. В этот раз встреча определенно была назначена в подземелье. Они спустились не по лестнице, но по пологому коридору, уводящему

вглубь горы. Сайер не видела во мраке, но в руках служки оказался светильник, освещавший дорогу. Тень служки, остромордая и остроухая, скользила по полу и по стене – к этому Сайер уже и вправду привыкла.

Много лет ее именовали наставницей, еще с тех пор, когда она была совсем молода. Но теперь она встретила с той, кто знает и может неизмеримо больше, чем Матушка Будда из провинции Шаньдун. По крайней мере, Сайер так считает. Она видела наставницу в разных обликах. Чаще всего та показывалась скромной буддийской или даосской монахиней. Но иногда она могла явиться в образе принцессы западных стран, держащей в одной руке ивовую ветвь, а в другой книгу. Три служанки, сопровождающие ее, превосходили красотой небесных фей и земных императриц. Иногда, когда она встречала Сайер в пещерах, наставница была обнажена, тело ее – мощно и обильно, лоно способно выносить, а груди вскормить бесчисленное множество детей, и львы и барсы окружали ее. Бывало, что наставница являлась и вовсе не в человеческом облики.

Но сегодня, в подземной палате, где горят светильники, Сайер видит наставницу в облике не столь устрашающем. Хотя многих из жителей Поднебесной он поразил бы больше, чем образ зверообразный. На госпоже – кафтан и шапка чиновника, и сидит она за столом, где сложены высокими стопками книги и свитки. Это неудивительно. Ведь госпожа – глава Седьмой палаты преисподней, куда ведет прямой проход с горы Тайшань. В ее обязанности входит решать судьбы усопших – вернуть ли их в колесо перерождений, вознести на небо или ввергнуть в ад. Это лишь часть ее обязанностей, но она совершенно необходима.

Тан Сайер складывает руки и кланяется Шэн Му, госпоже горы, именуемой также Дуньюэ Тайшань тяньсянь юйнюй бися, или Сунцзы нянтян – и это лишь немногие из ее имен. Ибо госпожа – не только глава Седьмой палаты и вершительница судеб, она еще повелительница лис и многое, многое другое. Потому что когда говорят, что гора Тайшань – обитель богов, это следует понимать буквально.

– Ничтожная Тан Сайер приветствует почтенную наставницу.

Обычно госпожа отвечает: «Хорошо, хорошо, подними голову». Но сегодня она говорит:

– Нынче я получила ответ на твое прошение. Господин Пятой Палаты сообщает, что срок исполнен.

На какой-то миг в смиренной монахине, какой выглядит Тан Сайер, проглядывает предводительница мятежников.

– Когда? – позабыв об этикете, спрашивает она.

После того как лисы привели Тан Сайер на священную гору и она поняла, среди кого оказалась, воззвала к помощи богов. На что ей было сказано, что козь скоро она не сумела убить своего врага собственноручно, то должна действовать по установленным законам. Ей следует подать прошение от имени жителей Шаньдуна, перечислив все несправедные поступки Чжу Ди, и прошение это, пройдя все надлежащие инстанции, дойдет до Янь-вана, главы Пятой палаты, Владыки смерти. Поскольку ни одно живое существо не может умереть без его ведома и согласия.

С тех пор прошло три года. Для бессмертных – срок, равный доле мгновения, для нее – почти вечность.

– Если ты сумеешь использовать свои прежние силы, то сумеешь убить Чжу Ди нынче ночью. Если нет – срок его жизни продлится еще на двадцать лет.

– Но почему? – дурно сердиться в присутствии той, кто настолько выше тебя. Но брови Тан Сайер все равно хмуро сдвигаются к переносице. – Разве Чжу Ди – не преступник по любым меркам?

– Чжу Ди – великий государь, и таким запомнят его в веках. Его деяния...

– Достигаются потом и кровью народа! Все его храмы и дворцы, крепости и каналы стоят на костях тысяч и тысяч загубленных людей!

– Ибо таков обычай всех великих государей. Только так земные владыки достигают величия, только страданиями своих подданных. А преступники? Ты слышала об императрице Люй, злодеяния которой больше тысячи лет потрясают воображение смертных?

– Разумеется. «Исторические записки» входят в число книг, которые должно прочесть каждому, кто хочет приобщиться к учености.

– И что говорит величайший из историков об итогах правления этой злодейки?

Тан Сайер прикрыла глаза, вспоминая.

– «Простой народ смог избавиться от тягот... Поднебесная была спокойна. Наказания всякого рода применялись редко, преступников было мало. Народ усердно занимался земледелием, одежды и еды было вдоволь».

– Вот видишь? Императрица творила свои жестокости в дворцовых покоях, а народ жил хорошо. И тем не менее она – злодейка в глазах людей. А Чжу Ди – великий государь, и равных ему не будет в династии Мин.

– Но Янь-ван счел его преступником!

– Верно. Однако Чжу Ди виновен перед богами, не перед людьми. – Голос госпожи звучит гулкой медью. – Со времен Первого императора, объединившего все царства в единую Поднебесную, Сын Неба приносил жертвы Небу здесь, на горе Тайшань! Но Чжу Ди презрел этот обычай, построив Храм Неба в Северной столице. Теперь обряд совершается там. Император по-прежнему приносит жертву Небу, но божества горы Тайшань оскорблены и требуют наказания. – Тон ее смягчается. Но в спорах между богами только боги могут выносить решения, и только боги – их исполнять. Когда-то Юй-ди, Нефритовый император, препоручил разрешить вражду между Лунной Владычицей и Небесным Волком министерству Пяти священных пиков, где первенствует гора Тайшань. И ничего с тех пор не изменилось, не правда ли, Чанси?

Сайер молчит. Если она ответит утвердительно, то это будет означать, что она стоит не ниже наставницы и обладает теми же способностями, что и госпожа. И ей трудно представить, что будет, если она ответит отрицательно.

– Ты ничего не помнишь, и это правильно. Вас обоих сослали на землю и лишили памяти, иначе ваша вражда сожгла бы вселенную. Как в древности, когда Небесный Волк повелел десяти солнцам сжечь землю, а госпожа Луны, Чанси, с помощью меткого стрелка И уничтожила девять из них. Конечно, ты не помнишь. И никто не помнит. Я говорила тебе об избирательности людской памяти. Они знают лишь Чаньэ, вероломную жену стрелка И, обратившуюся жабой, что вечно толчет в лунном дворце снадобье бессмертия. «О краже чудесного снадобья зачем горевала Чаньэ? Лазурное море, синее небо и думы каждую ночь». Но Чанси не вернулась в свой лунный дворец, ведь она может вознестись туда лишь когда окончательно победит Тяньлана.

– А как же стрелок И?

– Он тоже ничего не помнит. С него достаточно того, что люди поклоняются ему, как домашнему божку, охраняющему от гуй. И того, что в своем человеческом воплощении он по-прежнему метко стреляет, не так ли? Но речь ведь не о нем.

– Что будет, если Госпожа Луны победит Небесного Волка?

– Он умрет в человеческом обличи. Но умрет и земное обличье Чанси. До того, чтоб возродиться и вновь сразиться в следующих жизнях. Может быть, не в этом веке, не в этой стране; где-нибудь среди варваров, где слыхом не слыхали о горе Тайшань и повелениях Нефритового Императора, а Небесного Волка именуют «собачьей звездой». Помни: эта ночь – решающая. Доктрина Белого лотоса – благородна, но это лишь верование людей, а люди – всего только люди. Может быть, через два-три столетия братья и сестры Белого лотоса будут сражаться за династию Мин против новых узурпаторов, и не говори мне, что это невозможно. Не Белый лотос должен вести тебя, но другой цветок, из стали выкованный. Знаменья благоприятны. Есть пронизательная женщина. Она пойдет на север. Не надо бояться, не надо страшиться. Будет великая удача.

– Да будет так, – говорит Тан Сайер.

– Вэнь Юаньшуай, огласи указ, – приказывает госпожа.

Из стены появляется глава служебных духов горы во всем своем устрашающем облике. С лицом серым, как пепел, волосами алыми, как пламя, и телом синим, как лазурь. На левой руке его драгоценный брашлет, дающий право свободного входа на небеса, в правой – железная булава.

– Оглашаю! Решением Янь-вана, Владыки смерти и с дозволения Юй-ди, в летнее полнолуние смертной Тан Сайер на одну ночь будет возвращена ее божественная сила. Если она сумеет сразить земного правителя, именующего себя Юнлэ, смертный Чжу Ди перейдет в ведение Пятой управы.

Женщина кланяется, сложив руки.

– Подданная Тан Сайер принимает указ.

Когда она выпрямляется, лицо ее совсем иное, чем было прежде. Нет, черты те же, но они отмечены печатью холода и непреклонности.

– Так, так, – довольно произносит госпожа горы. – Дянь Му поможет тебе.

Из сумрака выступает еще одна женщина. В руках она держит два металлических зеркала.

Во время мятежа имперские генералы объясняли свои поражения не только тем, что Тан Сайер способна создавать воинов из бумажных фигурок, но тем, что проклятая ведьма взывает к Дянь Му, хозяйке зеркал Ян и Инь. Кто мог угадать, что однажды это окажется правдой?

Госпожа Молний склоняется перед Лунной Княгиней.

На другой день его величество был бодр и дневной переход проделал в седле, как в прежние времена. А когда встали на ночевку, провел долгое совещание со своими командирами, обсуждая новый поход. Ибо нынешний, если честно признаться, был не так успешен, как считалось. Да, империя Юань пала, монголы изгнаны из Поднебесной, но на своей родной земле они по-прежнему сильны... Однако вся кипучая деятельность на самом деле подпитывалась нежеланием его величества ложиться спать.

Но ему было шестьдесят пять лет, и здоровье его было так же не блестяще, как итоги похода. К наступлению ночи император так устал, что едва добрался до постели, и заснул, не прибегая к снадобьям придворного лекаря. И это хорошо, думал он, по крайней мере он не увидит нынче проклятую луну.

Он ошибся.

Сон пришел, и луна была прямо в нем – еще более огромная и яркая, чем та, что висела за пологом шатра. И она все увеличивалась и увеличивалась... Потому что император летел ей навстречу. Но полно, был ли он в этом сне императором? Он сбросил плоть, у которой ломало суставы, кружилась голова и случалось несварение желудка, как сбрасывают поношенный халат. Нет, он не помолодел. Он был гораздо сильнее, чем был в молодости.

Когда луна из белого шара превращается в безлюдное пространство, чем-то напоминающее пустыню Гоби, которую недавно миновало его войско, император замечает, что человеческий облик он тоже утратил. Это не страшно. Если он нечеловечески силен, то зачем нужен человеческий облик? Он бежит, взметая лапами белый песок, и белая его шерсть отливает во мраке тусклым звездным светом. Все, что мучило его в прежних снах, бесследно исчезло, осталась ярость и азарт. Он не знает, что ждет впереди, но это хорошо и правильно.

Когда перед ним вырастает огромная стена, он перелетает ее так же легко, как перелетали стрелы его воинов стены дворца в Южной столице. За стеной тоже дворец, но он ничуть не напоминает тот, где пропал – сгорел? сбежал? – племянник. Чем-то он напоминает закрытый город в его собственной Северной столице – но таким, каким мог бы представить дворец владыки Поднебесной художник, обкурившийся дурной травой.

На ступенях дворца стоит женщина в кожаных доспехах поверх белого платья и в серебряном венце.

Небесный Волк на мгновение замедляется свой бег, его алмазные когти скребут плиты двора, рычание, подобное грому, вырывается из глотки.

В руках женщины распускается цветок лотоса, но это странный лотос, как и все здесь – странное. Впрочем, это не останавливает волка. Он отталкивается и прыгает, готовясь разорвать горло женщины.

Лотос в ее руках распадается на два клинка. Будь Тяньлан обычным зверем, тут бы ему и конец пришел. Но чтобы сразить Небесного Волка, удара меча, даже двух мечей – недостаточно. Однако и он понимает, что быстро покончить с противницей не удастся.

Сражение длится, и никто не имеет в нем перевеса. В этом безлюдном мире, среди безумных построек, тела приобретают необычайную легкость, и при той силе, какой обладают бойцы, они, не рассчитав движения, могут улететь далеко от противника, взметнуться на уровень крыши, совершить невероятный кульбит. Это и происходит, и напоминало бы диковинный танец, но танец сей несет в себе смерть. Стальные клинки уже не раз сталкивались с телом Волка, но, скользя по шерсти из звездного света, не причиняли ему вреда. Женщина же, несмотря на всю быстроту ее выпадов и силу ударов, оставалась обычной женщиной, обладавший обычным оружием. А это значило – стоит ей выдохнуться, как алмазные когти располосуют доспех, и плоть будет разорвана в клочья. Волк пригибается, готовясь к новому прыжку. В это миг в черном небе над головой женщины показываются два зеркала,

они отражаются друг в друге, и отражение это рождает две молнии, и каждая из них устремляется к мечам женщины, становясь продолжением клинка. Она соединяет мечи воедино, и уже единая молния бьет между глазами Небесного Волка.

От крика его величества просыпаются все слуги и охранники в шатре. Когда лекарю удается протолкнуться сквозь них, император уже не кричит, а хрипит. Лицо его перекошено, с губ капает слюна. Лекарь споро вынимает из сумки серебряные иглы. Он опытен и будет делать свое дело, даже если видит, что надежды уже нет.

Пока лекарь ставит иглы, отдав указания ученику, какие лекарства подать, его величество шевелит губами, силясь что-то произнести. Евнух-секретарь склоняется к самому лицу императора, стараясь расслышать, что говорит повелитель. Среди сипения, хрипа и бульканья он разбирает только два слова «убить» и «женщина». Евнух кивает. Он уверен, что верно понял приказ.

Той же ночью его величество скончался. Тело его было доставлено в Северную столицу и похоронено в гробнице Чанлин. Храмовое имя нарекли усопшему – Чэн-цзу, посмертное – Вэнь-хуанди. На его погребении, согласно переданной секретарем предсмертной воле, было принесено в жертву тридцать наложниц императора – но кто помнит о таких мелочах, когда речь идет о великих правителях.

Когда и где умерла Тан Сайер и умерла ли она – никому не известно.

Примечания автора: представление о том, что Тан Сайер и Чжу Ди – инкарнации Лунной богини и Небесного Волка, духа звезды Тяньлан (Сириус), возникло в эпоху Цин и нашло отражение в романе Лю Сюня «Неофициальное жизнеописание бессмертной», мотивы которого использованы в рассказе.

Цитируются: «Взирая на священную вершину» Ду Фу, «Исторические записки» Сыма Цяня, стихотворение Ли Шаньсиня «Чанъэ» и собственно миф о Чанъэ с небольшим изменением (в исходнике – «Она пойдет на запад»).

Иван КАТКОВ

Родился в 1986 году Казахстане в семье офицера. Учился в Нижегородском госуниверситете им. Лобачевского.

Публиковался в журналах «Нева», «Нижний Новгород», «Урал», «День литературы» (Москва) и других. Автор сборника рассказов. Живет в Дзержинске, Нижегородская область.

ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ

Андрей вышел на школьное футбольное поле. Несколько ребят, оставив сумки на лавке, шумно гоняли ободранный мяч. В толпе футболистов мальчик заметил двух одноклассников. Крепыш Вовка Заяц стоял на воротах, а рыжий Бабаев, расталкивая соперников, неумело вел мяч.

«Лучше бы через гаражи прошмыгнул», – подумал Андрей, но отступить было поздно.

– Пацаны, – донеслись голоса, – секите, новенький идет! Пошли, приколемся!

Андрей ускорил шаг. На ходу снял очки и торопливо убрал в футляр.

– Стоять! – Вовка Заяц мощной подсечкой сбил Андрея с ног. Школьник грохнулся на землю. Хотел подняться, но Бабаев тут же сел ему на спину, заломил руки, и стал выкручивать пальцы.

– Делай ласточку, гамадрил убогий, – шипел рыжий.

– Га-ад, – застонал Андрей, – пусти, урод, больно!

– Ладно, хватит с него, – спустя время скомандовал Заяц, – а то вон посинел уже весь, пошли мяч попинаем.

– Твое счастье, – Бабаев слез с Андрея и отряхнул колени.

Ухмыляясь и весело переговариваясь, ребята зашагали в сторону поля. Андрей нашел обломок кирпича и метнул в обидчиков. Кирпич попал в ногу Бабаеву. Он взвизгнул, повалился на бок и протяжно завыл. Подростки окружили друга и принялись с важным видом осматривать ушибленную голень. На каждое прикосновение Бабаев отзывался истошным воплем.

– Да не, не перелом, – поставил диагноз один из них, – так бы пальцами не мог шевелить.

Андрей схватил рюкзак и припустил к школе. Вдогонку ему летели страшные угрозы и ругательства. Кто-то бросился за ним, но быстро отстал. Школьник мчался во всю прыть.

На уроке литературы на парту Андрея приземлился аккуратно сложенный клочок бумаги. «Падла после школы вешайся», – прочел он и скосил взгляд на Бабаева. Тот показал кулак и накрыл его ладонью.

До конца учебного дня Андрей думал о предстоящей расправе. Картины рисовались самые ужасающие. Сотрясение, сломанные руки, скорая, реанимация. Однако больше всего он боялся публичного унижения. Боялся, что поставят на колени и заставят просить прощения, обреют под ноль и зальют лысину зеленкой, разденут догола и закроют в женской раздевалке, или окунут головой в унитаз, снимая все это на телефон. И опасения его были не напрасны, подобное в их школе уже случилось.

После уроков Заяц и компания курили на крыльце. Они небрежно затягивались и громко харкали себе под ноги.

– Э, слышь, постой! – окликнул Андрея Заяц. – Базар есть. Пошли, отойдем.

Они вышли на задний двор. Там уже собралось человек десять. Одноклассники, ребята из параллельных классов и несколько совсем незнакомых юнцов. В ожидании кровавой бойни один из них даже нетерпеливо приплясывал.

Андрей приготовился к худшему. Его зловеще окружили. Первым выступил Заяц.

– Ты че, очкозавр, беспредел творишь, а? С тобой прикалываются, а ты в своих же пацанов камнями кидаешь. Тя че, обоссать, шоль, прилюдно?!

– Не надо, – попятился Андрей.

Заяц ударил в челюсть. В голове зазвенело, из губы тонкой струйкой брызнула кровь, пачкая рукав толстовки. Андрей отшатнулся к кирпичной стене. Прихрамывая, подошел Бабаев и ткнул кулаком в живот. Андрей сложился пополам и рухнул на асфальт. Дыхание сбилось. Он закашлял, сплевывая багровой слюной.

– Отхватил, дрищ? – сказал Вовка Заяц, отвесив Андрею подзатыльник. – Это я тебя только погладил слегонца.

Отдышавшись, мальчик вскочил, принял боксерскую стойку и выкрикнул:

– Козлы вы все, поняли?! Козлы все до одного!

Но после в бессилии свесил руки и расплакался.

На секунду ребята смолкли, затем раздалось оглушительное ржание. Парень в растянутом балахоне присел на корточки и, заливаясь смехом, схватился за живот.

– Рэмбо, одинокий рейнджер, блин, – задыхался он, – парни, нам же хана, давайте сваливать!

– За козла ответишь, лошарик! – прогнусавили из толпы.

– Все, все, брэк, – примирительно поднял руки Заяц.

Затем он шагнул к Андрею, пыхнул дымом в лицо и похлопал по плечу:

– Ну теперь ты попал, друган. Жизни тебе в нашей школе не будет. Я те отвечаю. А скажешь кому – ваще опустим.

Одноклассник замахнулся, Андрей пугливо дернул головой.

– Пацаны, – послышалось из толпы, – палево, Маргоша идет!

Показались огненно-рыжие кудри Маргариты Павловны, преподавателя физики, которую побаивался даже директор. Задний двор моментально опустел.

Андрей утер слезы. Он взмок, у него тряслись колени, сердце колотилось где-то под подбородком.

Вернувшись домой, школьник, к своему облегчению, не застал родителей. Прошел в ванную, умылся. Встал на цыпочки и глянул в зер-

кало. Нижняя губа раздулась. Андрей слегка прикусил ее, но и это не спасло, все равно было заметно. Он снял толстовку и замыл кровавое пятно. На кухне поковырял вилкой холодную котлету, глотнул воды из графина и направился в комнату. Не раздеваясь, повалился на кровать и через минуту уснул.

Семилетний Андрюша гостит в деревне. Босиком он несется по цветущему саду. В руке сачок на бамбуковой палке. Андрей ловит пеструю бабочку. Прыжок, взмах, неудача. Упрямый, он пробует снова. Осторожно приподнимает фиолетовый капрон, а там пусто.

– Ну и пусть, – Андрей бросает сачок в траву и бежит к дому.

На скамейке под разросшимся кустом сирени он замечает своего дедушку. Желтые табачные усы, густые брови, озорной прищур. На нем зеленая гимнастерка с засученными рукавами и слегка сбитая набок шапочка из газеты. Не вынимая папироски изо рта, он смазывает цепь старенького «Школьника».

Андрей обнимает деда, целует в колючую щеку.

– Поторопись, родненький, тебя уж заждались, – покашливает от едкого дыма старик, вытирая перепачканные солидолом пальцы.

Внук лихо седлает велосипед и несется по узкой, петляющей тропинке.

В конце тропинки видит колодец. Андрей резко тормозит, прыгает с велосипеда. Затем припадает к колодцу и всматривается в темноту. Веет сыростью и холодом.

– Я сильный, я смогу, – решает мальчик.

Минуту поколебавшись, Андрей зажмуривает глаза и сигает вниз.

Полет его бесконечно долог. Мальчик пытается схватиться за каменные, с глубокими выбоинами стены, но сильно обжигает ладони. Он кричит, не слыша своего голоса.

– Ничего не бойся, Андрюш, никогда ничего не бойся, – далеким эхом раздается хрипловатый басок дедушки...

Мальчик чувствует, как что-то сильное и в то же время нежное подхватывает его и вытягивает наверх. Ему становится тепло и спокойно. Дедушка берет его на руки, гладит по голове, шепчет на ухо.

Андрей проснулся. Его знобило. Подбив под себя одеяло, мальчик лежал, устремив взгляд в потолок.

Вскоре вернулись родители. Ворчливый отец отправился с пакетами на кухню, а мама вошла в комнату Андрея. Мальчик отвернулся к стене.

– Просыпайся, сынок, – мать слегка качнула его за плечо, – или ты до вечера валяться намерен?

– Не, мам, сейчас встану, ты иди пока.

За столом собрались родственники. Отец разливал водку, женщины потягивали вино из бокалов. Дядя Костя густо раскраснелся, когда уронил на скатерть кусок ветчины.

На телевизоре возвышался портрет дедушки в военной форме.

Мама положила сыну горячего и налила стакан вишневого морса.

– А что это у тебя с губой, Андрюшк? – тетя Таня жадно впилилась зубами в куриную ножку. – С девками небось нацеловался?

Тетка закатилась от смеха, хватив по столу пухлым кулачком:

– Ой, не могу, такой напёрсток, а все туда же!

Андрей виновато опустил голову, нанизывая на вилку салат оливье.

Отец, дядя Костя и дядя Валера ушли покурить на балкон.

– Только недолго, мальчики, – мать поднялась и помогла отдернуть тюль.

Захлопнулась балконная дверь, и женщины стали о чем-то шептаться, перебивая друг друга. Сплетничают, догадался Андрей.

Покурив, мужчины вернулись за стол. Отец откашлялся и заговорил:

– Для начала хочу выразить благодарность всем присутствующим за то, что собрались в этот знаменательный день почтить память нашего любимого, нашего уважаемого Дмитрия Николаевича Воронцова. Героя Великой Отечественной войны, получившего огромное количество боевых наград, в том числе и медаль за отвагу. Человек, который рисковал жизнью за свою Родину, за каждого из нас с вами. Кроме того, они с Клавдией Федоровной, царствие ей небесное, воспитали и поставили на ноги двух замечательных дочерей – Свету и Татьяну. Обе с высшим образованием, обе выбились в люди! Внуки в нем души не чаяли. С нетерпением ждали лета, чтобы отправиться к нему в деревню. Стоит ли говорить, баловал он их жутко...

Отец тяжело вздохнул.

– И вот сегодня ему исполнилось бы восемьдесят лет. Совсем немного не дотянул Дмитрий Николаевич до своего юбилея, но мы всегда будем его помнить, гордиться им, и всегда будем ему благодарны.

Все поднялись и осушили рюмки.

– Ага, – едва не давилась от икоты тетя Таня, – благодарны за то, что он свой дом фиг знает на кого переписал.

Отец кашлянул в кулак.

– Тань, выпила – веди себя достойно или сходи проветришь, – сказала мать.

– Ты сама проветришь. Что, разве я не права? Не намерена я ему тут дифирамбы петь. Ты лучше вспомни, как мама на сушилах чуть из-за него не повесилась. Что, забыла? Напомнить, может?

– Татьян, Свет, да не ссорьтесь вы, – вмешался дядя Костя.

– А мне сегодня дедушка снился, – воспользовавшись передышкой, проронил мальчик.

– Она, может, и пожила бы еще, так ведь он ее до инфаркта и довел, – не унималась тетя Таня, – а вы, идиоты, тут сидите, оды ему слагаете. Тьфу, смотреть противно.

– Да как ты смеешь на отца, дрянь! – вскочила мать. – Как тебе не стыдно! Он тебя, дуру, вырастил, потом в политех пристроил! Сама бы ты со своим мозгом куриным поступила бы?! Хренушки! А с квартирой вам кто помог?! Так бы и жили в своей общаге с двумя детьми! Девять метров счастья! Вспомнила?! Вот и помалкивай сиди!

– Мне сегодня дедушка снился, – повторил Андрей.

– Рот свой закрыла! – крикнула тетя Таня. – Я в отличие от тебя по залету замуж не выскакивала! Или, может, ты вообще его нагуляла, пока муж по командировкам мотался!

– Пошла вон отсюда! – вскричал отец, плеснув ей в лицо морсом. Тетка зафыркала, как лошадь.

– Ну, это уже чересчур, старик, – дядя Костя вцепился в лацкан его пиджака и рванул на себя. Глава семейства повалился на стол, стащив праздничную скатерть и опрокинув тарелки с едой.

– Мне сегодня дедушка снился, – уже шепотом повторил мальчик.

Мать заголосила во все горло.

– Не здесь, не здесь! – орал отец. – Не в квартире, посуду побьем! Выйдем в подьезд!

– Урод! – утирала лицо салфеткой тетка. – Прямо в глаз попал! А если бы я ослепла?!

– Поделом тебе, шваль! – поправил пиджак отец, ослабляя заляпанный майонезом галстук.

– Это я-то шваль? Ты лучше на благоверную свою посмотри! Тоже мне, тихая мышь. Да чтоб ты знал, она, когда с Зиминым встречалась, изменила ему с его же другом! Под Новый год дело было. А потом вместе с ним, с Зиминым, в гости к нему еще ходила, на диване его сидела с бесстыжими глазами, а на том диване он, наверное, ее, то самое, шпехал. А потом еще просила у Зиминых сапоги ей купить! Вот она какая! Он любил ее больше жизни, а к ней то и дело пацаны из соседних деревень приезжали по ночам. И увозили ее. Куда? Явно не в шахматы играть. К приличным девушкам, между прочим, кавалеры по ночам не ездят!

– Не слушай ее, Вов, – разрыдалась мать, – врет она все, паску-у-уда!

– Мне сегодня дедушка снился, – беззвучно шевелил губами мальчик, выводя чайной ложкой невидимые узоры на столе.

Мать вцепилась в волосы сестры и с грохотом повалила ее на пол. Все бросились их разнимать. Дядя Костя обхватил свояченицу за талию и с легкостью приподнял.

– Всю жизнь мне испортила, тварь! – сучила ногами мать. – Вон из моего дома!

– Что, правда глаза колет?! – бушевала тетка. – Харя твоя наглая! Люди добрые, полюбуйте на эту Деву Марию!

На крики стали тарабанить в дверь соседи. С площадки доносились недовольные возгласы.

Андрей ушел в свою комнату. Лег в кровать, накрыл голову подушкой. Мысль о школе наступала грозовой тучей.

На следующий день Бабаев с Зайцевым заскочили в класс, в котором дежурил Андрей, и окатили его из полового ведра. Сердобольная уборщица, заметив трясущегося от холода, насквозь промокшего мальчика, увела его к себе в подсобку.

– Кто же это так над тобой, а? – бормотала она, подливая в кружку горячего чая. – Изверги, а не дети! Директору надо пожаловаться. Я вот им, – погрозила она кулаком.

Уборщица выдала Андрею спортивный костюм с оттянутыми коленками и дырами на локтях.

– На вот, держи. Штанцы малость подвернешь, и будет хорошо. А я твою одежду постираю и завтра отдам. Договорились?

Андрей кивнул и, спрятавшись за бойлером, переоделся.

Как-то раз Бабаев схватил Андрея за ухо и с хрустом провернул. Ухо посинело и стало огромным, точно лопух. После этого к школьнику приклеилось прозвище Ушама бен Ладен.

Потянулась череда издевательств. Били головой о стену, плевали в лицо, стягивали штаны при всем классе, рвали в клочья тетрадки, рисовали маркером на лице.

Андрей замкнулся. На расспросы матери либо отмалчивался либо грубил.

– Сходил бы в школу, что ли, – просила она отца.

– У меня же годовой отчет горит, Свет. Вот сама бы и сходила.

– Да я их классную на дух не переносу. Грымза старая... Ладно, за скочу на днях.

Выходные Андрей проводил дома за компьютером.

– Андрюх, – приставал отец, – а чего это ты, как бирюк, в четырех стенах сидишь? Шел бы на улицу, прогулялся. Эх, погода-то какая, ты смотри! Меня вот в твои годы домой палкой было не загнать!

Мальчик выходил из квартиры, садился в трамвай и до вечера колесил по городу, разглядывая улицы, рекламные щиты, прохожих, спешащих неизвестно куда...

Однажды Андрей закрылся в ванной, взял отцовскую бритву и сбрил себе брови. Лицо стало чуть припухлым, младенческим.

Распотрошив мамину косметичку, намалевал под глазами синяки. Учительница отправила школьника смыть «этот боевой раскрас».

– Слышь, Ушама, а хочешь, настоящие фишаки поставим? – хохотал с задней парты Заяц. – Это мы в легкую.

Андрей нацарапал на руке слово hate – ненависть. Не расставался с дедушкиной медалью «За отвагу». Маленький, обшитый бархатом футляр слегка оттопыривал карман его брюк. «Это мой оберег», – твердил под нос мальчик.

Классный руководитель пожала плечами и посоветовала матери отвести сына к психологу.

Высокий бородатый мужик с тяжелым запахом изо рта задал несколько бессмысленных вопросов, заставил пройти какой-то тест и с миром отпустил, дав рекомендацию есть больше фруктов и не брезговать гимнастикой.

Такое скопление детей у школы можно было наблюдать только при учебной пожарной тревоге. Откуда-то из глубины вырывались истеричные вопли завуча:

– Отойдите! Все в сторону! В сторону!

Завывая сиренами, остановилась «ГАЗель» скорой помощи. Вслед за ней скрипнул тормозами полицейский «уазик». Из скорой выбежали двое в белых халатах. Продираясь сквозь толпу, один из них на ходу раскрыл чемоданчик с красным крестом на крышке. Девочки прятали лица в ладошках. Пацаны едва ли не карабкались друг другу по спинам, чтобы лучше разглядеть происходящее. Старшеклассники хмуро курили в стороне – строили из себя взрослых.

– Господи боже мой, – едва не плача, выдохнула завхоз.

– С такой-то высоты, шутки ли, – покачал головой физрук.

Доктор поднялся с колен и беспомощно развел руками. Тело мальчика уложили на носилки. Из перепачканного кровью кулачка выскользнула медаль и со звоном покатила по асфальту.

Семён БИГОВСКИЙ

Родился в 1982 году в Чебоксарах. Образование высшее юридическое, работает в сфере рекламы и маркетинга.

Публиковался в литературных журналах «Буква», «Северо-Муйские огни». Живет в Чебоксарах.

СХИМНИК

Первое имя он получил при крещении, второе – став иноком, третье – приняв малую схиму. А четвертое должен был обрести завтра – с принятием великой схимы.

Монах волновался, готовясь к постригу, без перерыва читал Псалтирь. Свеча у оконца кельи едва светила. Не отрываясь, он смотрел на пламя, казалось, оно трепещет вместе с дыханием. Взор обратился внутрь – он стал вспоминать.

Отец привел его в монастырь, когда ему было девять, пару лет спустя после смерти матушки. Нашли их утром: мать и сына, сжимавшего туесок с ягодами. С того времени он перестал разговаривать, а ночами стал блуждать во сне и плакать. Отцу посоветовали отвести мальчика к монахам, тот так и поступил.

Настоятель оказал великое доверие и взял служкой в храме. Затем, в отрочестве, его приняли в семинарию, где он отучился шесть лет.

После отправился служить в большое село, там женился и был рукоположен в священнический сан. Хиротонию провели во время Божественной литургии святителя Василия Великого.

Вскоре родилась дочь. Впервые взявши ее в руки, он ждал, что она закричит, но она молчала. Веки ее были плотно сомкнуты и так и не отворились. Девочка родилась незрячей.

Что-то должно было шевельнуться тогда в сердце его, но не шевельнулась. Пусто.

Он назвал ее Васса – с эллинского – пустыня.

Семьей он тяготился, может, поэтому детей больше Бог не дал. Несколько лет спустя жена отошла в мир иной – так же тихо, как и жила. Схоронили без дочери, с несколькими прихожанами. После того он просидел в храме несколько часов, но не горевал, а молча смотрел на свечи и ни о чем не думал.

Поминания прошли так же тихо, дочь горевала, но утешать он не умел. Раз обнял ее неловко, некрепко, девочка всхлипнула и засопела тихо-тихо.

Дни потекли своим чередом: крещения, венчания, отпевания, поминки. Жизнь проходила где-то там, души его не трогая.

Хозяйство он вел не вникая, жизнь виделась будто через мутное стекло. Ему чудилось, что сам он где-то в глубине, внутри. И потому ни радости, ни горечи мирские не могли тронуть его. От обязанностей он не отлынивал, но видел себя лишь в монашестве и отшельничестве. Отречение от мира казалось возможностью обрести покой и через то Бога.

Тягучим, вязким сном прошло еще несколько лет. Дочь выросла, пришла пора искать ей мужа. Тут кстати подвернулся переселенец – бывший терской казак Гребенского полка. Ударили с ним по рукам и выдали дочь за его сына. Хозяйство священник все распродав, а деньги отдал зятю.

Обвенчал сам, тихо, свадьбу играть не стали. Ранним утром усадил дочь на телегу, расцеловал трижды и проводил до выезда. На жительство отправились в соседнюю губернию.

Исполнив долг, принял постриг и удалился в монастырь Святой Троицы, стоявший на берегу Волги. Некоторое время пробыл иеромонахом: проводил те же священнические службы, а позже принял малую схиму. Многие годы прошли в тихом монашеском бытии: молитвах, посте, труде.

В монастыре было множество послушников и иеромонахов, были также и схимники. Еще жило несколько старцев – духовных отцов-наставников.

На отшельничество игумен благословлял не каждого и только с разрешения личного духовника. Но ему даровали благословение на принятие великой схимы и затвор вдали от монастыря. Можно было остаться и среди братии, но он решил уйти.

Духовником был отец Серафим – светлый, улыбчивый старец. Он носил грубую домотканую рясу, литой крест на груди и кожаные четки – лествицу.

Накануне пострижения в великую схиму он поучал монаха изречениями святых отцов и строками из Евангелия:

«Царствие Божие внутрь вас есть».

«Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».

«Когда молишься, войди в клеть твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему втайне».

«Всё же обнаруживаемое делается явным от света, ибо всё, делающееся явным, свет есть».

И последнее, что он сказал ему – слова Христа:

«...Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

На том старец покинул его.

И вот, этим вечером, он остался в своей келье один. Вся жизнь, весь путь уместились пару часов воспоминаний.

Старик вынырнул из прошлого, будто из сна – свеча так же горела у окна и дрожала. Фитиль фырчал и плевался. Чудилось, что пламя приближается к нему. Язычки плясали все ближе и ближе. Огонь слепил, но не жег.

Первый солнечный луч пробился в келью. Монах прикрыл глаза – снова померещилось тройное пламя свечи.

Монах облекся в длинную белую рубаху, приготовленную накануне. Постриг должен был состояться на ранней литургии, потому основные приготовления были сделаны загодя.

Еще засветло братия расставила лампы и зажгла свечи в храме, устлала путь к алтарю дорожкой. Внутри было еще темно, но косые солнечные лучи прорезали оконца и бликами плясали на окладах икон. Все перебивал плотный и тягучий аромат ладана.

Старик босой, облаченный лишь в рубаху, полз из притвора в центральную часть храма, братья пели тропарь: «Поспеши открыть передо мной объятия Отца, ибо я в блуде растратил свою жизнь, но ныне взираю на неоскудевающее богатство Твоих милостей. Не презирай мое обнищавшее сердце, ибо к Тебе с умилением взываю: согрешил я, Отче, пред небом и пред Тобою».

Братья-иноки шли рядом с ним, прикрывая мантиями. Так дошли до алтаря, остановились у амвона, старик распластался, раскинув руки крестом.

– Бог мудрый, яко Отец чадолюбивый, зря твое смирение и истинное покаяние, чадо, яко блудного сына приемлет ты кающегося и к Нему от сердца припадающего, – произнес игумен и прикоснулся к нему, это был знак, что можно встать.

Старик встал, пламя зажженных свечей отразилось в его слезах.

Во время обряда игумен задавал вопросы, а старик отвечал на них. Трижды бросал игумен ножницы к его ногам, а он поднимал и подавал. После третьего раза игумен состриг волосы с макушки в форме креста.

– Брат наш Иоанн, постригает власы главы своя, в знамение отрицания мира и всех яже в мире и во отвержение своя воли и всех плотских похотей, во имя Отца и Сына и Святаго Духа...

– Аминь, – отозвалась братия.

Так старик впервые услышал свое четвертое имя.

Стали облачаться, каждую одежду игумен благословлял, а старик целовал ее, и руку настоятеля.

Первой подали власяницу – подрясник из грубой ткани. Затем аналав – четырехугольный черный плат с крестом и надписями по краям «Помилуй нас, Святыи Боже, святыи крепкий, Святыи Бессмертныи». Следом надели рясу и пояс, поверх мантию, а на голову куколь – черную, остроконечную шапку с крестами. Одежды символизировали доспехи в духовной битве с дьяволом. На ноги надели сандалии, затем подали кожаные четки – лествицу, а в правую руку вложили крест и горящую свечу.

– Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие, – словами апостола Павла обратился игумен к братии и постригаемому.

Продолжил словами Христа из Евангелия от Матфея:

– Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня... Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

Чин закончился.

Подошел духовник Иоанна – Серафим.

– Радость моя, – обнял и поцеловал трижды.

Далее прошло в полном молчании, братья подходили по одному, обнимали и целовали.

Неделю провел Иоанн в храме, в полном одиночестве, за чтением священных книг и поучениях святых отцов.

День ушел на сборы, а назавтра старик отправлялся в затвор.

* * *

Весна. На черную жирную землю падал последний легкий снег и сразу таял. Уже неделю как лед сошел с Волги, и на тот берег можно было отправиться на лодке. Небо стояло серое и смурное, будто опустилось прямо на землю.

Братия собралась на проводы схимника – редко кто отправлялся в дальний затвор. Встали на пологом берегу, наблюдая за сборами. В лодку уселись трое братьев.

Другой берег выился песчаным яром и упрямыми соснами. По самым верхушкам деревьев стелился вязкий седой туман. Дальше тонкая кромка неба пропадала в серых тучах.

Зазвучал частый благовест – били в большой колокол, призывая братию на службу. Звук гулко отражался от холодной воды, братья, не стовариваясь, стали грести в такт ударам. Лодку качало и несло течением.

Внезапно все стихло, стал слышен лишь плеск весел об воду, а старику чудилось, что колокол все так же бьет, но уже у него в голове.

Наконец сошли на берег, лодку привязали. Сквозь камни, песок и корни сосен углубились в лес. Пошли по тропе к озеру – здесь стояла землянка.

Братья распрощались. Старик остался в полном одиночестве. Он вошел в келью, упал на колени и стал молиться. Началось его подвижничество.

* * *

Путь начался с дел земных – нужно было готовиться к зиме. Впереди была вся весна, лето и осень. Зиму же полагал провести в молитвах и посте.

Иоанну здесь нравилось: небольшое озеро в глухом лесу, среди сосен и елей. Густой черничник рос по торфяному берегу, дальше шла сплавина. Ступая на нее, нога утопала во мху и пружинила. Повсюду зеленели низкие кусты клюквы. Лишь в самой середине огромным зеркальным окном блестела темная и холодная вода.

Поздней весной на глади озера показались кувшинки.

Летом комары стояли сплошной жужжащей стеной, которую можно было осознать ладонями. Из перелеска вспархивали тетерки и глухари, а из кустов нередко выскакивали зайцы. Одного он заметил однажды; тот смотрел на него долго-долго и робко. Иоанн все ждал – когда же убежит, но тот не убежал. Но вот монах отвернулся – а когда обернулся, зайца уже не было.

Отзвенело лето, ночи стали длиннее. Звезды мерцали все ярче, часто падали целыми ворохами, оставляя в небе хвосты. Обеты было блюсти несложно: людей вокруг не было, брат-инок приходил раз в месяц: приносил сухарей и немного провизии, справлялся о здоровье и уходил.

Осень выдалась ветреной и солнечной, озерная гладь вся была усыпана рыжими листьями. По краям болот и в низинах уродилось замеча-

тельно много грибов: боровики и обабки. Старик сушил их под потолком – на зиму. Также запасался ягодами, травами и кореньями.

Зарядили дожди, ночи стали холодными. Лес готовился к долгому и темному сну.

Пришла пора приступать к трудам духовным.

Иоанн начал со строгого поста – четыре дня пил лишь ключевую воду. День первый всегда давался легко и привычно. Утро второго дня уже было другим – тело просило воды, благо ее было в достатке.

С третьего дня Иоанн уже лежал, не вставая, поскольку тело слабело, но спать было совершенно невозможно. Он пил беспрестанно, а вода не утоляла жажды. День четвертый был тяжким, тело искушалось слабостью. Старик спасался бесконечными молитвами – пот градом капался со лба, а спина вся умокла. Желанный сон никак не шел, сутки прошли что в бреду. Ночь была длинной и наполненной бесконечными бесовскими сновидениями.

Иоанн ощущал себя будто в воде, тело казалось ватным. Чудилось, что он тонет и задыхается. А потом – будто он под землей. Невозможно было пошевелить ни рукой, ни ногой. Стал про себя творить Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя, Господи Иисусе Христе, помилуй мя, Господи Иисусе Христе...» Стало легче, тяжесть отпустила его, и вот уже он под крышей кельи и болтается там, будто лист на ветру. А вон лежит его старое, изможденное тело, горит лампадка.

На пятый день слабость сменилась легкостью.

Иоанн проснулся засветло, в землянке было темно и глухо. Голод ушел, тело сдалось и будто исполнилось воздуха. Иоанн пролежал несколько часов в полной тишине. Обонял запахи сырой земли и мха, слышал голоса леса и дыхание ветра. А может, все это чудилось ему, Иоанн не знал.

Легкий свет пробился в оконце его кельи. Монах поднес ладонь к глазам – она двоилась и будто оставляла след в воздухе. Все было зыбким, казалось, и время течет иначе.

Он вдохнул и ощутил движение в своем теле. На миг вообразил себя самым воздухом.

Пустота. Чистота и свет. Каждый миг ощущался с пугающей ясностью.

Отворил дверцу и ползком вылез из землянки. На озере еще ткался легкий туман, но солнце уже золотило верхушки сосен. Облака горели пожаром. Взял посох и в одной рясе пошел к высокой старой березе, что росла у берега. Он смотрел то на свои босые ноги, что ступали по палым листьям, мху и сухой траве, то на березу.

Иоанн смотрел на солнце, ему чудилось, что можно прикоснуться к нему. Мерещился двузвон к утрени. Старик опустил голову, взгляд упал на ствол березы. Он вникнул в каждый узор на ее коре, видел муравьев, спешащих по делам. Закинув голову, рассматривал ветви и любовался тем, как они качаются на ветру.

Острое чувство красоты пронзило старика – он увидел природу во всем великолепии, во всем миге Его славы. Не отрываясь, смотрел на колышущиеся ветви, всецело поглощенный чувством. Восторг и радость охватили его – он видел древо осиянным и себя ощущал в свете. Упал на колени и заплакал – искренне славословил Отца Небесного и Божью Матерь за дарованную благодать.

Когда очнулся, солнце было уже высоко. Старик сел. Монаха переполняла благодарность Всевышнему – он знал, что светлая печать озарения теперь навсегда останется с ним.

В сей день Иоанн не сидел в землянке, благо дождя не было. Любовался жизнью, силясь хоть на вздох ощутить отблеск утреннего чуда. Босиком ходил по густому мху на заболоченном, торфяном плоту лесного озера. Собирал кислую клюкву и горстями кидал ее в рот – иссохшее тело отозвалось всплеском радости – и о нем наконец-то вспомнили.

Вернувшись, достал сухарь в тряпице и стал его медленно сосать, хлебный сок казался сахарным. Вечером не пошел внутрь, а развел костер у землянки и всю ночь любовался сполохами падающих звезд.

Благодать.

Вечером следующего дня Иоанн сидел в темной землянке, освещаемой лишь парой свечей, и уже несколько часов мысленно творил краткую молитву:

– Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Господи Иисусе Христе, помилуй мя...

Пот стекал по лицу и искушал остановиться, но монах продолжал. Следом должно было подключиться сердце, и только тогда и получится истинное умно-сердечное делание. Преодолея позывы тела: дернуться и смахнуть пот, прилечь, зевнуть. Отогнав мысли о чернике, образы купания в озере и желание сна. Прикрыл глаза, но не полностью – так важно не провалиться в сновидение – и подошел к главному.

Слова в голове лились сплошным потоком, звук стал слышен изнутри, он ощутил свое дыхание: как поднимается грудь, как воздух со свистом входит через ноздри, тело сдалось и окаменело. Одновременно он начал внимать своему сердцу. Оно запрыгало прямо возле шеи, но монах знал – это не сердце поднялось, это его дух опускался вниз. Он прочувствовал свое сердце: его неровное биение, его прыжки и затухания.

Тьма. Иоанн узнал эту неестественную, густую темноту. Время замерло, он опускался к сердцу, ниже и ниже, слева показался свет. Ему виделся дом, а в оконце свеча – нужно туда. Выплыл в маленький домик, что напоминал избу родителей, в которой он рос: земляной пол, низкий потолок, лавки вдоль стен, свеча у окна.

Он вошел в сердце свое. Но дом был пуст, здесь никого не было. Раз за разом опускался он в сердце свое, но встречал лишь пустоту. И лишь свеча в окне горела слабой и все более тонкой надеждой.

* * *

Годы шли, монах завел огородик, а на зиму заготавливал дрова. В канун праздничных и воскресных дней отправлялся в монастырь к ранней Литургии за причащением Святых Тайн.

В одну из ночей в землянку явился старец Серафим, в длинной белой рубахе до пят. Иоанн сел с ним за стол. Серафим улыбнулся и перевернул кружку: «Из порожнего не пьют, не едят, радость моя». Монах проснулся и сел на лавке – все было точь-в-точь как во сне: лучина, тишина, ночь, чай на столе, пустая, перевернутая кружка.

Наутро Иоанн отправился в монастырь. Духовник, отец Серафим – упокоился.

* * *

Это было чудесное время межсезонья: слияние в танце красавицы осени и невесты зимы. Плакучие ветви берез еще не сбросили рыжие кудри.

Снежинки кружились и оседали на прелую разноцветную листву, Иоанн молчал, глядя себе под ноги. Шел медленно, наблюдая, как сандалии оставляют следы на белом покрывале первого снега. Поднял голову: солнце сверкало и искрилось в тысячах бриллиантовых отражений, над лесом висела небольшая дымка.

Накануне пришел из монастыря инок и принес весть – к Иоанну приехала дочь с мужем и просила встречи. Иоанн сомневался недолго и дал согласие кивком.

На следующий день снег уже тихо лежал, укрыв всю землю, березы же горели неугасимым огнем. Сухая замерзшая трава хрустела под ногами, а мох трещал и продавливался.

Он ждал гостей с самого утра и вот услышал голоса и детский смех – что это? Кто это с ними?

Первыми вышли на опушку брат-инок и крестьянин, затем Петр – зять, за ним шла Васса, а позади всех девочка лет семи.

– Пришли, – сказал Петр.

– Где он? Отведите меня, – попросила Васса.

Петр подвел жену – она стала ощупывать лицо отца тонкими, сухими руками.

– Отец? Тятя. Похудел, борода длинная, брови-то... – улыбнулась, – какое лицо у тебя стало. Слышала, принял строгий обет молчания?

Иоанн кивнул.

– Ладно, – сказала Васса, – посмотри, кого я тебе привела, младшенькая моя – Зоя. Пусть хоть она деда повидает. Зойка, доченька, иди ко мне.

Широколицая, с чуть раскосыми ярко-голубыми глазами девочка подбежала, щеки ее горели румянцем от легкого холода.

– Смотри, Зоя, это твой дед, он монах. Как *теперь* тебя зовут, отец?

– Иоанн, – подсказал инок, который привел их. – Схимонах Иоанн.

– Внучка на тебя очень похожа, вот и муж так говорит.

– Здравствуй, деда, – сказала Зойка.

Дед ее пугал – у него было сухое, вытянутое лицо. Черная одежда вся была исписана огромными белыми буквами, выглядел он строго и страшно.

Иоанн опустился на одно колено и стал разглядывать ее. Девочка и вправду была похожа на него. Еще она была очень похожа на его мать – Агапию.

Иоанн кивнул в сторону землянки, приглашая гостей внутрь. Петр, Васса и Зоя пошли за отшельником. Крестьянин вернулся к лошади, а инок остался снаружи.

Монах присел на пенек, гостей посадил на лавку. Васса стала что-то говорить, Петр молчал. Зоя разглядывала красный угол, где мерцала лампада среди темных икон. Иоанн смотрел на девочку. Он вспоминал матушку и ее песни. В голове чудным образом сплетались прошлое и настоящее. Когда-то он смотрел на мать таким же малым ребенком и вот теперь – смотрит на нее как на ребенка, но уже стариком.

– Зоя, доченька, спой нам, – сказала Васса.

Девочка встала и затянула чистым, звонким голосом:

Владычице Пречистая, Царице, Мати Божия:
Радуйся, Невесто Неневестная.

Святая Дево чистая, руно, росу приявшее:
Радуйся, Невесто Неневестная.

Небес светлейших высшая, самих лучей светлейшая:
Радуйся, Невесто Невестная.

Девичьих ликом радости, бесплотных сил святейшая:
Радуйся, Невесто Невестная.

Небесных высей светлая, Всевышняго селение:
Радуйся, Невесто Невестная.

Марие приснохвальная, Владычице всепетая:
Радуйся, Невесто Невестная...

Васса улыбалась и из ее пустых, вечно сомкнутых глаз лились счастливые слезы.

– Молодец, дочка, – подал голос Петр, впервые за все время.

Иоанн кивнул в знак согласия.

В какой-то момент, в отблеске свечей Петру показалось, что у тестя заблестели от слез глаза. Но, наверное, все же показалось.

Выпили брусничного чая, Васса все так же что-то говорила, Иоанн не слышал. Он смотрел на внучку, та уже лазила по землянке. Посидели немного в тишине.

Пора было собираться – скоро начнет темнеть. Зойка выбежала раньше всех, взрослые вышли неспешно. На поляне перед землянкой уже ждали крестьянин и инок. Иоанн посмотрел на инок, тот передал старику большой, печатный пряник.

– Зоя, подойди к деду, – сказал Петр.

Девочка подбежала и стала перед стариком. Опустила глаза и спрятала руки за спиной. Смотря в лицо внучке, он протянул ей угощение.

Девочка подняла голову и все так же, не убирая рук из-за спины, схватила пряник зубами. Петр удивленно поднял бровь, а потом рассмеялся – Зоя уже где-то измазалась сажей и, кажется, дегтем, все руки были черными. Иоанн заулыбался, от прежнего каменного выражения лица не осталось и следа.

Постояли, пришла пора прощаться. Иоанн пожал руку зятю, дочь обнял, внучку поцеловал в щеку. Крестьянин двинулся к телеге, гости тоже потихоньку пошли. Иоанн какое-то время стоял, а потом зашел в землянку.

Инок пошел последним. Шел он недолго, как вдруг его обогнал схимонах Иоанн в одном подряснике.

– Васса! Дочка! – крикнул Иоанн. Впервые за много лет звук вырвался из его уст и резал слух – он так отвык от своего голоса – тот оказался на удивление звонким и громким.

– Тятя? – Васса обернулась.

Иоанн догнал дочь и крепко обнял ее. Старик плакал, Васса тоже. Затем монах сгреб внучку, стал целовать ее и тискать:

– Зойка, Зойка! Внученька, сокровище, радость моя, какая же ты красавица, умница. Ты очень похожа на свою прабабушку, ты знаешь?

Петр замер, в этом монахе-старике он узнал себя – когда-то, вернувшись с войны, так же не мог надышаться, нацеловаться, наестся родными. Он не очень любил тестя и совсем его не понимал, но тут увидел в нем что-то, сделавшее его земным и понятным.

– Вы... идите пока, – произнес старик, – я внучке сказать хочу кое-что.

Петр и Васса немного отошли, крестьянин и инок ждали их у лошади. Иоанн, опустившись на колени перед девочкой и, глядя ей в глаза, произнес:

– Благослови, матушка.

Девочка улыбнулась и осенила старика перстами.

Монах склонил голову и поцеловал ей руки, а потом ноги. Затем встал и проводил к родителям.

Телега медленно ехала по размякшей дороге, возя колесом. Девочка сидела сзади и махала деду рукой, улыбаясь. Васса плакала. Иоанн стоял посреди умятой травы, в простой рясе, без убора, ветер развеивал его седые, длинные волосы.

Опять пошел снег. Солнце прореживало легкую дымку светлыми полосами. Близились ночь.

* * *

В тот вечер Иоанн молился истово, после лет онемения – будто вновь почувствовал себя.

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного...

Сердце колотилось уже где-то в висках, тело окаменело. Он лежал на жестких бревенчатых нарах землянки, прикрыв глаза, и молился. Снова оказался во тьме и вот увидел огонек, теперь налево, домик, но на этот раз в нем кто-то есть – маленькая девочка, внучка Зоя. «Зойи» с греческого – «жизнь».

– Здравствуй, – сказала видение.

– Помилуй, матушка, – еле слышно прошептал Иоанн.

– Что с тобой, Василевс? – девочка назвала его первым крещеным именем.

– Я вижу тьму, матушка, и страшусь ее.

– Что же ты? Иди со мной и смотри.

Они стояли лицом к тьме и пустоте, что пугала его столько лет.

– Это не тьма, Иоанн, – девочка назвала его четвертым именем. Иоанн – «бог сжалился».

– Это тень, а тени падают от света. Бог есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы, – сказала девочка и улыбнулась синими, чуть раскосыми глазами.

Она взяла его за руку, и он обернулся вместе с ней.

Свет.

* * *

Снег уже лег, листва и трава скрылись под ним полностью, а березы упрямо держались за свой огненный наряд. Брат Фома пришел к землянке схимника. Отворил дверцу, вошел, согнувшись в три погибели. В келье было темно.

Инок позвал схимника, но никто ему не ответил. Зажег свечу, огляделся и трижды перекрестился.

– Свят, свят, свят!

В келье было пусто, ветер гулял по землянке, а на лавке лежал покойный. Он улыбался.

Андроник РОМАНОВ

Родился в 1967 году в Казахстане. Учился в Карагандинском и Казахском государственных университетах. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор четырех книг стихов и прозы.

Публиковался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Дети Ра», «Сибирские огни» и других. Лауреат XV Международного Волошинского конкурса. Стихи переведены на английский, французский, арабский языки.

Член Союза писателей Москвы. Главный редактор журнала «Литература». Живет в Москве.

Я – ЭТО ТОТ, КТО КО МНЕ УЖЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ...

* * *

Гостиница. Провинциальный сон
 Сокурова о Чехове. Темнеет.
 Портье кричит, заводит патефон
 и, слушая Высоцкого, потеет.
 Гремит ведро. Разбитый коридор
 скоблит хозяйка с бронебойным задом.
 Обои цвета яда, едкий хлор.
 Романтика, разбавленная матом,
 в которой мне дописывать роман
 о городе с кислотными дождями,
 о том, что если снится океан,
 не нужно ждать, о том, что между нами
 не просто неумение простить,
 а глупости и гордости в избытке,
 о том, как эту зиму пережить
 и не свихнуться, избежать попытки
 повеситься ли, спиться – все равно...
 О мире, что тебе еще не ведом,
 в котором океан шумит в окно
 и пахнет дом цветами и обедом.

* * *

это уже привычка жить с умершим быть одной
 разговаривать с денисом александром виктором ольгой элиной
 записывать сказанное видеть расквашивающийся маятник над головой
 становиться к вечеру кровотокащей

не помнящей ничего о любви глиной

и методично учиться безумию несмотря
на предрасположенность к четкому здравому смыслу
к сути вещей от начала в роддоме до какого-нибудь декабря
за которым за болью замерзнет любое подобие мысли

все мы один пропал другой умер третий не дождался ушел
ждали ее звонили ей писали письма за которые теперь стыдно
ее фотография это нечто я думаю главное чтобы ей было хорошо
она улыбается здесь а всего остального не видно

* * *

Как ты заходишь, говоришь,
Не называя произносишь.
Прощай, Париж! И ты паришь
И тонким пальчиком выводишь

На запотевшем «Андроник»
И смотришь в букву А так долго,
Что возникает мой двойник
И улыбается неловко.

А там, за Гомелем, война,
И пишут разное и просят
Кто поцелуя, кто вина,
Названивают, мозг выносят.

Но рыжий мониторный лис
Качает гривой и смеется:
Мы все у Бога удались!
Не хмурься, розовое солнце!

* * *

Я знаю, что я – это тот, кто в оконном стекле
На синий бульвар, на осенний бульвар, на дождливый
Никак не насмотрится. Я – это тот, кто ко мне
Уже не вернется, ко мне в этот быт говорливый.

Ему – на Каляевской осень. Чудной человек –
Он смотрит в окно и бормочет моими стихами.
Он видит один, как качается над головами
Ноябрьский ливень, и дождь обращается в снег.

* * *

здесь расставляешь ящики по углам
заходишься кашлем задыхаешься почти не дышишь
читаешь рукописи молишься разбираешь хлам
и пишешь

там в недописанном воздух в достатке сна
море смешалось с небом вино и ужин
и геометрия проще и суть ясна
времени больше нет и бог не нужен

Анастасия БЕЗДЕТНАЯ

Родилась в 1996 году в Ярославле. Окончила Московский издательско-полиграфический колледж им. И. Фёдорова в 2016 году. Студентка филологического факультета Нижегородского госуниверситета.

Публиковалась в журнале «Дружба народов». В «Свободной прессе», «Светлояре русской словесности». Участник конкурса-слёта молодых литераторов в Б. Болдине.

Живёт в Нижнем Новгороде.

ЗОЛОТЯТСЯ У МИРА ВИСКИ...

Рассвет

На заре, когда ветер беснуется,
Я люблю, с кружкой кофе в руках,
Посмотреть на промерзлые улицы
И подумать с тоской о делах.

Солнце нежно целует окошечки,
Холод нежно целует траву...
И, казалось бы, мир этот крошечный
Содрогнется, когда я умру.

Но течение жизни беспечное
Продолжается, двигаясь вверх...
Тихой ниточкой лучшее, вечное
Заплетая в клубок без помех.

И все вечное в мире и лучшее,
Будь то здание или сонет,
Все живое на свете и сущее
В кульминации выльет рассвет.

С каждым днем он все лучше становится,
Золотятся у мира виски.
Вопреки всем словам и пословицам,
Жизнь у каждого взята в тиски.

Ты умрешь, я умру. Это правильно.
Даже, в сущности, и ерунда...
Но рассвет – животворный и пламенный –
Не покинет наш мир никогда.

Мир полон ярких клякс,
Где же его предел?
В утренний сонный час
Свет неизбежно бел.

Дрожью ломает слог,
Он в тишине повис.
Лист между тонких строк
Невыносимо чист.

Невыносимо пуст,
Как перестук фанер,
Опыт корявых чувств,
Неотвратимых мер.

Белым по чёрной зге
Звёздная ляжет сныть.
Мечтатель посмотрит вверх,
Писатель захочет выть.

Я – тротуар

Я сливаюсь с асфальтом в единое целое
после падения в бездну его колдобин.
Стан мой теперь каменистому днищу подобен.
Кожа моя отныне больше не белая.

Вся я тверда и извилиста, словно река ледяная.
И громыхают по мне чьих-то машин колёса.
И погружаются в ямы глубже речного плёса.
Грузно по вбитым рельсам по мне скользят трамваи.

Толпы людей молча в меня вбивают
пыль, а она – вихрем взлетает ввысь.
И глотками кошка проскрежетала. «Брысь!» –
зычно ответил дворник, грязью шурша по краю.

Пьяница на другом краю бросит пустую бутылку
в новых границах мне непривычного тела.
Девочки чертят на мне классики белым мелом.
Ты выбираешь свой путь, стоя у страшной развилки.

Всё это я.
Так зачем же тебе выбирать?
Эти пути неизбежно закончатся мной.
Поздно ли, рано, но даже лесною тропой
ты возвращаешься в город опять и опять.

Снова и снова. В моё грязно-серое царство,
полное зебр, полос и бордюров, истёртых ходьбой
тысяч прохожих, спешивших с работы домой.
И на работу из дома, болея – искавших лекарство

в пыльных аптеках, прокуренных барах...
 Всех вас измучит тоска по дорогам, по стенам и просто камням...
 Что же ты ждешь? Возвращайся изломанной тенью
к таким же теням...
 Может быть, скоро, а может, когда-нибудь, после ночных кошмаров,

ты вдруг припомнишь, какой я была до падения.
 Смутно припомнишь мой человеческий облик.
 Дай себе волю, пусть сердце наполнится скорбью.
 Но без безумных надежд на повторное перерождение.

Гусеница

С куста на куст,
 А желудок пуст.
 Нить не едет, нет еды на неё!
 Гусеница краснеет густо.
 Гусенице редко грустно.
 Гусенице редькой вкусной
 Хочется почавкать,
 Лист капустный отведать...
 Гусенице просто необходимо
 Пообедать,
 Чтобы победить сверхзадачу:
 Кокон загородный выстроить,
 Чтобы летом ездить на дачу,
 А зимой все окна в коконе закрывать
 И туристам – кокона комнаты продавать.
 Так, глядишь, время пройдёт,
 Гусеница красиво заживёт,
 С крышею крылья выкружит,
 Чтобы не было больше такого бреда –
 Что с куста на куст прыгает,
 А нету обеда.
 И вообще, для здорового цвета лица
 Рацион разнообразит пыльца.

Залогиня

Я залогинилась однажды
 И поняла – я Залогиня:
 Богиня зал, огня и глины,
 Живущих по щепотке в каждом.

И первым делом, как богиня
 Я раздавала просто-логинам
 Кортёж пароле-лимузинов
 С наказом не делиться ими!

И, честное-богинье, вскоре
 Логины зажили как люди,
 Ведь их хозяев здесь не будет,
 Живущих в горе и раздоре.

Год

Один раз проползла по зиме,
Как змея, через мёрзлую воду...
Помню, даже язык занемел
До конца бесконечного года.

Один раз утонула в весне,
И трепал меня ветер за косы,
И шептали мне сказки во сне,
Как угрозы, весенние грозы.

Один раз проходила по лету,
Помню, лето меня ослепило...
Да и солнце внесло свою лепту
И всю кожу мою облепило.

Один раз исходила всю осень,
Изумлённая, в поле застыла.
И шумели дожди, словно осы,
Огибая мой мокрый затылок.

Александр КОВАЛЕВ

Поэт, публицист. Родился в 1949 году в Донецке. По образованию инженер-энергетик, Окончил Московский энергетический институт, доктор технических наук, профессор.

Более 30 лет профессионально работает и в литературе. автор двух десятков книг поэзии и прозы, лауреат премии Ленинского комсомола, Всероссийской литературной премии им. Б. Корнилова, «Золотой теленок» и других.

Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

КАЗАЛОСЬ, ВСЁ ДАВНО УЖЕ СЛУЧИЛОСЬ...

СНЫ

Я помню сон.
Мне снился остров дальний,
где по утрам беспечно пели птицы,
и дом дремал под рыжей черепицей
в ограде тополей пирамидальных.

Я помню май,
поправший все прогнозы,
неистовый, ликующий, духмяный.
Я просыпался сумасшедше рано,
в шестом часу, и все казалось поздно.

Казалось, все давно уже случилось:
роса упала, и сирень раскрылась,
мир без меня отпраздновал рассвет..
Как страшно опоздать
в шестнадцать лет.

...Еще был сон.
Зачем-то снилось лето,
где по утрам поют все те же птицы,
и дремлет дом под рыжей черепицей,
и мне не страшно опоздать к рассвету.

Июль, и все давно вошло в привычку.
Мне скоро тридцать
(как-то даже странно),
и я встаю не поздно и не рано –
к удобной ежедневной электричке.

Будильник, чайник на электроплитке,
сто метров от платформы до калитки –
все до минут сложилось, утряслось...

Но где-то глубоко,
я это знаю,
живет во мне, как отголосок мая,
все тот же майский, въедливый вопрос:
Ну, хоть к полудню я не опоздаю?

И, словно девушка из врубелевской рамы,
вслед из окна с надеждой смотрит мама,
такая же, как в мае, молодая.

Велосипед

От вокзала до кино «Победа»,
с уговором не порезать шин,
Филин за прокат велосипеда
брал по-свойски – гривенник с души.

Мишка Филин не ломал комедий –
все-таки у нас был двор один –
он, не пересчитывая меди,
мне совал прищепку для штанин.

И, перехватив тугой прищепкой
свой выдавший виды, тертый клеш,
я со старта брал легко и крепко,
так, что Филин ахал:
– Цепь порвешь!

Ветер пел и весело и складно,
сердце билось чаще во сто крат –
до кино «Победа» и обратно –
триста метров счастья напрокат.

Филин вел себя весьма тактично,
Мишка понимал в клиентах толк.
Вытряхнув всю скудную наличность,
он кивал мне:
– Ладно, можешь – в долг.

Сердце учащало бег стократно,
ветер обжигал со всех сторон...
Но совал прищепку я обратно:
– В долг не езжу. У меня закон.

И потом, мне тоже, между прочим,
И батя новый велик обещал...

Мишка смачно сплевывал:
– Как хочешь.
Я тебе по дружбе предлагал.

...Он катил, разбрызгивая лужи,
я поодаль брел домой пешком.
И стояло в горле слово «дружба» –
жесткое, похожее на ком.

Размышления на ночном вокзале

По кромке заката, сырой и простудной,
по тоненькой кромке рассветного льда
пришел человек неизвестно откуда,
ушел человек неизвестно куда.

Чью душу согрело крыло телогрейки?
Чье время до света песком протекло?
Потертые доски казенной скамейки
недолго хранят человечесь тепло.

Курортник бедовый,
мешочник бывалый –
какие заботы, каких волостей?..
Стоят вдоль российских железок вокзалы,
живут вековечною жизнью своей.

Там нет поименных мирских пересудов,
там нет «персональной судьбы» и следа.
Пришел человек неизвестно откуда.
Ушел человек неизвестно куда.

* * *

Ветрено,
пасмурно,
сыро –
надо ж, как время течет.
Было пернатых полмира,
сделалось наперечет.

Яблоня
листья
уронит.
Солнце слетит на закат.
Было друзей – не упомянуть,
стало – двух-трех не сыскать.

* * *

Еще чем круче,
тем заветней,
но тем грустней день ото дня.
«Красивый, двадцатидвухлетний...» -,
увы, уже не про меня,

Еще чем выше,
тем желанней,
но все отчетливей в груди:
мои вершины мироздания
и перевалы позади.

Еще под куполом манящим
так ослепительна
звезда...

Но все пронзительней и чаще
смотрю в далекое, туда,
где я над крутизной
запретной,
глотаю воздух жадным ртом,
«красивый, двадцатидвухлетний»,
карабкаюсь за окоём.

Попытка утешенья

Что-то разладилось в самом начале,
с прошлым ли напрочь разорваны нити –
главное не предавайтесь отчаянью.
Повремените.
Повремените.

Вновь перед ложью чужой безоружны,
вновь проходимец ликует в зените –
вспомните, чаще бывало и хуже.
Повремените.
Повремените.

Осень, простуда, недобрые вести...
Что ж, непутевость свою не корите,
не потакайте сочувственной лести.
Повремените.
Повремените.

Тают надежды, уходит уверенность –
ждите, в душе чистоту сохраните.
Все остальное вернется со временем.
Повремените.
Повремените.

Лист календарный переверните.
Все образуется.
Повремените.

Виктор БЕРДИНСКИХ

Историк и писатель. Родился в 1956 году в селе Жерновогорье (позднее вошло в черту города Советска) в Кировской области. Окончил исторический факультет и аспирантуру Горьковского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Доктор исторических наук, профессор Вятского государственного университета.

Автор более 120 научных работ, а также двух десятков книг документальной и художественной прозы, посвящённых истории и культуре России. Лауреат Всероссийской премии им. Н. Карамзина «За отечествоведение».

Член Международного ПЕН-клуба. Живет в Кирове.

РУССКИЙ НЕМЕЦ

Роман о времени*

Часть I. Листья на дереве

1. Одно воскресное утро

Солнечный лучик заплясал по моей щеке, перебрался на глаза и нос. Ещё утро, а он, этот лучик, уже горячий. В носу защекотало. Так сладко и дрёмно здесь, на чердаке (мы с братом всегда летом перебираемся ночевать сюда, можно и с вечера погулять подольше, а утром поваляться подольше). Но ласковый мамин голос зовёт: «Пауль! Альбин! Пора вставать!»

Какой же сегодня день? На каникулах в июне всё как-то легко перепутывается, хоть мы, школьники, и работаем в колхозе, помогаем и на полях, и на скотном дворе.

Да! Но ведь сегодня же воскресенье! 22 июня! Мама с бабушкой приготовят на обед что-нибудь вкусненькое: может быть наваристый борщ, или курицу с тушёной картошкой, или галушки с капустой, а на десерт сладкий штрудель... Пальчики оближешь! Я так это всё люблю!

А завтрак у нас чисто немецкий: кипячёное молоко с мамалыгой. Хорошо, что здесь, в Поволжье, кукурузы так же много, как и в том

* Публикуется в сокращении.

селе под Одессой, где я родился. Да и здесь, в Немецкой республике на Волге, мне тоже хорошо. Мы же все немцы: папа с мамой, бабушка с дедушкой, я с братом. И вокруг нас почти все немцы.

И село Варенбург Куккусского кантона тоже немецкое. И от Энгельса, столицы нашей Немецкой республики, не так далеко. А тот самый Энгельс -это же наш главный вождь. Он с бородой, но тоже немец, как и все мы. Только мы без бороды. Его портрет всегда на демонстрациях носят. 7 ноября и 1 мая. Иногда сразу четверых вождей на одном шесте: двое старших и двое младших. Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом – и Ленин со Сталиным.

И такая погода прекрасная у нас нынче на 1 мая была: солнце, зелень уже первая! У всех радость бурлила. И энергия какая-то, напор, что ли, жизненный: подпрыгни немножко и по воздуху полетишь!

Но все эти тихие полусонные размышления вдруг как ветром сдувает: Алька уже встал и сдёрнул с меня одеяло: «Быстрее, Пауль! Все уже встали!»

Ну вот, видимо, я опять последний. Даже совестно. Немного, впрочем. Да и спешить-то некуда. И папе сегодня на работу не надо: он учитель в школе.

Завтракаем не спеша, кушаем спокойно. Ох, какое вкусное молоко! Мы берём его у наших соседей. Коровы у них ходят, что генералы, сытые, важные, даже нарядные какие-то.

Бабушка с дедушкой уже ушли с утречка во дворе прибираться. Домик у нас стоит на окраине села, маленький, на две комнаты всего. В одной (той, что поменьше) обычно спим мы с братом Альбином (Алькой), в другой все старшие. Она попросторнее нашей, но всё равно для четверых маловата.

Зато за домом благодать: и клумбы с цветами, и грядки с овощами, и деревья фруктовые – абрикосы, яблони, груши.

Папа взглянул на большой бак для воды, потом на меня и чуть брови поднял. А у меня уши прямо-таки вспыхнули от стыда. Я же отвечаю за воду в доме: её всегда должно быть много! И как же я запомнил вчера вечером?! Заигрался с друзьями в футбол допоздна, так было здорово!

Ну да ладно! Всё! Вперёд! Хватаю свое немецкое коромысло и бегом по улице в сторону Волги. Там, у оврага, большая колонка артезианская.

Мишка, мой друг, всегда меня дразнит из-за этого коромысла. А мне оно очень нравится: и для плеч выемка удобная, и вёдра на ремнях с железными крючочками так хорошо висят, ни капли не расплещешь. Я пробовал носить воду русским коромыслом, плохо получается: полведра сверху выплеснешь, пока донесёшь. А у Мишки с моим немецким коромыслом ничего не выходит.

Я задумываюсь на мгновение: ведь разницы-то никакой в том, что я – русский немец, а он, Мишка, – просто русский. Он зовёт меня Пашкой, и мне это имя тоже нравится. Это ведь всё неважно: мы же все – советские люди! В первом в мире рабоче-крестьянском государстве! У нас все люди равны! И в газетах пишут: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Помню, как хохотали гости (в прошлом году папа пригласил своих школьных коллег-учителей) после того, как я внезапно брякнул (когда речь зашла о нашей немецкой школе): «Мама и папа – немцы, а я – русский!»

Смеялись от души: они все тоже немцы, в немецкой же школе-семилетке работают. И мой папа там же. Он, кстати, по-русски хорошо говорит, хотя и с заметным акцентом. Родился и вырос он в немецкой

колонии под Одессой. И я там пошёл в первый класс и проучился целых два года. Четыре класса там окончил и Алька. Но школа-то там была русская. Вот поэтому мы все и говорим хорошо по-русски.

Почему мы в 37-м году переехали сюда, в Поволжье? Это я плохо понимаю, только догадываюсь.

Папу там очень уважали: «Генрих Николаевич то... Генрих Николаевич сё...» Он же директором школы был. Мне показалось странным (даже смешным), когда один старик-сосед как-то сказал ему: «Ты, Генрих Николаевич, учитель от Бога!» Непонятно, ведь Бога же нет!

Хотя, конечно же, я чувствовал: про папу сказали что-то очень хорошее и несомненно по заслугам: ведь папа проработал в школе 25 лет, четверть века! Он родился еще в прошлом (XIX) веке, в 1896 году, выучился, выбился в люди ещё при царском режиме и в минуту отдыха иногда торжественно говорил нам с Альбином: «Вырастим вас, дадим хорошее образование, а мы с мамой будем тихонько жить – на мою учительскую пенсию».

Да... Наверное, я всё же чего-то не понимаю! А ведь уже пять классов окончил. Большой вырос, почти взрослый, 13 лет.

Вода плещется, солнечные зайчики в ней пляшут и бликуют. Знойно и душно, солнце палит уже, хоть и раннее утро, нещадно.

А мне нравится! Сухой жар от земли ползёт под штаны на ляжках. И мысли текут плавно в такт моим шагам, без запиночки. Так легко и приятно идти по этой дорожке, даже мелкие камушки не мешают.

Так всё-таки почему мы оттуда, с Украины, уехали? Мама сказала один раз: «Кому-то наш папа дорогу перешёл». А потом пришло то письмо от дяди Карла, папиного брата из Одессы. Папа после этого просто почернел как-то сразу. Мама всё ходила за ним, успокаивала.

Оказалось, что двоих папиных братьев арестовали в родном селе и куда-то увезли. И писем от них не было. «Без права переписки». Это как? Наверное, им просто почтовых конвертов не дают? Ведь за руку-то не привяжешь, если человек захочет весточку домой послать? И они, дядья, все же не где-нибудь на необитаемом острове находятся, а в тюрьме, в каком-то, значит, большом городе. Однако пропали, как в воду канули. А за что?

Вот дядя Карл и написал папе: «Чего ты ждёшь? Срочно уезжай, и подальше, на Волгу! А то следующим будешь ты!» Ну, мы и поехали. Всё бросили. И какое-то сковало нас всех тогда молчание тяжёлое, страшное, как будто в воздухе оно повисло. И время шло медленно-медленно, как в кошмарном сне. Все чего-то боялись. Даже говорить друг с другом, и с окружающими, а особенно с незнакомыми.

Спали мы на полу, сидели на груде чемоданов, тюков, сумок. Ладно, что здесь, на Волге, в центре кантона (района), папина двоюродная сестра живёт – тётя Амалия. У неё мы и остановились на первых порах. Папа долго в роно ходил, просил назначения на работу. Наконец, его направили сюда в Варенбург. Правда, под жильё дали домик на окраине маленький, неказистый, но зато огород при нём большой. Часть грядок на нём – это мой «ботанический уголок». Здесь я своими руками выращиваю разные овощи, и, надо сказать без похвальбы, очень даже успешно. Особенно хороши у меня лук и тыквы. Все говорят, что из меня толковый агроном получится.

Но пора вернуться к реальной жизни! Сколько же я хóдок-то за водой сделал? Пять или шесть? За размышлениями всякими со счёта сбился. Вроде уже все баки и бочки налиты. Ну, в последний раз схожу, чтобы и в вёдрах вода осталась.

Село наше красивое. За ним – голубая лента Волги, за ней – яркие, зелёно-золотистые поля, ещё дальше – сухая жёлтая степь. Вдоль дороги – огромные тополя. Они посажены здесь ещё при царице Екатерине Великой. Между прочим, она ведь тоже из русских немцев была.

А еще у нас очень чисто. И это потому прежде всего, что все мы, сельчане, чистоту любим и поддерживаем. Улицы сами подметаем, водосточные канавы регулярно чистим, они проложены всюду и ведут прямо к Волге.

Кстати, в бывшей лютеранской церкви (кирхе) над алтарём можно ещё прочесть по следам от сбитых букв: Ehre Gott in der Höhe («Честь Бога – в Высоком»). Как это понять? Неизвестно.

Сейчас в этой кирхе – клуб. Когда кино привозят, мы всей компанией (Мишка, Тео и я) обязательно прибегаем сюда. Народу бывает не протолкнуться! На экране наши самолёты и танки – самые сильные в мире!

Я, наверное, в танкисты пойду, а брат Алька (ему уже 16 лет) собирается в Горный институт поступать, вот папа и перевёл его в русскую школу. После немецкой-то школы куда поступишь? Только в местные вузы или техникумы. А в них только учителей и агрономов разных по сельскому хозяйству готовят. Скукотища!

Уф-ф! Конечно, «приятное» это занятие воду носить, но, как говорится, «хорошего – понемногу». Всё! Шабаш! Неплохо бы и на Волгу сбегать окунуться!

Да где там!

«Пауль! Пойдёшь со мной воду для полива возить! Жарко, табак сохнет». Это мама зовёт. Колхозный бригадир пришёл, маму с соседкой заставляет даже сегодня, в воскресенье, на работу выходить.

Я бы, конечно, лучше на Волгу подался. Но надо так надо! Ведь маме без меня с быками-тяжеловозами не справиться! Они огромные, ленивые, упрямые. Иногда встанут и ни с места. Я тогда подхожу к ним, пошепчу на ухо, почешу шерстку, поугувариваю, они снова и пойдут! У других возчиков так не получается почему-то.

Вот и соседка тётя Марта пришла. Их с мамой обычно вместе назначают на разную работу. Так что они уже без слов друг друга понимают. А парит-то как! Ни облачка! Небо – синющее!

2. Большая гроза

Вот и наш колхозный пруд. Пиявок в нём – ужас! И всех надо отпугнуть, обобрать.

Так, все бочки наполнены, теперь едем на табачное поле, за село. Ах, сколько здесь запахов! Благоухание! Под Одессой степь совсем не так пахнет. Чабрец, полынь – это мне с детства знакомо. У меня эти запахи куда-то в самую серединку головы проникают и сердце веселят. Здорово! А ковыль как колыхнется под ветром, будто море!

Ах, море, море! О нём я тоже часто вспоминаю. Когда я еще совсем маленький был, мы ездили как-то на одесские лиманы. Так там даже воздух солёный!

Мама говорит, что здесь, на Волге, ей от белой акации «голову сносит». Смешная! Ну, как это можно «голову сносить»?! Она же на плечах-то твёрдо сидит!

А мне больше всего жёлтая кашка нравится – цветок такой, его ещё «медовником» называют. Сам по себе цветочек маленький-маленький, а запах от него удивительный, на самом деле медовый.

В конце мая я однокласснице своей Ане Цицер положил незаметно букетик в парту. Так она потом пол урока головой с косичками как пропеллером вертела, всё искала, кто же это сделал? А я и глазом не повёл. Не зря мама говорит: «Застенчивый».

Ну и ладно! А мне просто смотреть на Аньку нравится, да и за кошечку её иногда дёрнуть. Она такая смешная, эта девчонка!

Эх, хорошо! Арба поскрипывает, вода в бочках плещется, пара быков шагает и шагает себе мерной поступью.

А вот и табачное поле. Рассада принялась удачно, кустики табака уже здорово подросли. Но если сейчас их не полить, всё завянет. Втроём-то мы быстро управились. Но кто же с утра-то поливает? Пользы от этого мало, лучше бы вечером. А тогда быки будут заняты другим делом, так бригадир сказал. Что ж, начальству виднее

Жарко! У меня затылок аж дымится, наверное, фуражку в спешке забыл дома. А на небе – синем-синем – лишь одно белое пушистое облачко, да и то вдали. От солнца пышет как из печки.

Но вот откуда ни возмись, появляется облачко уже больше и быстро-быстро приближается к нам. Тётя Марта посматривает на него и почему-то с тревогой. «Всё, – говорит, – поехали назад!»

А облако уже тут как тут, прямо над нами! И больше же оно! И вдруг потемнело! И закружилось какими-то иссиня-чёрными вихрями, как тот чёртик, что из дедушкиной табакерки выскакивает. И тут же сверкнули сразу две молнии, будто лестница с неба прочертилась! И ударило где-то в землю, совсем неподалёку, оглушило просто.

Я, честно сказать, если и не испугался, то как-то растерялся. А тут ещё одна молния жახнула прямо в дерево, почти рядом. Словом, страшная гроза началась. Да так внезапно. Никогда я такого прежде не видел. Ладно думаю – не трусъ Петрусь! Так у нас сосед любит говорить, дядя Саша.

И тут что-то мне по темечку как лупануло! Больно же! Оказывается град! Быки замычали и встали намертво. А мама мне на голову деревянное ведро надела, и мы полезли под арбу скрываться от града. Тут и дождь ливанул, да сильнющий, как из ведра. Правда, длился недолго, всего минут пять.

Выбираемся мы из-под арбы, а вокруг сплошь градины лежат. Как снег, чуть ли не по щиколотку. Mein Gott! (Боже мой!) Вот это да!

Мама говорит, что такой ужасной грозы она в жизни никогда не видела. Тётя Марта успокаивает её: «Здесь так бывает. Но редко, один раз лет в пять».

У тёти Марты прадеды приехали сюда из Дармштадта. («Это небольшой город – почти в центре нынешней Германии», – так папа говорит.) Приехали они в дальние времена, может, ещё при Екатерине Великой, то есть где-то во второй половине XVIII века. Открыли здесь, в Варенбурге, склад товаров. Ведь и название-то села по-немецки Warenburg – означает «Город товаров». А колонистам эти товары были ой как нужны! Я бы, к примеру, на их месте взял и купил в первую очередь ружьё. И в степь, на охоту.

Я, между прочим, давным-давно (и уже не раз) стрелять пробовал, в тире. Папа даже как-то удивился, что я так метко стреляю. «Глаз у парня хороший, “ворошиловский стрелок” будет!» – сказал тогда папе хозяин тира (инвалид Гражданской войны, кстати: он, говорят, в Чапаевской дивизии служил, в ней было немало поволжских немцев).

А гроза то и кончилась так же внезапно, как и началась. Добрались мы, наконец-то, до дома. Перед этим быков поставили на скотный двор отдыхать до вечера. Тут и нам бы пообедать самое время! Бабушка уже

издали рукой машет. И папа тоже дома, отлучался на время по каким-то своим делам и только что вернулся.

Вдруг видим: бежит к нам по дороге сосед Александр Петрович. Обычно тихий такой и степенный, а сейчас он на бегу кричит папе во всё горло: «Генрих Николаевич! Война! Война!»

Мы все на своём дворе аж подпрыгнули и рты разинули. А он, сосед, в калитку ввалился, рот открывает, судорожно воздух хватает. И ничего толком сказать не может. Папа похлопывает его по плечу, успокаивает, спрашивает: «С кем война-то? Снова с Финляндией?»

Тут Александр Петрович, немного отдышавшись, и отвечает: «Да нет же с Германией!» Папу даже перекосило: «Не может быть! У нас же с ними пакт о ненападении, на 10 лет!»

Мама всегда говорит нам, что папа у нас настолько глубоко порядочный человек, что в непорядочность других просто не верит: «Всё-то у него рационально, логично, и мысль течёт правильно. А в жизни...» Тут мама грустно улыбается: «А в жизни-то по-всякому бывает: то понос, то золотуха...»

Папа с Александром Петровичем прошли в наш домик. И Альку с собой взяли. Мне видно, как они там руками машут, рассуждают. Мы с мамой во дворе. Бабушка с дедушкой где-то далеко, в конце огорода.

А мне всё же обидно, я ведь тоже уже много чего знаю и понимаю. Чего войны-то бояться?! Да разобьём мы этих фашистов в пух и прах! Это всё Гитлер, он наш Советский Союз ненавидит. Нам на уроках в школе раньше говорили, что он, Гитлер, всех германских коммунистов в тюрьмы посадил. К тому же наш Сталин – самый мудрый, он быстро войну выигрывает, ещё до осени. Недаром ведь в песне поётся:

Чужой земли ни пяди нам не надо,
Своей земли ни крохи не дадим!

И припев там просто здóровский:

Гремя огнём, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин
И Первый маршал в бой нас поведёт!..

А потом мы с друзьями после кино её на всю улицу горланили.

Эх, мне бы сейчас ту чудесную курсантскую форму, как в кино! А какие там кожаные куртки с хрустящими новенькими ремнями! Я бы так этим гордился, а все знакомые и незнакомые ребята мне бы завидовали. И девчонки бы тогда с восхищением на меня смотрели! Ну, это уж понесло меня куда-то не туда.

У нас ведь ещё и Ворошилов есть, и Будённый. Во всех журналах перед кинофильмами про них показывают.

Так что ерунда! Японцев разгромили на озере Хасан? Разгромили. И Гитлера разнесём в клочья! Мы же самые сильные в мире! А жизнь у нас такая хорошая, никому её не отдадим!

Но отчего же у мамы слезинки на глазах? «Не плачь! Ну, пожалуйста, мамочка!». Она у нас очень добрая, наша мама, но вот много чего и постоянно боится. А бабушка зачем-то схватила сумку и в магазин побежала. Лишь сказала: «Спичек и соли куплю!» Но ведь у нас и так полно всего этого добра! Наверное, забыла – старенькая уже.

Интересно, а когда мы теперь обедать будем? Я видел, бабушка зеленый суп варила и кислую капусту тушила. Мое любимое блюдо, да еще если со сметаной и пампушками!

А после обеда надо бы всё-таки успеть сегодня и на Волгу сбежать.

3. Наш папа

Папа, как мне кажется, был всегда. Он такой спокойный, уверенный, всегда справедливый и точный. И ещё от него ко мне всегда веет каким-то душевным теплом, мягкой нежностью. Я это очень хорошо чувствую. Недаром лет до шести у меня в голове словно жили двое «я». Одно – моё, а другое – не знаю чьё. Они, эти «я», встречаются, но друг друга не любят. Я даже хотел маму спросить как-нибудь: почему это так, и у всех ли это бывает? Но она вечно занята чем-то, всегда на бегу. А для такого разговора надо ведь спокойно и рядом посидеть, в глаза маме посмотреть, положить свою руку на её тёплую ладонь.

Потом, в классе, наверное, втором-третьем, это «раздвоение» у меня прошло и как-то сразу. Моё «я» вновь стало единым.

А ещё бывает (правда – лишь изредка): гляну на что-то, и внезапно в голове всплывает «картинка» из какого-то далёкого (или даже очень далёкого) будущего.

Вот, скажем, стою я в Москве, у стен Кремля, будто старый я уже, вокруг – штандарты и флаги разные, а рядом – мужчина: высокий, седой, лицо испитое, глаза хитрые татарские, заплывшие, видимо, такой же старик, как и я, ровесник мой. И что-то он мне такое хорошее говорит. А все вокруг шепчутся: «Президент! Президент!» Кого он мне напоминает? Уж очень знакомый. Но тут – бах! и обрывается «картинка», ни начала, ни конца...

А случаются и «картинки» про то, что уже когда-то сбилось. Ну, например, однажды колхозный бык на меня ринулся, вечером, на улице, прямо напротив нашего дома. Не знаю, куда этого быка гнали и зачем, но вид у него был действительно ужасный: рыжая громадина, глаза кровью налиты, в губе – железное кольцо, а из губ пена клочьями. И вот это чудище рванулось вдруг с цепи да так, что земля под ним задрожала! И прямо на меня мчится! А рядом палисад яды Якоба. Я, как пушинка, через забор перемахнул. И присел за ним, спрятался. Бык рядом пронёсся, даже горячим духом своей шерсти меня обдал.

Всё это, кстати, я видел год назад, когда мы с пацанами за колхозным стадом смотрели на том берегу, за рекой. Внезапно пронеслась в голове «картинка-видение» и пропала, растворилась.

Рассказал я все эти истории Альке: он же у нас «самый умный», сплошной отличник и спортсмен хороший. Но брат только поморщил свой короткий носик (у меня и то побольше) и отрывисто произнёс: «Визионер!» Я и не понял: хорошо это или плохо? Алька всегда вот так, считает, что я рассеянный, замкнутый и не сосредоточенный, в общем, неуправляемый какой-то, «так себе». Обидно! И не так это вовсе и вообще! Да, может, мне иногда не хватает трудолюбия и сообразительности, но зато я старательный и упорный, как и все в нашей семье, в том числе, конечно, папа.

Он с отличием окончил немецкую школу, потом немецкое педучилище. Одинаково хорошо говорит по-русски и по-немецки. Даже статьи пишет в наши местные немецкие газеты. Правда, в разговорной русской речи немецкий акцент у него всё же заметен.

Вообще-то у нас в дальних заречных кантонах по-русски мало кто говорит. Нужды особой нет: вокруг же почти все немцы. Так что и в семье, и на улице, и в общественных местах разговор только по-немецки. Но папа твёрдо считает: чтобы нам с братом учиться дальше (в иногородний институт, к примеру, поступить), надо русский язык хорошо знать! Нет без него дорог впереди! Потому-то он и перевёл Альку (сразу же после 6-го класса) в русскую школу. Тот, конечно, после этого здорово по «руссишу» подтянулся, но всё же, когда домашнее задание по математике делает, цифры-то по-прежнему прищёпывает по-немецки.

Ещё наш папа очень чистоту любит. У него на костюме никогда ни одной морщинки не бывает, а на сапогах и штиблетах – ни одной пылинки-соринки.

Я просто восхищаюсь его умом. Он так логично и стройно рассуждает и всегда всё видит далеко вперёд. Он для нас как большое раскидистое дерево, при любой грозе стоим под ним и не мокнем.

И главное, он всегда справедлив сам и безусловно верит в честность других людей. Вот однажды (мы тогда ещё на Украине жили) поздно вечером ввалился в наш дом сосед дядя Остап. И к папе в ноги:

– Генрих Николаевич, Христа ради – одолжи 100 рублей! Никогда больше тебя не потревожу!

Папа спрашивает:

– А для чего они тебе?

Тот отвечает:

– Продулся я в дым! Надо бы отыграться!

Там мужики (русские и украинцы – в основном) вечерами (а чаще – ночами) по баням в карты резались. Случалось, спускали всё до нитки: и деньги, и вещи, и скот – овец, свиней, даже коров...

Вот папа и говорит Остапу:

– На игру денег не дам!

А тот встаёт с колен и уже спокойно так заявляет:

– Тогда я сегодня погибну, и ты будешь тому виной!

Папа помолчал, потом сходил в другую комнату, вынес 100 рублей, вручил их Остапу и сказал:

– Больше ко мне не обращайся! Никогда!

Ну, сосед деньги схватил и бегом по своим картёжным делам. А на следующий вечер вновь приходит к нам весёлый, достаёт из кармана целую пачку денег и протягивает её папе:

– Возьми, Генрих Николаевич! Благодаря тебе я много выиграл!

Папа головой покачал, выбрал из пачки несколько бумажек – ровно 100 рублей, сказал:

– Больше за деньгами не приходи!

Повернулся и вышел. Остап как-то криво ухмыльнулся и тоже ушёл...

– Деньги с игры никогда впрок не идут! – это уже мама потом так сказала. Она у нас тоже мудрая, но совсем по-иному, нежели папа. А дело-то в том, что осенью того же года утонул дядя Остап: возвращался на лодке со своими приятелями (тоже картёжниками) из-за реки, были они все, надо думать, «изрядно выпивши», лодка перевернулась, и... Кто-то выплыл, а кого-то, как и Остапа, «Бог не помиловал» (так наша бабушка Эмилия считает).

Как бы там ни было, а жилось нам на Украине очень даже неплохо: папа ведь там директором школы был. Может, и зря мы сюда, на Волгу, перебрались? Кто знает?

А впрочем, нам и здесь не худо: чего жаловаться?! Вот какие огромные у меня тут тыквы растут!.. Домишко маловат? Ну так что ж, дело наживное. И не семеро по лавкам у нас. Не то что в других семьях – по пять и более детей. Да ещё разные родственники. Хотя это тоже одна из немецких традиций: жить совместно несколькими поколениями, давать приют близким, если они в том нуждаются. Вот с нами, скажем, живут бабушка и дедушка. В семье моего друга Тео – сестра мамы с сыном. У Эвальда (ещё один мой приятель) – тётя папы, у Карла тоже (как и у нас) бабушка с дедушкой (только по папе) и дядя Ганс. В среднем в каждом домике обитает не меньше шести человек. Так вместе-то жить и веселее, и интереснее, правда, ведь? Люди-то разные, и каждый свою думку, свою всячинку привносит. Кто-то в шахматы играет, кто-то рыбак заядлый. У нас вот бабушка – отличная портниха. Словом, каждый дом полной чашей. В тесноте да не в обиде!

Кроме всего прочего, наш папа очень любит пошутить, но не над кем-нибудь лично, а так – вообще, чтобы все смеялись и при этом никто не обижался. Когда мы с ним, к примеру, приходим вечером к нашим русским друзьям (это на другом конце села), он стучит в окно и громко так говорит: «Тётя Варя, открывай ворота, немцы пришли!».

Ну да ладно, что это разбросался я мыслями обо всём на свете! Пора бы и на Волгу сбежать пока ещё светло! Вон и Тео своё «железное колесо», сам его из негодного металлического прута смастерил, катит по дорожке, вдоль дороги как раз по направлению к реке. Прекрасное у него колесо! Я тоже сотворил такое, но у меня похуже получилось. А Тео просто прирождённый механик. «У него в руках всё горит», – так моя мама говорит. И опять для меня непонятно: как это железо может «в руках гореть»?..

Вслед за Тео бежит Лиля, сестрёнка его младшая. Ей всего пять лет. Она ещё и с куклой в руках, на ходу с ней нянькается. Эту куклу Лилькина мама сама сшила из воротничков полосатых. Глаза и нос у самодельной красотики нарисованные, волосы из пакли какой-то. А в магазине нашем фабричных кукол почему-то не продают.

Ну нет, Лильку мы на реку не возьмём! Попробуй, усмотри там за ней! Да и не покупаешься, не поплещешься всласть при такой-то обузе.

4. Мама и её родители

Мама у нас всегда спокойная и бесконечно добрая. Я от неё за всю свою жизнь ни одного громкого слова не слышал. Она и с папой никогда не спорит. Просто скажет что-то своё, а потом незаметно как-то по её словам всё и выходит само собой. Это удивительно!

Она худенькая и очень подвижная, не помню её сидящей без дела. Может быть, она не такая уж и красавица, но чудеснее для меня никого нет. Да ещё когда принарядится к какому-нибудь празднику или семейному торжеству! Особенно нравится мне мамино синенькое платье в белый горошек, так оно идёт к ярко-голубым её глазам!

Волосы у мамы светленькие, у папы – тёмно-русые, а вот я почему-то – немного рыжеватый, да ещё и с конопушками на лице. Беда! Наверное, поэтому-то девчонки на меня внимание и не обращают.

А вот Алька, он тоже беленький, в маму, так на него девушки всегда как-то ласково смотрят, первыми заговаривают, и когда они с ним воркуют, голосочки-то у них мягкие, нежные, глазки мечтательные...

Ой, вечно я всякие пустяки замечаю, а по-настоящему серьёзные вещи мимо глаз и ушей пропускаю!

Ну так вот, всё равно мама меня больше любит! Так мне кажется, по крайней мере.

Родилась она давно ещё при царском режиме. Сколько-то там классов гимназии окончила, но мало, два или три. А тут революция случилась, война, разруха. Дедушка Мартин со своего завода ушёл, он там каким-то знатным мастером по металлу был. Мама же младшая в семье, у неё ещё трое старших братьев родились. Но пока дедушка на заводе работал, для неё даже гувернантку нанимали и дом снимали большой. Видно, простым рабочим тогда немало платили? Как-то это всё теперь не совсем понятно.

А дедушка у нас самый настоящий «мастер золотые руки». Он и сейчас может из металла сотворить всё, что угодно: ключи всякие изготовить, детали мелкие для колхозных машин выточить и многое другое. У него в сарайчике станочек стоит, инструмент весь по стенам аккуратно развешан. А глиняный пол там красиво так изукрашен: это они с бабушкой откуда-то два ведра цветного песка принесли, узоры им выложили, потом полили, и получилось что-то вроде мозаики, как на полу в бывшей кирхе, где сейчас кино показывают. Здорово! Красота!

А за сарайчиком этим (в маленьком пристрое) дедушка гроб для себя хранит. Сам его сколотил, выточил ручки к нему и украшения всякие – всё из хорошей древесины. Я случайно как-то в пристройку заглянул и ужаснулся в полутьме этому страшному ящику. И сейчас «дедушкин» сарайчик стороной обхожу.

У бабушки же в этом чудном сарайчике тоже есть свой уголок, там её швейная машинка «Зингер» стоит. На ней бабушка для нас почти всю одежду шьёт. В магазине же местном ничего подходящего не найдёшь. Ну вот, а бабушка насобирает разных там воротников, отрезков, того, сего, прикинет, раскроит, поколдует у своего «Зингера», и выходят из-под её рук такие вещи – залюбуешься! Вот сейчас на мне короткие штаны на лямках: это бабушка сшила из «чёртовой кожи». Сила! Никаких дыр на этих штанах не бывает, очень прочная ткань, даже повиснешь на ней (на заборе, к примеру), не порвётся! Кусок этой старинной ткани одна соседка подарила бабушке за сшитое шикарное платье с розами, такое, что все в округе только удивлялись да ахали.

А ещё бабушка прямо-таки чудесные настенные коврики и оконные занавески для нашего дома изготовила. Так у неё всё аккуратно, опрятно, красиво получилось! И душевно! Gemütlich (от Gemüt – «душа»)! В русском переводе это слово значит «уютно», но тут всё-таки не совсем то выходит, что по-немецки. Какое-то оно делается маленькое, узенькое. А немецкое слово большое, широкое, означает «душа радуется».

Однако, поздно уже, хватит мечтать! Пора бежать в очередь за хлебом. Что-то в июле они, эти очереди, слишком длинными стали. С утра там Мишка стоит, в обед Тео, а после обеда – моя смена. Но продавать-то хлеб в нашем магазине начинают не раньше четырёх часов, то есть уже ближе к вечеру. А голод – не тётка. И тот же Мишка, когда домой не спеша идём, всю аппетитную поджаристую корку с конца буханки подъедает. Вкуснятина же! У меня тоже просто слюнки текут. Но стоп, держи себя в руках! Мама-то ничего не скажет, а вот папа посмотрит сурово и хмыкнет неодобрительно. Вот поэтому и нельзя!

5. Безмятежное лето

И покатилося лето – как по маслу! Война где-то далеко-далеко идёт. Хотя первые эвакуированные и беженцы появились у нас уже в июле.

Мы с Алькой, как обычно, и на домашнем огороде помогаем, и на колхозные работы с мамой ходим. Дел по горло.

Впрочем, и свои мальчишеские забавы не оставляем. Мне, например, особенно нравится с мячом играть: он маленький такой, резиновый, перекинешь его через ногу, через руки и бросишь со всей силы, а Мишка должен поймать его на свою палку-биту и садануть, куда подальше. Если, к счастью, промахнётся по мячу, тогда мой выигрыш!

И в воде мы как рыбы, все смуглыми стали от загара, тела блестят на солнце, чистая бронза говорят.

А вот на рыбалку не удалось сегодня сбегать, с самого утра ходили на колхозную бахчу арбузные плети песком присыпать. Ветер же сильный, а у самых корней арбузные плети совсем слабые, может их ветром напрочь оторвать. Вот мы и проходим по рядам, каждую головку такой плети кучкой песка покрепче приминаем, чтобы ветром-то не вырвало. Работа не из весёлых! А сзади к тому же наш бригадир, дядя Эвальд, идёт и постоянно подзуживает, мол, плохо, неаккуратно работаем. Ну, он всегда такой, вечно брюзжит, иногда сильнее, иногда потише. Наверное, оттого, что язва у него. Так, во всяком случае, тётя Марта маме сказала. Она очень насмешливая, эта тётя Марта.

А песок жжёт, просто как зола горячая, сил нет голыми руками с ним возиться! И в мои дырявые сандалии он тоже набивается, словно по тлеющим углям бреду. Сколько же ещё терпеть эту мучку?! Бахче-то вон ни конца ни края не видать.

– Пауль, как ты думаешь, когда война закончится? – это Тео спрашивает. Он рядышком держится, но тоже из последних сил уже. Он иногда даже более задумчивый, чем я.

– Да откуда я знаю? Но скорее всего к зиме. Ведь смотри, у фашистов же валенок нет? Нет! Так как же они будут в морозы-то воевать? Гиблое их дело!

Ну, это я так брякнул первое, что в голову пришло, не подумав. Тоже стратег!

А вот Алька все сводки Совинформбюро по радио слушает и на карте у нас в комнате разные фишки прикалывает. Я в них мало что понимаю. Они же с папой часто (иногда очень яростно) спорят возле этой карты. Алька и тихо говорит, и редко, но папа почему-то раздражается, его что-то сильно беспокоит с самых первых дней войны.

– А знаешь, почему моего брата Георга в армию не взяли? – Тео голос понизил и заговорщически на меня смотрит.

– Нет, откуда же мне знать? Дело ясное, что дело тёмное! – отвечаю.

– Военком сказал, что на его, Георга, военную специальность пока «запроса нет».

Вот те раз! Опять непонятки! Да, Георг только что десять классов окончил, и у него, скорее всего, нет вообще никакой военной специальности. Но ведь и всех остальных немецких призывников из нашего села, что в военкомат ездили, тоже домой возвратили. Ерунда какая-то получается! Русских берут, а наших – нет. А мы же тоже хотим с фашистами сражаться за нашу Советскую Родину! Перца им насыпать, вражинам проклятым, на подлый их язык! Ух, как хочется!

Но это же германские немцы, их чокнутый Гитлер всех обработал! А мы – русские немцы, точнее советские. Мы же в стране рабочих и крестьян! У нас Сталин вождь! Он – самый мудрый, всё знает, из любой беды выручит и к победе приведёт! Он – лучший друг всех советских людей! И детей тоже, и нас с Тео в том числе! Так что не надо зря голову ломать, Сталин разберётся!

Много сёл и городов уже оставили? Ну и что, это, наверное, план у нас такой – заманить врага поглубже в Россию, а затем ударить да покрепче! Я вот так думаю. Сказал об этом Альке, на что получил в ответ: – Глупый ты ещё (Dummkopf)! Так войны не ведутся!

Ага! Ну а как же они ведутся? Кто знает?

Да ладно, всё равно война где-то там далеко, и нам до неё напрямую-то дела нет. Кому положено, пусть те всё и сделают, чтобы победить. Вон как Финляндию два года назад разделали – под орех! А ведь поначалу тоже вроде не совсем ладно получалось.

Кстати, в начале августа во всех газетах был напечатан большой Указ Президиума Верховного Совета СССР – о награждении группы фронтовиков, и среди прочих там значатся наши немцы: «ордена Красного Знамени удостоен старший лейтенант Альфред Шварц – командир танкового батальона, а орденом Ленина награжден полковник Николай Гаген, командир стрелковой дивизии».

Четыре дня назад, 24 августа, папа вслух читал статью из «Комсомольской правды», «Мы отомстим за тебя, товарищ!» называется. Там рассказывается о подвиге красноармейца, нашего земляка Генриха Гофмана. Этот 20-летний парень, попав в плен, выдержал ужасные пытки, но не изменил военной присяге. Там даже большая фотография была: обгоревший, с пятнами крови комсомольский билет. Фашисты приколотили его штыком к груди нашего воина, а самого Генриха разрубили на куски. Мы с мамой плакали.

Или вот буквально сегодня утром Алька по радио слышал передачу про отважного зенитчика Генриха Неймана, который лично сбил целых четыре германских «Юнкерса».

Алька, показывая нам тщательно собранные им из разных газет вырезки со статьями о подвигах воинов – русских немцев, говорит: «Теперь-то уж точно и всех наших через военкоматы будут в Красную Армию призывать!» Любит он, мой старший братец, всё систематизировать, аккуратно по полочкам раскладывать. Папа коротко и ясно, как всегда, выразился по этому поводу: «Педант!»

6. 30 августа

Деньки катятся, словно бочки, наполненные водой: грузно, тяжело, но и без особого грохота.

Пшеница в полях вымахала выше меня! А тыквы и лук на моих грядках уродились как никогда! Все говорят, урожай нынче небывалый! И взрослые, и дети целыми днями на полях.

А уже и август кончается, скоро в школу. Наверное, сразу-то нас учить не будут, заставят ещё и в сентябре на колхозных полях работать. Что ж надо так надо!

Бреду с поля домой к обеду. Ноги от усталости подгибаются немного. Но что же это такое? Наши все на дворе собрались, и лица какие-то траурные. Мама с бабушкой плачут без звука. Я к Альке:

– Что случилось?

А он показывает мне свежую вырезку из нашей местной немецкой газеты *Nachrichten* («Известия») и говорит:

– Нас всех выселяют. Как «шпионов и изменников». В Сибирь....

Я просто опешил. В голове как будто бомба взорвалась. Даже в глазах помутилось. Как же так?! Мы же – советские люди! Мы самые лучшие и трудолюбивые! Папа обвёл нас взглядом и прервал молчание:

– Пойдёмте в дом – там всё обсудим!

Зашли в комнату. Папа, мама и Алька присели за обеденным столом, а мы с бабушкой и дедушкой на сундуке. Папа сжал голову руками, лицо у него исказилось. Просит Альку:

– Прочти ещё раз!

Тот медленно и чётко зачитывает газетный текст сначала по-немецки, потом по-русски. И вот ведь какое дело: вроде я все слова в этом тексте знаю, а смысла их не улавливаю. «Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа...» Как гром среди ясного неба! Пишут там, например, что поскольку в нашей Автономной Республике немцев Поволжья среди её населения много «диверсантов и шпионов», которые якобы хотят фашистам помощь оказать, то всех здешних немцев надо выселить! А их Республику – уничтожить!

Это как же так?! Это же полная неправда, ложь! Мы же все за Советскую власть и против Гитлера! Мама говорит:

– Марта рассказывала, что на базаре слух ходил, будто сбросили фашисты десант в западных кантонах, а наши немцы в своих сёлах их укрыли. Но потом выяснилось, что это были красноармейские учения. Наших переделали в германскую форму, а местные немцы их повязали всех, поколотили изрядно и сдали властям.

Снова молчание. Словно камень на шею всем повесили. У дедушки веко дёргается. Он же у нас старенький совсем, ему за 80. Наконец, он, прерывая паузу, изрекает не совсем послушными уже ему губами:

– *Sei Untertan der Obrigkeit und wersetze dich nicht dem Bösen mit Gewalt!* («Будь послушным начальству и не сопротивляйся злу насильем!»)

И снова погружается в полудрёму. Алька говорит, что это выражение из Библии. А еще у дедушки с бабушкой есть книга с готическим шрифтом, напечатанная ещё до 17-го года, сборник религиозных песен, псалмов и молитв. Дедушка регулярно зачитывает отрывки из этой книги всем нам, по воскресеньям перед обедом.

Тут в разговор вмешивается бабушка и, поджав губы, произносит:

– *Donnerwetter!* (Проклятие!) Нам этого не пережить! Ещё в ту войну, до 17-го года, при царе, хотели всех немцев из России в Сибирь выселить! Да революция помешала.

Но мы все пока молчим, перевариваем страшную новость. Наконец, папа, раздавленный, как и все мы, такой несправедливостью, собрался с мыслями и начал тихо что-то говорить. Мама поплотнее дверь на двор прикрыла и окно зашторила.

По словам папы:

– Указ нелогичен, все должны отвечать за всех. Круговая порука, как в древности. Но мы же – самые передовые в мире по общественному строю. И Республика у нас – самая первая национальная автономия в Советской России. Существует с 1918 года. А что в Указе утверждают? Что у нас полно «шпионов и диверсантов»? Да если бы они и появились вдруг, мы бы их всех сразу же повязали и пересажали. Но нет же вообще ни одного конкретного факта! Так где же логика?

На это мама печально замечает:

– А много логики в случае с Пактом о ненападении?

Папа раздражённо отмахнулся, вновь впился глазами в газетные строчки – и в недоумении стукнул ребром ладони по столу:

– Ну а это что такое?! Если мы все «диверсанты и шпионы» и нас выселяют, то почему же тогда на новых местах нам землю и всякую государственную помощь обещают за такие-то «чёрные» дела?!

Ещё что-то он там повычитывал, громил в пух и прах. А потом с грустью подвёл итог:

– Дрянь наши дела! И положение наше самое незавидное! Всё это может кончиться полной ассимиляцией русских немцев.

Я спрашиваю:

– Так что же дальше-то будет? Страшно как-то!

Папа ещё более напрягся, даже синяя жилка на виске вздулась. И оборвал меня сердито, как будто отрубил:

– Не надо поддаваться страху, иначе он тебя съест! Будем нести свою судьбу, свой крест достойно! Война предстоит огромная. А мы в ней, как зёрнышко меж двумя жерновами.

И снова я ничего не понял. Мы же – не на мельнице! И не зёрна мы, а люди!..

Тут и Алька своё слово вставил.

– А сколько мы для русской культуры сделали! – говорит.

– Мы же, в сущности, и есть русская культура! Фонвизин, Дельвиг, Кюхельбекер, Брюллов, Даль, Беллинсгаузен, Крузенштерн... А полярик Отто Юльевич Шмидт? Как с ним быть? Тоже выселять?!

И папа молчит...

А бабушка вновь голос подала:

– Надо поросёнка резать и мясо коптить!

И дедушка от дрёмы очнулся:

– Давайте! А я всё быстро закончу – вы только разделайте!

У него это очень аппетитно получается: шпик, копчения разные, колбаски домашние. Ой, у меня даже в животе забурчало. Неудобно, тут такой разговор серьёзный, а я... Пришлось на сундучке поёрзать, чтобы как-то аппетит успокоить.

Между тем папа с Алькой продолжают про нашу культуру рассуждать, какие убытки она понесёт, что с этими землями будет? Но я это всё это уже плохо воспринимал, голова вдруг разболелась, как от угарной печки. И пошёл я на двор. Ещё раньше вышли бабушка с дедушкой, уединились в своей мастерской.

Смотрю я на улицу, а людей там вовсе нет. И какая-то чёрная тоска над селом висит, что-то похожее было во время недавнего солнечного затмения. Мы за ним на займище наблюдали через стекло закопчённое. Луна тогда совсем закрыла Солнце, только маленький серпик от него остался, яркий, горячий... А потом тень всё равно ушла. Может, и сейчас обойдётся как-то? Поймут власти свою ошибку – и всё исправят? А?

Да, но при затмении-то все собаки выли, и коровы мычали. А нынче всё притихло, сжалось, как перед ударом молнии. Страшновато что-то!

Нет, ничего я не боюсь. Ну, напрягаюсь, конечно, сверх обычного, и постоянно дрожит внутри какая-то жилка. Но поддаваться страху, паниковать, ясное дело, не собираюсь! Не дождётесь!

Ведь сказал же Молотов по радио: «Наше дело – правое! И победа будет за нами!»

Часть II. Унесенные ветром

1. Выселение

Мама пришла домой и говорит:

– Нас 13 сентября выселять будут...

И руки у неё словно плети повисли. Хотя она уже не плачет, только лихорадочно узлы вяжет да в чемоданы что-то запихивает.

А папа сообщает:

– Соседнее село уже вывезли, вчера. Солдат туда понагнали, а они всех выселяемых торопили: «Быстрей-быстрей!»

От таких разговоров не знаешь, куда и укрыться. И решил я к Тео сбегать повидаться, а может, и попрощаться. Так и сделал. А у них во дворе тоже хлопоты и суматоха. Родители Тео даже корову прирезали. Семья-то большая, восемь душ, да все мал мала меньше. Это у нас в семье детей двое всего, а так у многих немецких семей на селе по 5-6 малолеток...

Отошли мы с Тео в сторонку. Он мне свеженькую кровяную колбаску притащил – вкуснющая! Аромату на всё село! Вижу, дружка моего тоже тоска гложет.

– А давай, – вдруг предлагает он, – в соседнее село сбегает! Ну, в то, которое уже выселили.

Я охотно соглашаюсь:

– Давай! – говорю.

А тут и Мишка прибежал, грустный какой-то, на себя не похожий. Он-то здесь остаётся, но за нас очень сильно переживает. Родители у него бакенщики, на реке сигнальные фонари по вечерам зажигают, а по утрам гасят. Он и плавает лучше нас всех, да и бегаёт быстрее. А живёт он за селом на «бакенушке». Избушка у них тоже небольшая, как и у всех нас.

Сначала Мишка просопел что-то себе под нос, а затем подошёл ко мне, руку разжал и говорит:

– Возьми, Паш! Это – тебе подарок! На память!

Смотрю я: а на руке у него – ножик маленький, перочинный блестит! Так он мне прежде нравился! Я ему, Мишке, за этот ножик и лупу предлагал в стальной серой оправе, и две патронные гильзы от охотничьего ружья. Всё бесполезно, ни за что он на обмен не соглашался. И вот теперь...

– Спасибо! – говорю, а у самого в носу что-то пощипывает.

Ну и побежали мы затем в соседнее село километров за пять от нашего. Дорога-то хорошая, утоптанная, так что и пыли-то на ней немного. Где-то шагом идём, о всякой всячине толкуем, а где-то и вприпрыжку. На какое-то время, кажется, все беды и горести позади остались. Красота!

Потом обратили внимание, что у нашего села вся пшеница собрана и убрана, а у соседей – хлебá в полях в полный рост стоят, и волы с коровами по ним разгуливают, мычат и колосья жуют, объедаются. Людей же не видно совсем. Ну да, их же выселили, по графику, раньше всех в округе. Ничего себе Ordnung («порядок»)!

Плодовый колхозный сад весь в яблоках, ветки трещат, некоторые подломились уже. Опять как-то странновато стало.

А в низине, у маленькой речки, такие помидоры вымахали в этом году! Большущие, мясистые, сладкие, красивые, как на картинке!

Но одна половина поля убрана, а другая – нет. Съели мы с парнями по одной большой помидорине – слаще сахара! Правда, соком забрызгались.

Идём дальше. Вот и село. У домов – бездомные кошки и собаки. Мечутся из стороны в сторону. Кошки мячут, собаки лают.

А тут видим, у одного дома пять взрослых уже девчонок. Стоят кружком, все какие-то испуганные. Мы к ним:

– Вы чего здесь делаете?

Одна из них, та, что повыше других, отвечает:

– Мы студентки – из Ленинградского мединститута. Проходим в Куккусе практику. А сюда нас райком комсомола послал за брошенным скотом ухаживать. Но мы же все городские! Коров доить и вообще ухаживать за ними не умеем. А вы-то кто, ребята?

Мы и сказали, а Тео успокоил девушек, пообещав, что он запросто им всё объяснит и даже покажет на деле. Тут же он притащил ведро, миску с водой, тряпочку. Сходили на поле и привели к дому самую смирную корову. Тео подсел к ней под вымя и действительно всё показал: как соски обмывать, как тянуть за них, чтобы молоко лилось. А бурёнка-то радёхонька, стоит как вкопанная. У неё ведь, у неподоенной-то, всё болит. Ей непременно люди нужны, без них не обойтись. Никак! Вот ведь война проклятая что наделала, всем жизнь перевернула!

Заторопились мы назад, даже яблок здешних не отведали. А они в этом селе какие-то особенные, говорят, из-под Одессы сорта вывезены. «Люсдорфские», что ли? Я плохо названия запоминаю.

В памяти застревает почему-то: дома стоят пустые, жизнь в них кончилась, коровы и быки бродят по неубранному полю, пшеницу поедают... Тео говорит, что им нельзя этого позволять, они сытости-то не знают, обожрутся и попередохнут. Жаль, а сделать ничего нельзя!

Хаос, одним словом.

2. 13 сентября

Вот и пришло оно – 13 сентября. И в нашем селе солдаты появились, десятка полтора. Ходят по домам и торопят нас:

– Давайте грузитесь! Да быстрей-быстрей!

А бабушка Эмилия замешкалась, почему-то лишь сегодня с утра хлебы в печь поставила, как обычно. Надо ведь было раньше с этим управляться, вчера вечером ещё, раз уж такое дело – эвакуация! И вот погрузили мы уже свой скарб на бричку, а у бабушки хлеб ещё не готов, не допёкся. Тут и солдат пристал настырный такой, сапогом стучит в дверь.

– Давай, – говорит, – бабка, пошевеливайся! Выходи – нечего больше ждать!

Но бабушка наша молодец, не испугалась, даже не смутилась. Достала она из печи два полусырых карава, положила их себе в суму, а два других так в печи и оставила.

– Поешьте, солдатики, – говорит, – когда вернётесь!

И председатель нашего сельсовета, Давид Рот, тоже молодец. Он накануне все дома выселяемых обошёл, советы давал:

– Режьте быстрее весь скот, какой сможете, и делайте кочёности на дорогу. Там, на новых местах, неизвестно что будет. Пропадём, если сами о себе не позаботимся.

Вообще-то он, Давид, – человек симпатичный, весёлый, черноусый, поёт хорошо и на аккордеоне играет. Но с чего это он взял, что мы «пропадём»?!

Вот папа наш всё имущество по акту сдал (кроме мебели и книг, их на чердак к русским соседям унесли, у нас места нет). И обещают на новом месте всё по этому акту возместить. Многие и скот сдали, его тоже там, куда приедем, по акту вернут. Советская власть – она ведь справедливая, надёжная. Всегда выполняет свои обещания. Разве не так?

Кое-кто, впрочем (как родители Тео, например, да и многие другие), до самого конца не верили, что их выселят. Всё надеялись, что «власти разберутся, поймут ошибку» – и в последний момент всё отменят, ведь нет же у нас никаких «шпионов и диверсантов»! И только когда уж солдаты появились, тут они суматошно забегали и давай в спешке всё, что под руку попадёт, в узлы и тюки собирать.

А я между тем стою во дворе нашего дома и с грустью смотрю на тыквы, которые сам вырастил: огромные, оранжевые – красота! И вдруг на меня снова накатило: вижу, будто стою на берегу какой-то реки, могучей, быстрой. Она не ленивая, как Волга, а огромно-упругая, широченная. На противоположном берегу – диковинные деревья (у нас-то лесов нет, так что названий этих деревьев я не знаю). Вода сильно тот берег подмыла, и внезапно целый огромный его кусок в реку обваливается – рушится с треском и грохотом. Бух!.. Бам!.. И видение уходит...

К таким штукам я уже приспособился: это – мгновение из будущего. Ни понять его, ни как-то с пользой для себя применить нельзя. Но когда это мгновение происходит в действительности, я его узнаю. В моей памяти хранится около десятка подобных видений. А сбылись пока лишь два. Хотя, как говорится, ещё не вечер, не такой уж я и старый.

И снова возвращается ко мне шум нашей улицы, скрипят повозки, люди плачут. Все выселяемые как-то покорно послушны. Мало кто переговаривается, ругается про себя, вполголоса. В основном молчат. Надо так надо!

Повозки тронулись. Женский плач всё сильнее, навзрыд с родным селом прощаются. Мужчины пытаются успокоить женщин. Кто-то кричит:

– Замолчите! Лучше пойте! Не показывайте этим чертям наши слёзы! Пусть никто не видит нашего горя!

И кто-то робко пробует запеть. Но ничего не получается: всхлипы всё заглушают...

Вот и мы по-быстрому свою бричку загрузили. Каждой семье разрешено везти с собой не больше одной тонны: провиант на дорогу, одежда, постельные принадлежности, кое-какой мелкий хозяйственный инвентарь. Скот, зерно, овощи, фрукты – всё это сдаётся государству. Я уже говорил, папе выдали на этот счёт соответствующую бумагу со всеми там цифрами. Ordnung! Но папа как-то кисло на эту бумагу смотрит.

Возчик у нас русский, из нашего кантонального центра Куккуса. Смотрит на нас с тоской и говорит невесело:

– Кто же нас теперь копчёным мясом и домашними колбасками кормить будет? А молочного как много всего было!

И правда. На рынок-то в Куккусе многие из нашего села продукты со своих хозяйств продавать привозили.

Ну, всё, уселись и поехали, в самом конце общей колонны. Она – длиннющая. Сотни повозок. Кто-то и пешком возле телег идёт. Как будто нашествие какое-то!

Отъехали от села. Плача уже не слышно. Люди молча тоскуют. Да и о чём тут говорить?!

А мне, стыдно сказать, всё это путешествие в неизвестность начинает понемногу нравиться. Благодать ведь кругом, бабье лето! И тёплый поволжский ветер со степи просто душу греет! Он весь напоён ароматами степных трав. Куда там даже самым пахучим домашним цветам! Ничего лучшего в жизни быть не может! Жёлтые листья золотым убором на придорожных деревьях, серебряные паутинки в воздухе висят. А солнышко до чего ласковое!

Тележные колёса мерно скрипят, чуть постукивают. Едем долго, с остановками.

Алька говорит вдруг:

– Ведь у нас в Республике 380 тысяч немцев. Неужели всех выселят? Папа лишь грустно головой качает:

– А в Советском Союзе нас, немцев, миллиона полтора.

Он как-то резко постарел, даже сгорбился немного. А ведь всегда такой прямой, молодцеватый был! За семью ужасно переживает.

Но вот очнулся от своих тяжёлых дум и говорит:

– А какое замечательное село было наш Варенбург! Я старые газеты смотрел. Из них следует, что его основали в 1767 году 149 семейств из Бранденбурга, Пруссии, Гольштейна, Дармштадта.

Тут и мама встрепенулась:

– И у нашего дедушки корни из Дармштадта!

А папа продолжает:

– Через полтора столетия к 1910 году в селе значились уже 784 двора, а в них 4167 «душ мужского пола» и 4173 – «женского»...

Память у папы фотографическая. У меня всё по-другому: «в одно ухо влетает, а из другого – вылетает». Вот и сейчас от папиного рассказа отвлёкся, а в нём, между прочим, немало интересного:

– К тому времени в колонии Варенбург имелись 11 ветряных и 2 паровые мельницы, две маслобойни, две школы. В 1905–1907 годах приглашённые мастера из Латвии и Германии возвели здесь лютеранскую церковь (кирху) – с органом. Храм – загляденье: белый-белый, с колоннами и колокольной. Внутри – великолепный алтарь, обитый мягкой красной материей, так же, как и удобные низкие скамейки перед ним. Во время церковных служб впереди сидели на этих скамьях пожилые люди. Отдельные места для молодёжи, а для девиц – даже особый балкон. Под куполом – три большие хрустальные люстры, они и украшали, и хорошо освещали всё внутреннее убранство. Зимой здесь топили три большие чугунные печи-голландки. Вокруг церкви огромный парк с красивой кирпичной оградой...

Тут опять мама перебивает:

– А в 1932 году кирху закрыли. И печи разломали, растащили на кирпичи. Теперь там зимой холодища, как на улице.

Папа внимания не обращает, сбить его с мысли невозможно:

– А недалеко от кирхи стояла «миллеровская школа». Её построил один из основателей колонии Генрих Миллер, выходец из Гессена. Потомки его потом по всей Волге гремели как крупные зерноторговцы. А село стало сухим и чистым благодаря особой системе каналов, они пересекали все улицы и спускались к реке. Сейчас-то эти каналы

уже частью запущены, заброшены. А тогда жители сами следили за ними и за переброшенными через них мостиками. Ну а в самом центре села располагалась ярмарочная площадь, вся покрытая ковром и с трибуной. Ходить по середине этой площади в будни строго запрещалось. Люди передвигались по прилегающим дорожкам, не срезая углов. Словом, всё очень аккуратно велось.

«Аккуратно» – это одно из любимых папиных словечек, и одобрение, и похвала. Ещё одно их таких словечек – «логично»...

Едем дальше. Долго едем... Вечер скоро. Все порядком подустали: и лошади, и люди. Перекусили немного. Но вот наконец и берег Волги. Здесь ночевать будем.

А народу тут уже – не протолкнуться, множество, из разных сёл. Ждём, покуда подадут баржи, на них загрузят нас всех и дальше повезут. Куда? Говорят, сначала на станцию железной дороги.

Смотрим, а начальники-то наши из кантона тоже тут, среди людей похаживают, что-то объясняют. Но они ведь тоже немцы. Их ведь тоже выселяют. А хотят, видно, и дальше начальниками оставаться.

Мы всё наше имущество с брички сгрузили, разложились кое-как и расположились у небольшого бугорка. Алька побежал дровишек каких-нибудь поискать для костерка. Вроде как всей семьей мы в походе...

Только людей вокруг очень уж много, больше тысячи, пожалуй. И все ходят кругами, разговоры заводят, знакомых встречают или заново знакомятся. А вот и наши соседи по селу неподалёку устроились, тоже пожитки раскладывают: Тео с родителями и всей роднёй от мала до велика, тётя Амалия с дядей Карлом и сыновьями Александром и Адольфом, дядя Филипп с дочерью Эммой и всеми её детьми. Ну и всякие разные свояки, сватовья, зятя, снохи, золовки, шурины, девери... Наша бабушка ворчит:

– Цыганский табор!

Развели мы костерок. Мама на нём что-то разогрела в котелке. Я всё это быстро умял и даже не понял, что там было такое. И обед, и ужин одним махом. А в голове моей, которая не устаёт вертеться по сторонам, одна и та же мысль стучится: «Куда же нас дальше-то повезут?».

Солнце над рекой между тем красиво так закатывается! Какая всё-таки она, Волга наша, огромная и спокойная! Вот это мощь! Мы все рядом с ней букашки, да и только! Ох, как мне жить на этой реке нравится! Слов нет! Вода, гладь, блики, шум волн... Не высказать всей этой красоты!

А люди поужинали кто чем мог у своих костерков, успокоились немного, принялись ко сну готовиться. И вдруг (вначале у одного костра, потом у другого) тихо так сперва старую немецкую песню завели:

Schön ist die Jugend!
 Sie kommt nicht mehr!
 Ja, ja, sie kommt nicht mehr,
 Sie kommt nimmermehr!..
 (Хороша юность!
 Она больше не придёт!
 Да, да, она больше не придёт,
 Не придёт никогда!..)

Мы, немцы, все эту песню знаем. И на праздниках семейных, и когда гости приходят, частенько её поём независимо от возраста.

И вот люди как будто от дурной дрёмы очнулись. Гладь речная огромна, и звучание песни летит над этой бесконечной гладью, словно молитва Богу. (Ой, что это я?! Бога же нету, так нам в школе говорили. А я – пионер, как никак, почти комсомолец. Стыд и срам! Ну да ладно, никто же не слышит!)

И подхватили песню у всех костров, так дружно и слаженно, будто заранее готовились к этому хору. Знать, что-то из душ у людей рвётся в этот тихий приволжский вечер, в это бескрайний степной простор.

Я даже не уловил, когда вместе со всеми запел. Но понял вдруг, что пою громко, изо всех сил. И как будто на крыльях поднялся и вместе с песней полетел куда-то ввысь, к мерцающим уже первым звёздочкам. Что-то из меня, из глубины души моей вырвалось тревожное, тяжёлое, и душа освободилась, зазвенела, как невидимая струна...

И ещё одна старая немецкая песня всем нам очень нравится. А мне – особенно:

Wer lebt wohl im deutschen Vaterland? – «Кому живётся хорошо в отечестве немецком?» Эту песню, наверное, тоже двести лет назад наши предки на Волгу с собой привезли. В ней поётся о восемнадцатилетнем парне, который отправился в морское путешествие. Но корабль его, к несчастью, потерпел крушение. Сам молодой моряк спасся, однако попал в плен к пиратам, и они продали его в рабство. Лишь через много-много лет, благодаря одному доброму земляку, который выкупил его из неволи, этот бедолага, будучи уже глубоким стариком, смог вернуться на родину.

Смотрю я на себя, как бы со стороны, и диву даюсь: я же петь-то никогда не умел и не любил. Так что же такое со мной вдруг произошло? И папа на миг словно помолодел, и мама как-то сразу расцвела. Бабушка с дедушкой очнулись и тоже поют, стараются. Весь наш временный лагерь будто бы на крыльях песни в воздух поднялся и плывёт куда-то ввысь – подальше от этой войны, выселения, страхов... Ничего чудеснее я, наверное, в жизни своей уже не увижу!

Одна песня кончается, и сразу же другую начинаем, и по-немецки, и по-русски, и кое-что из новых советских. И всё слаженно, стройно! Точно слились все в каком-то едином порыве!

Постоял-постоял этот песенный хрустально-воздушный дворец и унёсся куда-то дальше и выше. Устали петь люди, выдохнули и очнулись. Снова несчастные, одинокие, заброшенные на берегу огромной реки. Но всё равно, как-то отдохнули душой, сердцем окрепли, что ли. Теперь ко всему готовы. Улеглись прямо на землю у своих костерков. Благо есть что подстелить и чем укрыться. Да и тепло ещё, холода пока не пришли.

Словно медведь в сказочной берлоге, весь наш переселенческий табор поворочался, поворочался с боку на бок и заснул...

3. В дороге

Просыпаемся утром, а баржи уже стоят у причала. Когда их подогна-ли, мы и не слышали. Шум, ровный гомон людской над Волгой повис.

С утра был густой туман, но пока ели-пили, постели собирали, всё рассеялось. И солнышко ещё горячо греет.

Пришли люди с барж, показывают, куда нам идти, где размещаться, вещи складывать. Побрели мы все в трюмы, каждая семья в свой угол.

А народу – тьма. Да все взвинченные какие-то, обозлённые, как будто и не пели все вместе вчера.

Семья Тео возле нас располагается. И пространства для них явно мало-вато. Это наш кантональный начальник, Йозеф Шлюнд, их вещи в сторону сдвинул, а для своей семьи вдвое больше места в трюме отвёл. Командует людьми, а те ему подчиняются по привычке. Но тут подошёл к Йозефу дядя Карл и сквозь густые свои усы с напряжением так говорит ему:

– Убери свои чемоданы отсюда, освободи место для людей!

А тот же привык у себя в райкоме на глотку брать. Ну и по инерции заорал на дядю Карла:

– Ты что – порядка не понимаешь? Делай, как я приказываю!

Вот дядя Карл и послал его – на три буквы! Я даже изумился: мы же все – лютеране, и по матерному браниться для нас – грех большой. Только –*Donnerwetter!* («Проклятие!») или, в самом крайнем случае, – *Himmel Herrgott!* («Господи Боже Небесный!»): это – когда уж совсем припёрло, что называется. А тут дядя Карл этому чинуше всё, что на душе накипело, и высказал:

– Кончилось ваше время! Теперь вы нас эксплуатировать больше не будете! Другие нашлись, кому это поручено. А мы с этого дня с вами равны, все одинаково голые, как в бане!

Со Шлюнда весь его гонор слетел, тихо сдвинул в сторону чемоданы свои роскошные и присел рядом с женой в уголок. Папа одобрительно головой кивнул на этот поступок и «речь» дяди Карла, но ни слова не проронил.

Поплыли... В трюме духота ужасная, пыль, грязь, вонь, а наверх не пускают, говорят – баржа перегружена. Маета!.. Сидим, молчим. Или какие-то свои прежние домашние дела обсуждаем. Хотя чего их обсуждать-то? Старая жизнь умерла, а новая ещё не родилась.

День проплыли. Ночь наступила. Спать совершенно невозможно. Дети плачут, железо грохочет. Мысли какие-то шальные и безумные в голове скачут. К примеру: а что если прыгнуть с баржи в Волгу и к берегу плыть?! Мы же недалеко от берега идём! А я пловец неплохой, доберусь до него и на волю! Стоп! А семья?! Её ведь нельзя оставить! Что мама скажет? Как папа после этого на меня посмотрит? И потом «круговая порука» установлена: за мой побег всей семье (и в первую очередь – папе) отвечать придётся! Так что сиди и не дёргайся!

Слышно, как люди передают друг другу: за ночь трое младенцев умерли. Жили бы у себя дома, остались бы живы. А как это – умереть? И что, вообще меня не будет на этом белом свете?! Страшно!..

Старикам тоже худо. Наш дедушка уже и передвигается с трудом. Еле дождалась утра. Встали к причалу. Приказано выгружаться. Все побрели к железнодорожной станции. Она тут неподалёку, однако нам с папой и Алькой пришлось три ходки сделать, чтобы все наши вещи на перрон к поезду-товарняку перетащить.

Продовольствие велено в мешках и в отдельный прицепной вагон складывать. Ладно, отнесли туда два наших мешка с крупой и зерном, намалевали на них надписи покрупнее, по-немецки и по-русски.

Народ здесь уже не только из нашего, но также из других, самых разных кантонов. Многие русским языком плохо владеют, а некоторые вообще по-русски говорить не могут. Растерянные все какие-то, хмурые, неприветливые. Мужчины – небритые. Некоторые ведь, как и в семье Тео, до последнего надеялись, что Указ о высылке отменят. Оказалось, зря надеялись...

Подходят к нам местные русские жители, спрашивают:

– Ой, и за что вас этак-то? Куда увозят-то? И кто ж нам теперь немецкое маслице на рынок привозить будет?

А что мы можем ответить? Сами не знаем ничего.

И постоянно какие-то накладки, нестыковки, закавыки. Вот загрузили последний вагон мешками с продовольствием, а тут вдруг появляются железнодорожники и сообщают начальнику нашего эшелона:

– Этот вагон – больной. Мы его отцепляем и подошлём к вашему составу позже после починки.

Народ услышал, сбежался в кучу, зароптал. Глядь, а родимые наши бывшие начальники из разных кантонов (они все русский-то язык неплохо освоили) пошли на железнодорожников буром, начали кричать на них:

– Да кто дал вам такое право?! Да мы будем жаловаться! В Москву! Это саботаж! С места не сойдём, пока назад наш багажный вагон не прицепите!

Ну, столкнувшись с таким напором, железнодорожники видно струхнули, пошли на попятную:

– Ладно, успокойтесь! Сейчас всё сделаем, вагон починим, минутное дело, и поставим на место.

Папа так на этот эпизод отозвался:

– У тех, кто громче всех кричал, запасов в этом вагоне – раза в два больше нормы. Вот они и стараются. Ну что ж, молодцы! Заодно и наши интересы отстаивали.

Наконец, прицепили этот злосчастный вагон. Дали добро поездной бригаде. Паровоз коротко свистнул, и эшелон отправился в путь. Неизвестно куда...

Папа говорит, что вагоны, в которые нас втиснули, называются столыпинскими. А мне непонятно: Столыпин, что ли (бывший, кстати, одно время при царе саратовским губернатором), их строил? Папа лишь усмехнулся в ответ и добавил:

– Хорошо ещё, что вагон – четырёхосный и крытый.

А что уж тут хорошего-то, если в этот вагон человек 60 набилось от мала до велика. Детей много. И стариков. Сидим все, наохлились...

Дедушка наш всю дорогу в какой-то отключке. Редко в себя приходит. А бабушка ничего, держится. Больше всего во всей этой катавасии она о своей швейной машинке «Зингер» заботится. Радует, что машинка эта у нас ручная, а не ножная, иначе мы не потянули бы её, силы как-то быстро очень убывают в такой дороге.

Какое-то у всех наших попутчиков (да и у нас самих тоже) оцепенение, как у баранов, которых на убой везут, даже бляеть не хочется. В вагоне ни одного свободного пятачка нет. Скученность ужасная. Люди изо дня в день сидят, пьют, едят, спят тут же. Нужду в железные вёдра справляем. Запах от этих вёдер чудовищный. Ведь опорожнять их можно только на стоянках, и то не всегда...

Благо что у нас места наверху, на вторых вагонных нарах, как раз у вентиляционного люка. Отсюда, сверху, нам только одни головы видны: мужские, женские, детские. В основном белокурые, но есть (немного, правда) и тёмненькие, и рыженькие. Смешно, головы в такт ходу вагона раскачиваются, словно колосья под ветром на пшеничном поле...

Мужики махорку-самосад в самокрутках смолят, и от этого постоянно висят густые клубы табачного дыма. А по ночам то детский плач, то старческий кашель, и стоны больных, и глухие тоскливые разговоры или женские рыдания сдержанные...

На остановках нас навещает охранник. Он, похоже, один на несколько вагонов и почему-то всегда навеселе. Алька говорит: «Под мухой!» По слухам, тот хлеб, что выдают для нас охранникам, они пропивают, меняя на водку у спекулянтов. Правда ли, кто его знает? Наш-то надзиратель хоть не самый злой, терпимый...

На больших станциях бегаем за водой и кипятком: горяченького-то хочется. Если останавливаемся где-то в поле, люди вмиг у вагонов костерки разводят, воду кипятят.

А домашние запасы быстро подъедаются. В прицепном вагоне у нас остается ещё по мешку пшена и пшеницы. Но папа говорит:

– Это нам на новом месте пригодится.

Часто стоим, как папа говорит, «на запасных путях». Остановки, как правило, долгие. Около Челябинска больше двух суток стояли. Нет свободных путей, навстречу нам – бесконечные воинские эшелоны.

И люди всё терпят. Mein Gott!

– Народ-то у нас, – часто повторяет папа, – опытный и выносливый, рабоче-крестьянский. Этой силой бы да по-хозяйски распорядиться!

Чем дальше на восток, тем холоднее и голоднее. Особенно страдают и слабеют маленькие дети и старики. Говорят, в эшелоне – корь, вши. Ещё одна напасть, с неправильной дорожной пищи многие мучаются поносом. Нас эта беда, к счастью, миновала. Мама с папой строго следят за тем, чтобы мы ничего «непривычного» не ели.

Опять умерли двое младенцев. Унесли их на остановке куда-то, и всё. И расспрашивать боязно. Горе у людей куда-то глубоко внутрь ушло. Глаза блестят хмуро, не поймёшь, что там, за этими взглядами. Это как смотровая щель у танка...

Эх, вспомнил, на большую мозоль наступил! Нет, не возьмут меня теперь уже в танкисты! Никогда! А жаль! Вот у нас в селе даже лошадей летом забрали и велосипеды изъяли для нужд фронта. А парней взрослых в армию не брали. Они же комсомольцы, военкомат прямо штурмовали, просили их на фронт взять, чтоб фашистам перцу задать! Так нет, не призвали. А мы ведь патриоты-то самые верные! Грудью хотим Родину свою защищать! Подвиги совершать! Неужели этого в Москве не могут понять?!

4. Алтай. 30 сентября

Ехали мы, ехали... И приехали! Выгружают нас в Барнауле, это Алтай! Не совсем ещё Сибирь, но уже её начало. Большой наш табор со всего эшелона расположился на главной площади города, прямо под открытым небом.

Пока ещё тепло. Правда, дождик сеет иногда. Так я высунул язык и капли эти мелкие ловлю. Благодать! После вагона-телятника любая воля хороша! Тут, на площади, и заночевали. А поутру гляжу – кругом бело! Иней! Все вокруг вылезает из-под своего тряпья, охают, ахают.

Потом опять сидим.

– Ждём у моря погоды, – Алька говорит. А папа полагает, что местное начальство пока не сообразит, как с нами быть и куда нас девать.

Местные жители, похоже, нас опасаются, обходят стороной. Что уж такого страшного им про нас наговорили? Энкавэдэшники в военной форме с голубыми петлицами вокруг иногда похаживают.

Отошёл я в сторонку от нашего табора, надо же местность окружающую исследовать! Тут совсем ветхая старушка (в коричневом

шерстяном платке, как и у нашей бабушки) осторожно подходит ко мне и говорит:

– Милок, сними фуражку!

Я не понимаю.

– А зачем? – спрашиваю.

И она мне:

– А посмотреть, у тебя рога-то есть или нет? Сказали начальники, к нам немцев привезут. А они все страшные и с рогами!

Смех и грех! Но где-то в душе слёзы закипают и к глазам поднимаются.

Ну, обозлился я, конечно. Фуражку скинул, голову к старухе наклонил и говорю:

– Потрогай! Видишь – ничего нет?!

А она и впрямь своей худющей трясущейся рукой волосы мне взъерошила.

– Ой, и вправду, – шепелявит, – нет ничего! Опять начальники наврали!

И дальше пошла...

Ух, как меня это достало! До ярости! Что же это получается? Раз я немец, значит, уж и не человек вовсе?! И можно всех нас, немцев, и повсякому топтать и унижать?! Как же так?! Обидно до боли сердечной! Побежал я назад, к своим, рассказал обо всём маме с папой. А они молчат в ответ, только головами с грустью качают.

Ближе к обеду начали с разных окрестных мест какие-то подводки, повозки, телеги к площади стягиваться. В центре её – наши эшелонные и здешние начальники своими бумагами трясут. Потом последние вышли к подножию памятника героям Гражданской войны и давай кричать, как на базаре:

– Плотники есть? Ко мне подходите!

– Кузнец нужен и бухгалтер или счетовод!

– Возьму механизатора и агронома!

Ну, словно на невольничьем рынке где-нибудь в Древней Византии, как на уроках истории в школе рассказывали.

А вот старики да женщины с детьми, оказалось, никому и не нужны, их, наверное, куда-нибудь в самые бедные сёла распределят. Вот и нам такое небольшое село досталось. Из него целый обоз прислали, пять телег. Побросали мы на них все свои пожитки, и вперёд, к «новой жизни»! А вместе с нами ещё три семьи, всего человек двадцать пять.

Жалко, что Тео с нами не попал! Тут, видно, семьи ещё и по алфавиту распределяли. Но он же Тео Гаар, а я Клейн. Так что наши фамильные буквы далеко друг от друга оказались. А всё равно я своего друга Тео всегда буду помнить. Он замечательный парень, добрый, весёлый, не жадный. Сколько раз он мне на помощь приходил, когда надо было!

А в кармане у меня ещё и Мишкин ножичек. Очень удобный и в дороге не раз пригодился: и для еды что-то порезать, и для костра щепочек настрогать.

Плелись мы с колхозным обозом весь день. К вечеру все устали до изнеможения. Старший возчик решил:

– Заедем вон в тот лесок на холме! Там и переночуем!

Возражать никто не стал, да и сил уже не осталось. Хотя легко сказать «переночуем». Но это ведь Сибирь всё-таки. И на дворе октябрь почти. Правда, днём-то пока тепло, около 18°. А вот ночью холодновато будет.

Ну, подсобрали мы хвороста, развели большущий костёр, лапника нарубили. Доели остатки наших домашних припасов. Ничего уже и не осталось почти. Мама эти «остатки былой роскоши» аккуратно на всех поровну распределила. А в животе-то всё-таки посасывает. Хорошо ещё, что соседи с нами своей провизией поделились. Малость, но приятно, люди добрые ведь у нас...

Кое-как улеглись, прижались друг к другу, притихли. Костёр потрескивает, теплом от него веет. Но и холодок пробирает, сладко не поспишь...

Перед сном замечаю, какие здесь, на Алтае, деревья высокие, раскидистые, красивые! Ели, сосны, ещё какие-то. Я и названий их даже не знаю, у нас, на Волге, такие не растут.

Так вокруг костра и переночевали. Наутро встаём, хлебаем горячую водичку, закусываем её маленьким кусочком хлеба и снова в дорогу. Руки-ноги разогреваем, они с трудом передвигаются после ночи на сырой, холодной земле. А дедушка с бабушкой совсем идти не могут. Еле пристроили их на две разные телеги.

– Старики же, они не тяжёлые, почти невесомые! – убеждаем возниц. Убедили – слава богу!

Бредём дальше, долго бредём. Сил уже нет никаких. К вечеру, наконец-то, показалось предписанное нам село. Съехали с широкого тракта и вниз, к реке.

Место красивое. Всё село на одном берегу Катуня, будто червячок вдоль русла лежит. А на другом берегу – тайга. Могучая, сплошная, дикая. Ого-го! Это как в Амазонии, у Жюля Верна что-то такое я читал про дремучие, непроходимые леса...

Словом, приехали! Останавливаемся на площади возле колхозной конторы (правления и сельсовета), напротив здания бывшей церкви со сбитым крестом. Тут уже небольшая толпа собралась, в основном бабы, старики и мальчишки, последние с палками почему-то. Впереди – крепкий, нестарый ещё дядька, в справных сапогах и щегольской кожаной фуражке.

– Председатель колхоза, – нам возница полушёпотом сообщает, – Фёдор Иванович.

Встал этот Фёдор Иванович по-хозяйски, руки в боки, оценивающе оглядел нас всех и спрашивает:

– Кузнецы есть?

В ответ – молчание.

– Ясно! А плотники и механизаторы?

Тут дядя Эмиль голос подал: он любой трактор может собрать-разобрать – не то что на нём работать!

– Ну ладно! – подытожил свой короткий опрос Фёдор Иванович. – А теперь расходитесь по избам – кому куда назначено! Завтра с утра по-конкретнее разберёмся!

К нам подошла старушка в белом платке.

– Я, – говорит, – Ольга Васильевна. Пойдёмте со мной! Уж не обессудьте, коли что не так.

После этого знакомства как-то даже бодрее на душе стало. Мы с Алькой подхватили дедушку под руки с двух сторон и поплелись вслед за старушкой. Папа с мамой телегу сопровождают, чтобы имущество наше возле нового пристанища выгрузить.

А меня вечное моё любопытство и здесь распирает.

– Ольга Васильевна! – обращаюсь к нашей новой хозяйке. – А чего это мальчишки с палками-то в толпе стояли?

Она повернулась ко мне и как-то смущённо улыбнулась:

– Так нам же сказали, что к нам фашистов на постой привезут! Они все богатые, но страшные. Вот мальчишки и взяли палки – фашистов бить... А на поверку-то оказалось, такие же вы бедолаги, как и мы.

Мама ей про Поволжье давай рассказывать. Ольга Васильевна оживилась.

– У меня, – говорит, – дедушка откуда-то с Волги был. Давно сюда, на Алтай, перебрался – лет семьдесят назад.

Подъехали к избе: три окна на улицу, крыша мхом зеленеет, видно, что трухлявая, протекает наверняка. Ольга Васильевна снова перед нами как бы извиняется:

– Уж не обессудьте (похоже, это словечко у неё из самых любимых), в избу пустить не могу, у меня там невестка, Анна, с двумя детьми обретается, сын-то мой, муж ейный, – на фронте. Так что вам придётся здесь, в сених квартировать. Не переживайте, однако, тут не больно холодно, у нас печь-то русская и одной стороной в сени выходит, обогревать как-нито, а будет.

Ну что ж, сени так сени, выбирать не из чего, да и не на улице же. Принялись мы туда свой скарб перетаскивать. Вещей-то за дорогу порядком поубавилось. Папа с присущей ему аккуратностью всё раскладывает и, как бы наставляя нас, приговаривает:

– Готовьтесь здесь зимовать! А зимы в этих краях суровые, морозы и за сорок градусов бывают и подолгу. Не то что у нас на Волге: раз – и пролетела зима. А здесь она более полугода держится.

Алька поддакивает и даже пытается по-своему папины мысли развивать. Но он, папа, тоже ведь окончательно с толку сбит, как и все мы. Жизнь-то перевернулась разом и вверх тормашками. Будущее – полный мрак...

Бабушка с дедушкой спиной к тёплой печке пристроились и замерли. У них сил совсем не осталось. Да и у нас всех тоже. Подождём до утра, там видно будет, что и как...

5. Первая зимовка

Утром пришли к правлению колхоза. С нашими переговариваемся и по-русски, и по-немецки. Ждём начальство. Не спеша шествует Фёдор Иванович. За ним какой-то старичок с белой бородкой хромает. «Счетовод!» – кто-то шепнул.

Начали каждую семью отдельно к себе вызывать, на беседу. Переписывают всех в отдельную похозяйственную книгу, на работы назначают.

Вышла семья дяди Эмиля, за ними и мы заходим (без дедушки, его мы с собой не взяли, он передвигаться совсем не может). Записал нас счетовод в какой-то солидный гроссбух, но, по-моему, всё переврал. Папу превратил в «Андрея Николаевича», меня – в «Павла», Альбина – в «Альберта». Ну да ладно, мы не спорим, ведём себя смирно.

Спрашивает председатель папу о профессии.

– Нет, – говорит, – у нас в селе школы. В соседнее село дети ходят. Не нужны мне учителя!

Папа ему: мол, и туда на уроки ходить. А тут он, председатель, просто как с цепи сорвался:

– У меня хлеб в валках лежит неубранный в поле! Всех почти мужиков на войну забрали! Так что будете в поле работать, чтоб у Красной Армии хватило сил добить вас, фашистских гадов!

Алька даже передёрнулся от этих слов. А папа судорожно руку мою сжал, да так, что синяк, наверное, останется. Другой же рукой он Альке за локоть вцепился. Мама с бабушкой за нами стоят, и у них дыхание перехватило.

У председателя аж уши побагровели, ждёт, что мы ответим. А мы молчим, в руках себя держим. Да и что тут скажешь – палку соломой не перешибёшь! Председатель лишь рукой махнул, идите, мол! Вышли мы на улицу. Состояние на душе изжёванное какое-то, словно через мясорубку нас пропустили...

Показали нам бригадира нашего, и пошли мы за ним: в поле хлеба сырые и полупрелые подымать да в бывшую церковь их свозить. Там теперь устроили и зерносушилку, и склад одновременно.

Между делом расспросили наших, кто, где и как с жильём устроился? Оказалось, мы-то ещё чуть ли не лучше всех обосновались. У других-то ветхий заброшенный домишко и насквозь протекает; то в старую конюшню поместили (пустует, лошадей всех тоже мобилизовали, вместе с мужиками); то в крохотную баньку поселили (тепло, но места мало, даже спать негде). Кто-то вообще решил землянку копать на Береговой улице, ближе к Змеиному Логу, там места много свободного, можно и огород поднять.

Папа на это лишь рукой махнул:

– Что с нами завтра сотворят – неизвестно. Как же тут обустраиваться? Да и зачем?

Ну и стали мы жить такими вот «полуколхозниками». (Кстати, название колхоза здешнего – «Армия Ленина», а у нас, на Волге, было «Роте Фане» – «Красное Знамя».) Днями в поле или на ферме. Вечерами чистимся, греемся, какую-то еду готовим. Бабушка соседней хозяйке тёте Вале платёе на своём «Зингере» сшила, и той так оно понравилось, что она поднесла нам за это целое ведро картошки. И как нельзя кстати: продуктов-то у нас почти совсем нет. Работаем-работаем, а выдают на едока лишь граммов по 400 («фунт» – как счетовод говорит) муки в день. И это – всё. А ведь одной-то мукой сыт не будешь...

Так прошло несколько наших первых недель в Сибири. Обносились, оборвались мы ужасно. Да и силы на пределе. С мамой даже обморок случился от голода. Тут папа проведаль, что в правление начальник какой-то прибыл из района. И решил наш папа на отчаянный шаг, поговорить с этим начальником «по душам». Направился он к правлению, а я – за ним, в отдалении, чтоб он не заметил.

Зашёл папа в правление, а дверь за собой неплотно прикрыл, я всё и услышал. Папа сразу же быка за рога взял, терять-то ему нечего.

– Мы здесь, – говорит, – умираем с голода. Работаем целыми днями, а за работу практически ничего не получаем. Вы нас погрузили в вагоны, всё имущество и скот у нас отобрали. Сюда насильно привезли и ничего нам не дали. Ваши дети ходят в школу, а наши – на полях горбятя. Вам в магазине мыло и спички дают, а мы и этого не видим... Фёдор Иванович! Разве мы плохо работаем?

Председатель прокряхтел, что, мол, «неплохо». Видно – от неожиданности, народец-то ведь здесь тоже запуганный, робкий, беспрекословный.

Дальше что-то начальник забубнил неразборчиво, но спокойно. И папа уже не так громко и резко отвечал. Я быстренько смотал удочки и домой.

Самое интересное, что папе это его «выступление» обошлось без каких-либо неприятностей: как работал он в поле – так и дальше продолжал. Правда, выделили нашей семье козу. И зерна стали выдавать побольше (не только нам, всем немецким переселенцам). Бабушка с мамой изловчились его перемалывать на самодельной зернотёрке и кашу из этого суррогата крупы варить. А с козьим молоком эта каша – просто объеденье!

Выдали нам и небольшой возок соломы для козы. Но что-то не очень-то она такой корм жалуется, морду воротит. А ничего другого дать ей мы не можем. Беда...

Выпал снег. Вместо полевых работ стали гонять в тайгу на лесоповал. Но папа снова переговорил с председателем, и тот меня в школу в соседнее село направил. Да, а то ведь я уже два с лишним месяца учёбы пропустил, надо догонять! Ходу мне до школы часа полтора в одну сторону. Но всё равно – интересно!

6. Сельская школа

Иду в школу. Солнышко светит. Иней на таёжной хвое сверкает. Так красиво! Правда, тут совсем другая красота, не та, что у нас в степях. Но тоже дух захватывает!

Наблюдаю за рекой, размышляю. Катунь здесь быстрая, и голубая вода её тащит всё за собой, как хищный зверь. Говорят, если даже всего лишь по колено кто в неё зайдёт, больше на берег не выйдет, стремнина с ног собьёт и утопит. Но оба берега Катунь, и ближний, и дальний, низкие, и совсем она не похожа на ту реку, что пригрезилась мне недавно в очередном моём видении. Так что, значит, нас ещё дальше куда-то переселять будут? Непонятно! С другой стороны, может, я ту пригрезившуюся реку лет через двадцать только наяву увижу? Кто знает?! Ясности нет никакой. Вздыхаю...

И вдруг что-то меня ударяет сзади, под правую лопатку, да так больно! Бах!!! Я даже пошатнулся. Очень больно! Оборачиваюсь в недоумении и вижу: трое местных парней моего возраста, тоже в школу идут. У одного рука ещё не опущена после броска чем-то тяжёлым и острым мне в спину. И он кричит мне:

– Что – получил, фашист проклятый?!

Тут у меня в голове что-то щёлкнуло, просто замкнуло. Видно, все беды, напасти и унижения последних месяцев в душе рванули, как бомба. Сознание помутилось, чем-то красным всё передо мной подёрнулось... Ринулся я на этого парня с воплем:

– Сам ты фашист поганый!

И откуда только силы взялись? Руки движутся словно пропеллер, не остановить, и удары сыплются градом на обидчика – и в нос ему, и в плечи, и в живот! Он опешил от такого неожиданного напора и ничего поделать в свою защиту не может.

К счастью, и опять же внезапно, в голове моей стало проясняться. Двое других парней прихватили меня за руки, в сторонку оттащили. Начали меня успокаивать помаленьку, уговаривать:

– Да охольнь ты! Чего разошёлся-то? Мы же просто шутим, играем как бы! Мы же не знали, что ты бешеный такой!

– Хороши шуточки! – отвечаю. Гляжу, а у моего супротивника кровь из носа идёт. Он голову запрокинул, комок снега к носу приложил, а потом говорит мне (спокойно так, будто ничего и не случилось):

– Ты не сердись! Ты же новичок, вот мы и хотели проверить тебя на вшивость.

– Да ладно! – отвечаю. – Забыли! Только вы так больше не шутите!

– Да мы уж поняли, что ты обидчивый слишком. А как тебя зовут-то? Я подумал-подумал, но раз уж меня в правлении Павлом окрестили...

– Паша, – говорю.

– А меня Гришей звать...

Познакомились, в общем. И как-то всё тяжёлое, мутное разом схлынуло, и душа освободилась от обиды, и злости никакой не осталось.

Идём дальше, болтаем о том о сём. Я им про Волгу рассказываю, они мне про тайгу. Даже весело как-то всё получается. Друзья не друзья, но товарищи вполне нормальные. К примеру, они спрашивают:

– В селе говорили перед вашим приездом, что, мол, у вас всё другое. И пьёте вы не квас, а кофе, и вера у вас другая, и вообще совсем вы на нас не похожи. Так ли?

А я им – как на духу – поясняю:

– Да ерунда всё это. Ведь мы же все сейчас советские люди. Кофе днём с огнём не достанешь. А церкви наши лютеранские давно уж закрывали, как и ваши – православные.

Парни слушают с интересом, головами кивают, поддакивают...

Пришли в школу. Пацаны показали мне мой класс, а сами ушли в свой. А что, неплохие они ребята, в сущности, хотя и немного старше меня, уже в седьмом классе учатся.

Сел я за свободную парту, разложил свою котомку. «Да, – думаю, – школа-то небогатая, мягко говоря. А ребята обычные. Никто не навязывается особо, но и не задирает. Хотя наверняка Гришка про нашу стычку всем уже растрепал...»

И полетели школьные денёчки, как птички! Учиться стало трудно, не то что до войны. Бумаги совсем нет, пишем на старых книгах и газетах. Учебников не хватает, выдают по две-три штуки на класс. Да и желудки у нас постоянно песни поют, с едой-то – у всех дело швах...

Друзей у меня в школе так и не завелось. Как-то я всё особняком, словно белая ворона. Наши немецкие ребята из тех, кто учатся, по другим классам сидят, вместе никак мы с ними не попадаем.

А учителя неплохие. Нормальные. Примерно такие же, как и в старой варенбургской школе, не хуже и не лучше.

Единственное, что напрягает: нужно быть всё время настороже – как бы какое-нибудь немецкое словечко вдруг в речи не прорвалось (как у нас дома случается сплошь и рядом). А тут сразу остро так глянут, да ещё и «фрицем» могут обозвать, пусть и шёпотом. И ещё на переменах, когда с нашими немецкими земляками играем, стараемся на своём языке не говорить, особенно если посторонние рядом. Ну да ничего, дети ведь быстро чужой язык схватывают. Вот и я уже многие «чалдонские» словечки от местных одноклассников перенял и даже дома этим щеголяю. Папа морщится, а вот Алька хохочет и подтрунивает. Ему повезло, помощником счетовода в правление колхоза взяли, работает там теперь вместе с бородатым старичком, своим начальником.

Мария Васильевна, учительница русского языка, меня уже через месяц занятий похвалила за грамотность. Ну а что тут такого удивительного, я ведь и здесь много книжек по-русски читаю, в основном по вечерам. Бабушка ворчит:

– Керосина не напасёшься на вас, книгочеи! Да и глаза бы поберегли!

А слепой историк Михаил Иванович (он зрение на Финской войне потерял) недавно пригласил меня после уроков к себе домой в шахматы с ним сыграть. У нас в семье все мужчины в шахматы неплохо играют, а среди местных мало кто о них и слышал вообще. Пришли мы, значит, к Михаилу Ивановичу на квартиру. Жена его нам даже по чашке чая приготовила, сладкого! Я, знамо дело, поначалу стеснялся очень. А Михаил Иванович первым делом строго меня предупредил, чтобы я играл честно, в полную силу, и ему не поддавался. Ну, я и выиграл. Понятно, что ему приходится труднее, чем мне: ведь он доски и фигур не видит, да и вообще играет он заведомо слабее. Но всё же расстроился мой учитель заметно. Хотя и ненадолго. Думаю, что всё равно он остался доволен: ведь в школе-то (да и во всей округе, пожалуй) больше-то и не с кем ему «партеечку разыграть».

Бреду из школы домой. Снег уже глубокий, много навалило его за последние дни. Улыбаюсь про себя. Свежо, хорошо! Настоящая русская зима! И морозец стоит крепкий уже целую неделю...

На днях папа вновь приходил к директору нашей школы, просился на работу. И снова отказ: «Нет места!..» А на лесоповале папе очень плохо, труд для него там непривычный, невыносимый. И одежда на нём худая, и сил нет никаких, организм истощён до предела. Мужики из бригады колхозной его жалеют: сучкорубом назначили, с поваленных уже деревьев сучья обрубать. Работа как бы и не самая тяжёлая, но тоже не сахар. И всё равно сдал папа за последнее время сильно: нос заострился, дышит прерывисто, с хрипом...

Подхожу к нашему дому, вижу: мама, в слезах, а за ней – папа, и оба чуть ли не бегут куда-то по проулку. Лишь потом я понял, к правлению колхоза. Я стремглав в дом. В дверях чуть Алька не сшиб.

– Что случилось? – спрашиваю.

– Дедушка умер, – отвечает брат. И глаза прячет. Его ведь дедушка больше всех нас любил.

Конечно, мы давно уже этого ждали. Дедушка последнюю неделю вообще в сознание не приходил. Но ведь это же наш дедушка Мартин! И жалко его не сказать как!

Вспомнил я вдруг, как он мне по весне кораблики маленькие вырезал, чтобы их по ручьям пускать, как на своём станочке учил меня работать... Слёзы так и брызнули из моих глаз. Сижу и рассыпаюсь на части от нахлынувших рыданий. И бабушка Эмилия рядом со мной, руку свою на колено мне положила и тоже слёз сдержать не может. И не хочет. И ничего не говорит. Так и сидим, горюем вместе, рыдаем и молчим...

Вернулись папа с мамой: крайне возбуждённые, что-то говорят – оба и разом. Тут вышла к нам в сени Ольга Васильевна.

– Не бессудьте, – говорит, – но вы уж как-то побыстрее это дело, с покойным-то, управляйте! Сами понимаете – тянуть незачем!

И удалилась к себе – в избу.

Папа с мамой опять загалдели. О чём – понять не могу. Тут Алка вмешался, и я въехал, наконец: декабрь же на дворе, земля промёрзла, и могилу на кладбище нам своими силами не выдолбить ну никак.

И куда же тогда дедушку девать до тепла, до весны?! Сошлись на том, что сделаем для дедушки большой деревянный ящик и зароем его в снег, хорошенько, поглубже, на задах огорода. А весна придёт, земля оттаёт маленько, тогда и похороним уже по-людски. Иначе ничего не получается.

Вот и ходили папа с мамой к председателю колхоза доски для ящика просить. Но Фёдор Иванович досок не дал:

– Нету! – говорит.

(Опять непонятки: кругом тайга, колхоз лес заготавливает, а даже десятка досок у него нет. Как же это так?!) Вместо досок выделил нам председатель несколько фанерных ящиков из-под каких-то продуктов. И на том спасибо!

Алька быстренько сбегал в сельпо, притащил эти ящики. Кое-как они с папой сколотили из них гроб. Получилось невесомо, фанера всё-таки. Но в наших условиях ничего другого нам не остается.

Принарядили дедушку как могли, положили его в эту фанерную домовину. Бабушка собралась с духом и заупокойную молитву прочла по-немецки. Потом мы все вместе похоронный псалом спели по затрёпанной бабушкиной книжице (и как же она сохранилась-то во всех наших передрыгах?). Затем отнесли ящик к выбранному месту на огороде. Разгребли там снег до самой земли (это больше метра глубины), обернули «гроб» какой-то холстиной и прикопали его понадежнее, с бугорком...

Вернулись в дом. Сварила мама картошку в мундире, по две на каждого. Хозяйка капусты квашеной в тарелке принесла. Уселись рядышком дедушку помянуть. Тут бабушка сквозь слёзы начала рассказывать, какой чудесный гроб (Sarg) он себе лет пять назад смастерил: древесина красивая, с прожилками, ручки-ножки сам выточил на своём токарном станочке... Сидим, слушаем и тоже слёзы глотаем.

А папа порылся в закутке и достал зелёную бутылочку с резиновой пробкой. Налил из этой бутылочки по чуть-чуть в стаканы маме и Альке.

– Самогонка, – говорит. – К ноябрьскому празднику лесорубам колхоз выделил по четушке на брата.

Выпили они, и вижу я, что папа наш совсем надломился. Что-то в нём внутри ослабло. Вера, что ли, какая-то иссякла? Мы, все остальные, вроде приспособились, живём одним днём. Сутки прочь, и слава богу: Gott mit Uns! А папа (видно, от непосильного труда) отчаиваться начал. И хочется мне хоть как-то утешить его. Сажу рядом с ним и говорю ему тихонько:

– Не горюй, папочка! Я скоро вырасту, выучусь, буду хорошо зарабатывать и костюм тебе новый куплю! Старый-то совсем дырявый стал!

Тут папа заулыбался и на миг стал похож на себя прежнего, довоенного.

– Хорошо! – говорит. – Только на тебя вся и надежда!

Вот так и простились мы с дедушкой. Светлая ему память, очень добрый человек был. И ласковый. И руки имел золотые. Одно слово – Мастер!

7. Первые проводы

Зима! Мороз! И всё равно мне жить нравится: и когда морозец – солнце ясное, и когда дожди льют – на лицо капли падают, а я их слизываю

языком, и когда метель – ни зги не видно (хотя что такое эта «зга» – даже и не знаю). Какая же это радость – жить! Воздух иногда до того хорош, ну хоть ножом его режь да на хлеб намазывай!

А вот хлебца-то и нет, ни кусочка, ни сухарика. Голод. Постоянно есть хочется. Отощали все до крайности. На трудодни («на палочки», как местные говорят) выдают какие-то крохи и только раз в неделю четыре кило зерна сорного. Это на всю семью. Картошки своей у нас нет, приходится её на вещи выменивать, те, что ещё остались.

Мама, как всегда, в лучшее верит, часто повторяет:

– Какое счастье, что мы вместе – всей семьей – живём! И дай бог, чтобы так было как можно дольше!

Тут она крестится, голову склоняет, а в глазах слезинки появляются. Ну а папа режет правду-матку:

– Конечно, это хорошо, что вместе! Только живём-то как на пороховой бочке. Или того хуже – на вулкане. Что угодно и в любой момент может произойти. И лучшего ждать не приходится.

Алька добавляет:

– Да, село здешнее – небольшое, а похоронки в последнее время рекой хлынули. Кто-то убит, кто-то без вести пропал. Народ озлобляется, отчаивается. И на нас всё мрачнее смотрят. Мы для них как будто враги становимся.

Один лишь председатель колхоза к нам, немцам, вроде как и подошел малость. Мы же все («фрицы», как он говорит) трудолюбивые, дисциплинированные, душой за любую работу болеем и всё в срок стараемся исполнить. Дядя Эмиль, к примеру, всю колхозную технику отремонтировал и в дело запустил. Вот председатель и приговаривает:

– Эх, если бы мне ещё человек десять таких «фрицев» прислали! Да я бы тогда с ними все планы выполнил и перевыполнил!

* * *

Конец февраля, понедельник. Иду я из школы, по сторонам зеваю, на заснеженные деревья любуюсь, ворон по дороге спугиваю. Настроение хорошее: сегодня получил «пятёрку» по литературе и «четвёрку» по физике. Вспоминаю, о чём вчера вечером читал. В школьной библиотеке я уже все художественные книжки проглотил. Теперь пользуюсь тем, что Михаил Иванович даёт мне из своей домашней библиотеки, она у него хорошая, пожалуй, даже побогаче школьной будет.

Более всего я люблю книжки про путешествия. Как же это здорово, скажем, где-нибудь в Южной Америке с индейцами по Амазонке плыть! Или с Магелланом край света искать! Я, как его секретарь Пигафетта, всё бы увидел, занёс в дневник, а потом вернулся домой со славой и свою книжку написал!

«Ну, ладно, – думаю про себя на ходу, – стану в третьей четверти ударником – вот мне и слава! А что, очень даже может быть, все пропуски свои учебные я давно нагнал, а кое в чём даже и обошёл одноклассников».

Прихожу домой, гляжу: у бабушки в руках веник – разбила едва ли не последнюю нашу домашнюю чашку. Убирает осколки. Будем теперь пить только из алюминиевых кружек (а их у нас всего три). Расстроилась бабушка вся, конечно. Я пытаюсь успокоить её:

– Да не горной ты так, бабуль! Я летом работать пойду, и накупим мы этих чашек, прѳпасть сколько! Сколько надо, столько и купим!

А она погладила меня по голове и говорит:

– Работать ты и так пойдешь, и скоро. Повестки папе и Альбину из военкомата принесли.

Сердце у меня так и всколыхнулось. Вот и пришла она, самая страшная беда – разлука!

Забрался я в уголок наших сеней за дырявое деревянное корыто, переживаю, судорожно размышляю: «В армию-то, наверно, и хорошо, хоть с голоду там не пропадут! Только это какая-то другая армия, “трудо-вая”. Значит, не настоящая? Значит, только хуже им, папе и Альке, там будет? Скорее всего, так».

Вечером сидим за столом и молчим: ни говорить, ни плакать ни у кого уже сил нет. Безысходность, да и только. Но что тут поделаешь? Надо ведь как-то дальше жить!

Алька говорит:

– Кроме нас ещё пятерых немцев-мужчин призывают. От шестнадцати до пятидесяти пяти лет – призывной возраст.

Ему самому-то как раз шестнадцать исполнилось. Гордится, что взрослый уже. Он, Алька, конечно, очень умный, куда умнее меня. А вот чего-то самого простого, но крайне важного он иногда не понимает. Надо ведь не только головой соображать, но и сердцем жизнь чувствовать, как мама.

Собираем для наших «призывников» котомки. Как в военкоматской бумаге сказано: «сухари и постельное бельѳ»? А где же это бельѳ взять? У нас его, как и всего прочего, шаром покати – нету. Всѳ на продукты променяли и почти задарма. За бабушкин «Зингер», к примеру, всего-то два ведра картошки дали. За другое барахлишко и того меньше.

А на следующее утро снова солнышко, но морозец крепкий, февраль ведь ещё не миновал. Снег пушистый искрится на солнце. В книжках пишут – «словно серебро». Серебра я ни разу в жизни не видел и не представляю, что это такое. Но раз в книжках пишут, значит, так оно и есть.

Мама с бабушкой простились с папой и Алькой возле дома. Рыдания сдерживают, но слѳзы катятся неудержимо, одна за другой. Две кошевы (сани такие раскидистые) прислали за нашими немцами-«призывниками». И как только этот небольшой обоз тронулся с места, я вскочил на запятки полозьев той кошевы, где папа с Алькой пристроились. Папа ухватил меня за руку, губы у него шевелятся, а слов произнести не может, не может вытолкнуть их из горла. Я тоже держу крепко его руку – и молчу...

Минут через пять выехали на пригорок в конце села. Надо уходить мне. Соскочил я с полозьев. Тут папа поднял свою правую руку, словно остановить меня хотел или прикрыть от какой-то опасности и глухо, с большим трудом вымолвил: «Прощай, сынок!»

В груди у меня что-то оборвалось, ударило в голову: «А ведь я, наверное, больше не увижу его – никогда!» Что-то закричал во след удаляющемуся обозу. И Алька мне машет, кричит. Я не слышу что, могу улавливать только по его широко разинутым губам: «Береги маму с бабушкой! Ты у них теперь – единственный заступник!»

Скажет тоже! «Моряк – с печки бряк» – так наша хозяйка, Ольга Васильевна, внуку своему всегда говорит...

* * *

Иду в школу. А что делать-то? Надо свою линию в жизни дальше тянуть. Я сегодня дежурный по классу. Первый урок история. И нужно для Михаила Ивановича всё четко разместить, он же не видит ничего. Ну, вымыл я хорошенько тряпку для доски, мел красиво разложил. Но что-то муторно у меня и в груди, и в голове. Да и спал я сегодня плохо, переживал за папу и Альку – увидимся ли вновь когда-нибудь? Ох, скорей бы эта война кончилась!

Ребята в классе тоже все хмурые какие-то, заспанные. А Петька (парень из местных) тот вообще уселся за свою заднюю парту и в одну точку уставился.

Но вот и звонок к началу урока. Входит Михаил Иванович, осторожно ощупывает стул и стол, садится. Как всегда, спрашивает вначале:

– Кто сегодня дежурный?

И только я собрался встать и доложить по форме, как тот самый Петька с задней парты неестественно громко и каким-то пронзительным голосом кричит:

– Гитлер!

Меня будто под дых кто ударил, и опять в голове и в глазах помутилось. Рухнул я на парту и зарыдал, ну прямо как девчонка. И никак успокоиться не могу, слёзы ручьём льются. А в голове бьётся: «За что он меня так?! Что я ему сделал?! Разве все немцы – негодяи?! Да мы, русские немцы, самые главные патриоты в Советской стране! Мы горячее всех нашу Родину любим, а фашистов ненавидим!»

И не могу остановиться, всхлип за всхлипом, аж дыхание перехватывает. Еле-еле и кое-как минут через десять остановился, успокоился немного. Глаза опухли, не вижу ничего. Нос, чувствую, красный. В голове звон какой-то. Полная тоска и одиночество. Хорош, нечего сказать!

А в классе все молчат, что называется, гробовая тишина. И единственный слабый лучик надежды моей тоже пропал куда-то. Михаил Иванович невидящим взором своим скользит по верх наших голов. И я понимаю: он тоже совершенно беспомощен и не знает, что сказать. Наконец собрался он, видимо, с духом и с глубокой какой-то горечью, хрипло произнёс:

– Ребята! Я думаю, вы совершенно зря обижаете Клейна! Мне кажется, он и его земляки ни в чём неповинны. Пройдёт время – и правда возьмёт своё!

Так и просидели мы весь этот урок молча. А на перемене собираю я свои вещи, решил домой уйти, и тут мне сосед по парте, Вовка Коробейников, говорит:

– Паш, ты на Петьку-то сильно не обижайся, ему вчера на отца похоронка пришла. Вот его и колбасит.

Я молчу. У всех своя правда. Плохо только, когда ты оказываешься при ней крайним!

А на улице смотрю, председатель нашего сельсовета – Андрей Николаевич – идёт. (Сельсовет-то у нас один на несколько колхозов и находится там же, где школа.) Посмотрел Андрей Николаевич на меня, что-то понял, надо полагать, и решил, видимо, как-то ободрить или утешить:

– Не горюй, парень! Мы с тобой вдвоём ещё всех фашистов перебьём!

Сказал и дальше пошёл. Вот ведь как. Он, Андрей Николаевич, конечно, мужик добрый, не то, что Фёдор Иванович, наш председатель колхоза!

8. Моя «беспечальная» жизнь

Захожу домой, и бабушка мне тут же:

– Иди в правление – тебя Фёдор Иванович срочно вызывает!

Ну, я и пошёл, знамо дело. Иду, бреду, пустой головой заборы да плетни отираю...

А в правлении Фёдор Иванович мне с места в карьер:

– Тебе ведь, Паша, уже четырнадцать-то исполнилось?

– Да, – отвечаю, – две недели назад.

– Ну вот... Тут, понимаешь ли, дело такое, заболел мой счетовод. И Альберта (так он, председатель, нашего Альбина окрестил) в трудармию забрали. А у меня просто завал с бумагами: райком, исполком – все какие-то свои отчёты требуют. И надо, чтоб цифры в них были не какие попало, а правильные и нужные. Понимаешь?

Но я только глазами хлопаю.

– Одним словом, – продолжает Фёдор Иванович, уже заметно раздражаясь, – выходи-ка ты с завтрашнего дня на работу сюда, в правление, счетоводом, как?! А что, хоть подкормитесь с матерью и бабкой аж до самого лета!

– А школа как же? – спрашиваю.

– Ну что школа? Никуда она не денется. Пока оставишь, а потом нагонишь!

Хитрован он, Фёдор Иванович! Ясно же, свою выгоду и тут смекает.

А я? Что я? Да если б не утренняя обида, ни за что бы школу не бросил! И папа этого не допустил бы. Но ком-то в горле у меня до сих пор стоит, не уходит. На душе ссадина. На этом и подловил меня председатель. В общем, согласился я, будь что будет!

Мама потом сама сходила в правление, обговорила дополнительную норму выдачи зерна мне уже как полноправному колхознику, а не какому-то там иждивенцу.

* * *

Вот и сижу теперь целыми днями в конторе в душной комнатухе, подсчитываю цифирки всякие, бесконечные бумаги заполняю, отчёты по прошлогодним образцам и плановым нормативам строчу. Где-то и привру, где-то как-то и по-другому выкручусь. А если не уразумею, что и как писать, бегу к Василию Яковлевичу, старому счетоводу. Он по дому-то уже шарашится, но выходить на улицу ещё не может. И у него этих хитрых уловок пропасть бездонная: как всех начальников вокруг пальца обвести, лапшу им на уши навесить и при этом на бумаге все планы выполнить.

А тут и весна накатила: ледоход, травка первая на буграх зазеленела, в лужах вода тёплая. И с местными деревенскими парнями я поближе сошёлся, особенно с Гришкой. Друзья не друзья, а вроде как приятели, можно с ними и в лапту поиграть, и в городки переброситься.

Война-то грохочет будто и далеко где-то, но всё равно давит на всех и здесь и со страшной силой. Сводки с фронтов опять нерадостные. Зимой из-под Москвы надежду внушали на скорую победу, а вот теперь вновь стали какими-то страшными. Слежу по карте вслед за ними и ужасаюсь: ведь половина страны (в европейской-то части) под Гитлером! Как же так получилось?! Мы же – самые сильные, быстрые, меткие! Так ведь нам везде и всюду говорили?! А что те-

перь? В село несколько инвалидов вернулось, кто без рук, кто без ног. А всё равно родные их, особенно бабы, радёхоньки: похоронок-то намного больше приходит. Мужиков-то всех из села выгребли: как только исполнится парню восемнадцать, сразу в военкомат его – и прости-прощай!

Но и здесь, в глубоком тылу, особо-то не разгуляешься и не расслабишься, рассусоливать некогда. Голод не тётка: сосёт всё время, не отпуская. Только и разговоров, что и как раньше ели-пили, чего бы сейчас похлебал или откусил такого, предвоенного... Я вот тоже – совсем отощал: вырос, мослы торчат, а глаза ещё синее стали. Девчонкам, говорят, такие глаза нравятся, а я стесняюсь, по мне лучше всё-таки кареглазым быть.

Мама на ферме приработалась. Бабушка по хозяйству хлопочет: каши нам из зерна варит да муку на ручной зернотёрке мелет. И с хозяйкой, Ольгой Васильевной, как-то мы сжились. Тёплыми наши отношения не назовёшь, но в беде друг друга не оставляем. Помогаем и хозяйской снохе Анне: бабушка нередко с ребятишками её возится. Их двое – Коля и Валя, и они совсем маленькие: мальчугану – четыре года, девочке – шесть лет. Отцу их повезло, можно сказать: попал кузнецом в штабную армейскую автороту, так что он не на передовой. Авось, и выживет.

.....

А жизнь катится по своей колее. Конец мая, лето на носу. В колхозе хлопот полон рот: то пахота, то боронование, то сев. Вот я как учётчик и мотаюсь по колхозным полям с рассвета и до ночи.

Исход весны – самое голодное время. Запасы старого зерна давно кончились, а до нового урожая ой как далеко! Все люди худющие ходят, питаются подножным кормом – молодой травкой, крапивой. И нам пришлось козу дарёную прирезать ещё перед Новым годом, кормить-то её нечем стало. Но зиму и весну всё же как-то продержались.

Замечаю, что речь у меня стала как у всех местных селян: на «о» так же сильно напирваю и все их редкие слова повторяю, которые раньше и не слыхивал.

* * *

Один из последних майских дней. Прихожу ранним утречком в правление, там уже сидит Фёдор Иванович, а с ним и председатель нашего сельсовета Андрей Николаевич. В комнате – дым коромыслом, оба сигарками самодельными, козьими ножками, копят, клубят как два вулкана. От этого самосадного курева дышать нечем, у нормального человека глаза на лоб лезут, а здешним чалдонам хоть бы что.

Сидят они, смолят своё и молча на меня смотрят. Долго молчат. Я уже заёрзал: что-то неладное намечается. И тут Фёдор Иванович вкрадчиво так начинает:

– Вот, Паша, Андрей Николаевич разнарядку принёс на село наше: срочно надобно одного человека на лесозаготовки откомандировать. Не исполнить мы этого не можем, головы наши полетят. Война ведь, законы военного времени, сам понимаешь.

Понимать-то я понимаю, а на языке у меня вертится: «Так чего ж бы тебе, Фёдор Иванович, сына своего туда не послать? Ему же целых семнадцать лет. Здоровенный парень. А ты недавно в больницу его свозил.

По злым слухам, справочку там выкупил о язве желудка у сыночка, чтоб через год в армию не забрали его».

Но я молчу, себе же хуже будет... Правильно мама говорит: «Одна курочка от себя гребет, все остальные к себе». А еще слышал недавно – тоже больно понравилось: «У всякого плута свои расчеты!»

Тут и Андрей Николаевич ласково голос подаёт, из раздумий меня вытаскивает наружу:

– Сходи, Павлик! Ненадолго – на месяц всего! А мы тебе потом отпуск выпишем!

Ну что я могу поделывать?! Подсунули мне повесточку, заставили расписаться на ней и вперёд, на лесоповал, папе на замену!

* * *

На другой день я и ещё пятеро местных парней собрались с утречка у правления и не спеша попылили в тайгу, на деляну. До неё километров пятнадцать, так что шли почти полдня. Приходим на вырубку. Красотища кругом! Сосны стоят мачтовые, розовые, красивущие. Где-то высоко-высоко пышными верхушками своими радостно помахивают. Зелень на них свежая уже, не зимняя. Загляденье просто!

А зашли в жилой барак (их здесь четыре): временное сооружение – полусарай, полшалаш, полуземлянка. Ужас! Нары сплошные и в два этажа, спят все вповалку, не раздеваясь. Пол земляной. Мрак, грязища, всякая живность насекомая прямо на глазах ползает. На весь барак одна маленькая печка-буржуйка: ни согреться, ни обсушиться в непогоду.

Определили меня в бригаду. Как и папа, должен был я ветки с поваленных сосновых стволов обрубить (они потом хлыстами называются). Дело не самое сложное, топором давно научился только так махать. Главное не переусердствовать, по ноге не попасть ненароком.

И всё бы ничего, терпимо, если бы не кормёжка. Она здесь тощая и отвратительная. На обед и ужин выдают по чашке баланды какой-то, из репы или брюквы. Тошниловка! Про мясо и вспоминать нечего. Иногда лишь рыбки хвосты да кости в этом вареве попадают. Хлеба (сырого, непропечённого) 600 граммов на весь день. И более ничего. Хуже бы, да некуда...

На работе бригадир бдит, чтоб не филонили, не отлучались с делянки никуда без нужды. После работы надзор как над заключёнными: вокруг наших бараков забор из жердей соорудили, охранников назначили следить, чтоб не сбежал никто.

Ну, проработал я в лесу день, другой, неделю, чувствую: ноги мои тяжелеют, начинают сдавать при ходьбе, живот к позвоночнику прилипает, руки двигаются с трудом, одышка появляется. И понимаю, пропаду я здесь от работы, которая становится непосильной, от грязи, клопов и вшей, а скорее всего от постоянной и нестерпимой голодухи.

Стал соображать, как быть? что делать? Наконец решаю: бежать! Других вариантов нет, да и терять мне нечего. Понятно, что делать это надо в одиночку. Поэтому ни с кем на эту тему даже не заговариваю.

Пару дней примериваюсь, приглядываюсь. В одном месте под забором тайком (поздними вечерами) подкоп небольшой руками разгрёб, дёрном и мхом его замаскировал.

После ужина, когда все успокоились, задремали, потихоньку встаю со своего места на нарах (благо оно у меня внизу и сбоку), напихал вместо себя под покрывало всякого барахла (заранее приготовил), чтоб хоть издали на человеческую фигуру походило, выскальзываю из барака

будто по нужде. Огляделся. Охранник в противоположном углу забора стоит, курит, отвернулся. Я бегом на цыпочках к проходу. Освободил его от дёрна и мха, протискиваюсь за изгородь, проход вновь аккуратно заложил и айда в тайгу! Со всех ног! Слава богу, никто вроде не видел и не слышал! Теперь только вперёд!

А ноги-то еле идут. И бреду я черепашным ходом по таёжной окраине вдоль обочины разбитой лежнёвки (лесовозной дороги). По самой-то дороге нельзя, опасно, сразу заметят, если погоню пошлют.

А в ночной тайге страшно-то как! До дрожи! Волосы на загривке дыбом встают. Огромные деревья вокруг поскрипывают да постанывают, словно чудища заколдованные. Птицы какие-то в чаще ухают, то ли перекликаются, то ли предостерегают, то ли угрожают. А может, беду пророчат? Короче, шумов, треска, шелеста, гомона кругом – пропасть! На нервы это действует, да ещё с голодухи и со страху, просто оглушающее. Вот и у меня чувства все по-звериному обострились.

И вдруг я снова как бы провалился куда-то в другое время, словно в яму чёрную, бездонную. И чудится мне: стоит в пол-оборота девчонка молоденькая, но немножко и взрослая. Солнцем профиль освещён, волосы как белый речной песок. И на меня так ласково-ласково смотрит. И понимаю я: нет у меня в жизни ничего дороже, чем она! И не будет никогда! Как будто на сердце моём этот девичий профиль отпечатался!..

Но тут – бах! – и ушло видение. Как всегда, словно его и не бывало. Очнулся, стою как пень. Вот так всегда, после этих «видений» меня ступор какой-то настигает.

«Нет, парень, это ты брось! Вперёд и как можно дальше!» – сам себе приказываю. А сил-то нет совсем, сердце в груди зайчонком испуганным колотится, трепещет, бьётся лихорадочно. Но надо, надо уходить! На четвереньках, ползком, как угодно!

Длиннее ночи у меня в жизни не было... Утром уже подхожу к своему дому со стороны огорода, чтоб не увидел никто. Мама с бабушкой обнимают меня, целуют, плачут. А я одно твержу в полубреду:

– Я от голода из леса сбежал. Назад не пойду, помру я там. Спрячьте меня!

Ну, накормили они меня всем, что у них было, – и в подполье пристроили. Тюфячок мне туда подстелили, водички поставили.

Лежу я там весь день в тревожном забытьи. Бьёт меня какая-то лихоманка. И картины детства в распалённом мозгу мелькают: Волга... арбузы... папа с мамой весёлые и молодые, как до войны.

Потом, к вечеру, вроде оклемался маленько. Слышу, наверху мама с бабушкой ходят и переговариваются, мол, у Ольги Васильевны в избе ещё одно подполье есть, и если что можно туда Пауля перепрятать.

Тут раздаётся громкий стук в наружную дверь. У меня сразу сердце в пятки. Кто это там? За мной, небось, пришли?

Различаю по голосу – тихому, рокочущему: это Андрей Николаевич к нам явился. Вновь тревога: зачем? Не по мою ли душу?

Он, Андрей Николаевич, что-то спрашивает, мама тихо ему отвечает. Затем грохот отодвигаемого стула, тяжёлые мужские шаги. Это Андрей Николаевич подошёл к крышке подпола, распахнул её и громко так командует мне:

– Пашка, а ну вылезай давай сюда! И не бойсь, больше никуда отправлять тебя не будем!

Деваться некуда. Выбрался я наверх, тощий, бледный, кудлатый. Рыжеватые и густые волосы мои давно уже не укорачивали – под горшок,

здесь так всех парней обстригают, а поскольку бани в лесу патлы мои тоже не знали, то и превратились они в нечто чудовищно лохматое, ну леший, ни дать ни взять!

Посмотрел на меня Андрей Николаевич, покряхтел и говорит:

– Ты, Павлуша, не бойся ничего! Договорился я с районом, чтоб нам эту единицу из плана по лесозаготовкам сняли. К тому же у нас в селе сегодня парнишка один умер. Я его в список вместо тебя внёс, задним числом

Уф! Только тут отдышался я, и от души отлегло. Кому в тюрьму-то охота? А за побег с обязательного места работы не миновать бы мне её. Но, как бабушка говорит: «Бог миловал!» – Gott mit Uns!

Посидел Андрей Николаевич у нас ещё немного и ушёл. Спросил напоследок, что слышно от папы и Альки? А от них ни слуху ни духу, ни одного письма до сих пор нет...

Вытащили мы с мамой тюфячок из подполья. Отлегло! И тут стало мне совсем худо, чувствую, в беспамятство впадаю. Руки-ноги почему-то сразу отказали, болтаются как тряпки.

Ольга Васильевна вышла в сени, посмотрела на меня, поправила платок на седых своих волосах и говорит:

– Тащите-ка его к нам в избу, на печку! Его сейчас и долго потом лихоманка бить будет.

Кое-как мама с бабушкой затолкали меня на эту русскую печку – на полати. Вроде и невысоко – по лесенке-приступочке, а еле управилась.

И начал я умирать. Поначалу-то страсть как хорошо мне стало, будто освободился от тела своего, воспарил в воздухе, ликование переполняет! Смотрю сверху на «кожуру» свою, что на полке распласталась: жалкое зрелище – мощи! Вижу, мама внизу на приступке сидит, плачет. Что-то кольнуло меня в бок, туда, где раньше сердце было. С неохотой назад вернулся в тело своё беспомощное. Ощущаю жар страшный и жажду. Но всё это сквозь какой-то смертный сон: не забытьё, а обморок, длинный-предлинный.

Мама пытается напоить меня, но вода в рот почему-то не попадает, мимо льётся. Язык распух, бревно бревном, не повернуть им. Есть ничего не могу, даже вечную бабушкину кашу-затируху. Все чувства умерли, равнодушие полное ко всему и ко всем. Сквозь дрему слышу, фельдшерица сельская пришла. Лоб мой потрогала, огромный волдырь на шее пощупала зачем-то. Потом говорит (маме с бабушкой, видно):

– Надо бы парнишку вашего врачу показать. Но я пятнадцать лет тут работаю, и без него всё ясно. Парень ваш не жилец. Всенепременно померёт. Но тепло ведь ещё на воле-то. Так что в избе вы его, покойного, не оставляйте. Досок у председателя попросите, на гроб, не откажет поди. А похороните рядом с дедом.

Где-то в подсознании возникает:

– Откуда это она про деда узнала? Ведь мы с мамой сами тайком в апреле могилу выкопали, потихоньку, целую неделю копошились.

Ушла фельдшерица. А я продолжаю парить в своем предсмертном тумане, ни на что внимания не обращаю. Вдруг различаю голос Ольги Васильевны, обращённый, как понимаю, к маме:

– Дай-ка, Катерина, я научу тебя, что надо с Павлом-то делать. Он парень добрый, молодой, может, и выживет. Так вот, я буду тебе один стаканчик молока в день давать, неполный, правда, не обессудь, мне и внуков поить надо, они у меня тоже что-то зачихали. А ты молочко-то погрей, растопи и потом остуди, но чтоб оно тёплым оставалось.

Понимаешь, именно топлёное потребно молоко, не иначе. И травки я дам тебе, в молоко это её добавляй. Поить парня надобно через каждый час, помаленьку, с ложечки. Может, и отутобееет.

Мама отвечает:

– Так я же день-деньской на ферме. Не управлюсь с этим. А вот бабушка... Ольга Васильевна, миленькая, ты уж, бога ради, повтори ей это всё!

Хозяйка, надо понимать, не отказала, а уж про бабушку что там говорить!

А пока лежу я себе полёживаю, и такие славные картинки теснятся передо мной в воспалённом моём сознании: волжский берег, горячий речной песок, бахча с зелёно-золотистыми арбузами, наш семейный праздничный стол, где все смеются, песни поют...

Но тут чую, кто-то меня по щеке гладит, за руку теребит, просит «ротик открыть». Приоткрываю глаза – бабуленька! Нехотя, с трудом размыкаю губы, зубы. Затем капельки чего-то горячего, пахучего, ароматного в рот мне льются. И в какую то маленькую щелку в забитом наглухо горле – дальше скользят. Кашляю. Огорчаюсь, зачем меня от таких грёз-красот отрывают!

Опять всё тело начинает ныть болью, знобить, жаром полыхать. И вдруг мысль кольнула, а ты картинку-то вспомни из прежних своих видений! Ту самую: будто стоишь ты рядом с президентом, старым, лохматым. Глаза у него хитрые, татарские. И он тебе (тоже немолодому уже) папку какую-то протягивает и улыбается всем своим багровым лицом. И шутит. А вокруг все смеются и в ладоши хлопают... А умрёшь, так ведь и видение это не сбудется! И не узнаешь, что это за страна такая тебе пригрезилась, и какой это такой Президент.

У нас-то сейчас один Вождь, самый мудрый во всём мире. И после него будут ли другие-то вожди? Какие? Есть же сегодня вокруг него достойные люди помоложе? Может, кто-то из них на смену придёт? Непонятно. Устал я от этих мыслей и уснул.

Но ненадолго. Вновь бабушка меня теребит: «Пауль, дитяtko, открой ротик!» А я опять губы разомкнуть не могу, как будто склеились они и крепко-накрепко. Еле рот приоткрыл, на губах ошмётки кожи болтаются. А тёплое молочко капает помаленьку и уже вроде глотается легче. Жадно впитываю эти крохи и снова забываюсь.

И сплошной лентой пошли новые видения. Вот какой-то ящик с картинками передо мной на столике стоит и словно кино показывает. Иду я, будто бы, по незнакомой дороге, со мной (за руку) ребёнок, совсем крохотный. Продвигаемся мы с ним вдоль длинного синего забора, малыш устал, хнычет, и я говорю ему: «Подожди, Генрих, скоро уже и до нашей дачи дойдём! Попойди ещё ножками немного, у дедушки ручки болят!»

Потом резкая смена кадров: стою я в центре Берлина, у Рейхстага. Как на картинке в каком-то довоенном журнале, только здание разрушено сильно. А часть стены, словно за стеклом, и на ней – русские надписи. Как они там оказались, кто и зачем их начертал, ну совсем непонятно мне, аж до головной боли.

А потом виденья все, как водится, исчезли так же внезапно, как и появились. И провалился я в глубокий сон, как в бездонную яму. Голова вообще отключилась, а тело как бы вновь отделилось от меня, скукожилось, словно лопнувший воздушный шарик и стало дышать само по себе без малейших напрягов с моей стороны.

* * *

Пять дней провалился я так почти в полном беспамятстве. А когда очнулся, чувствую, что лучше мне, гораздо легче. Мама радуется:

– Организм-то молодой – вот и выдюжил, справился. Да и господь нас не оставил милостью своей!

Пришла фельдшерица и лишь головой покачала:

– Чудо! – говорит. – Впервые за всю мою жизнь такое чудо вижу!

Спустили меня с печи, уложили в сенях на тюфячок, укрыли потеплее. А через пару деньков начал я уже вставать самостоятельно, ходить понемногу. Слабость неимоверная, пройдусь маленько, и пот ручьём, как после тяжкой работы. Передохну, полежу и снова кovyляю, надо поскорее в себя приходиться, семье помогать, иначе – беда!

Посмотрел как-то на себя в зеркало, вижу на голове сбоку небольшая прядочка белых волос торчит. Откуда взялась? Может, мукой где-то запачкал? Так ведь у нас муки-то сейчас никакой нет и в помине! Ладно, поправлюсь окончательно, в баньке голову отмою, да и сам вымоюсь. Поскорее бы только на ноги крепко встать!

А на днях гляжу, бабушка Эмилия в углу на коленях стоит, молитву шепчет по-немецки: «Хвала тебе, Господи (Mein Lieber Gott), что спас дитя невинное от верной гибели!» И дальше – про «доброту Всевышнего», «милосердие – что выше любого подвига». Ну что ж, мне повезло, выжил! И думаю, не столько Божьей помощью, сколько любовью мамы с бабушкой.

А вот как же там папа-то с Алькой? Что с ними? Почему писем нет от них так долго, уже несколько месяцев?

Окончание следует

Поэзия

Евгений СТЕПАНОВ

Поэт, прозаик, литературный критик, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ.

Кандидат филологических наук. Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный зал». Автор нескольких книг стихов и прозы. Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», «Звезда», «Нева», «Урал», «Арион», «Юность», «Волга», «Интерпоэзия», «Дон», «День и Ночь» и во многих других изданиях.

Лауреат премий имени А. Дельвига и журнала «Нева». Живет в Москве.

СПАСИБО ЗА ЭТОТ ПРИВАЛ

Телевизор

Когда – точно «Лада» – буксует сердечко –
Беспечный смотрю сериал.
И радуюсь жизни – хоть жизнь быстротечна –
Спасибо за этот привал.

Спасибо за этот привал несерьезный.
А что в этом мире всерьез?
Спасибо за вечер больной, но бесслезный.
Довольно беспомощных слез.

Я знаю, что будет. Я помню, что было.
Я помнить об этом устал.
Но мне – дураку – как всегда, подфартило –
Лежу и смотрю сериал.

Четыре строчки о любви

Если говорить – то с тобой.
Если молчать – то с тобой.
Если жить – то с тобой.
Если не жить – то с тобой.

Времечко

Дожил дурак дураком до седин,
Нынче один – вроде анахорета.
А вместо водочки – валокордин,
А вместо девочки – муть интернета.

Вот ведь какая настала пора,
Вот ведь какая, скажи, незадача:
Если сумел дотянуть до утра,
Значит, тебе улыбнулась удача.

Четко работает почта небес,
Времечко давит на газ, на педали.
Вот и архангелы шлют sms.
Лучше бы все-таки не присылали.

* * *

Жизнь не театр – цирк-шапито.
О том веду и речь-то,
Из нечто двигаясь в ничто –
И вновь (надеюсь) – в нечто.

Уйти – прийти – не обойти
Ни кочки, ни оврага.
И плач не спрятать взаперти.
Жизнь не винишко – брага.

Смысл жизни

Смысл жизни в том, чтобы постепенно отдать все,
что у тебя есть.
Теперь я это точно знаю.

Галина ТАЛАНОВА

Родилась в Горьком. Окончила Горьковский госуниверситет по специальности «биофизика». Кандидат технических наук, работает в НПО «Диагностические системы», занимается разработкой и производством иммуноферментных тест-систем.

Автор семи книг стихов и четырёх прозы, публикаций в журналах «Нева», «Нижний Новгород», «Юность», «Роман-журнал XXI век», «Север», «Москва» и других. Лауреат премий «Болдинская осень» (2012), журнала «Север» (2012), премии им. М. Горького (Нижний Новгород, 2016), золотой дипломант VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2016).

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

Я ЗА НИТОЧКУ СВЕТА ДЕРЖУСЬ...

* * *

Такая большая вода,
 Как будто весной половодье.
 С горы поскакали года,
 Но держишь с упрямством поводья,
 Пытаясь в узде удержать...
 Такая вода... Как в апреле...
 Дед, бабушка, папа и мать
 В промокшей насквозь спят постели...
 Я в воду вхожу по траве,
 И пахнет жасмином, как в мае.
 И дождик стучит в голове.
 И снова те дни вспоминаю,
 Когда первый раз поплыла,
 Не чувствуя папины руки,
 Как лебедь, прижав два крыла, —
 Не зная о вечной разлуке,
 Не думая даже о том,
 Что нет больше дна под ногами,
 Ведь рядом махали веслом. —
 Спасательный круг — под руками:
 Корма из фанерки. —
 Держись!
 ...Я плаваю нынче бесстрашно...
 Ну, может закончится жизнь,
 Не так уже это и важно...

* * *

С горы опять летят лохмотья туч:
Сатиновое в пятнах одеяло.
Шиповник отцветающий колюч.
Я мир любить весь этот перестала.
Одна лишь грусть.
Печальные стихи
О доме опустевшем и осевшем.
И на реке от дождика круги,
Что в половодье нынешнем, не вешнем.
Я говорю себе:
Ну, не грусти.
Уйдёшь и ты,
Как сгнули родные.
Смотри, как распустились здесь цветы,
Хотя дожди – как слёзы затяжные.
Здесь каждый миг
Так ценен.
И уйдёт.
И никогда уже не повторится.
И бабочки над заводью полёт,
Где зацвела и в холода водица,
Так безмятежен! –
Села на листок, –
Нет, не кувшинки,
Тот, что брошен вязом, –
И поплыла,
Куда несёт поток,
Ведь жизнь одна
И оборвётся разом...

* * *

И шелест бумаги среди ночи
Взорвал ту кромешную тьму,
В которой мне всё одиноче
В ветшающем отчем дому.
Как будто бы мама живая –
Не ветер страницы листнул.
И призрак махнул – и растаял,
Лишь молнией мне подмигнул.
Зарница за речкой мелькнула –
И страшный послышался гром.
На спинке старинного стула
Одежды из тьмы выплыл ком.
И ливень обрушился в стёкла,
Настойчиво в дверь застучал.
И мокрые жалкие вётлы
Глаз в угольной тьме различал.
Стекала по веткам водица
Беззвучно, как дождь по плащу.
Всплывали любимые лица –
Я ртом приникала к ключу.

* * *

Показались кувшинок листы.
Входит в русло река.
Скоро осень.
И по пояс без листьев кусты.
А траву здесь давно уж не косят.
Заросли берега все травой.
И сажу среди ромашек и мяты.
Жизнь не будет, наверно, другой.
Облака проплывают из ваты...
Где вы там, дорогие мои,
Что ушли и не видите больше,
Как летают над лугом шмели
И как мне год от года всё горше?
Жизнь соседей, как речка, бежит.
Строят замки из белого камня.
Городской здесь внедряется быт
И железные ставятся ставни.
Ну а дом наш всё тот же стоит:
Вся в заплатках из шифера крыша,
Кособокий и жалкий на вид.
В нём гуляют по комнате мыши.
Я тебя, дом мой, крепче люблю –
И с верандой, покрытою толем.
Ты на сердце накинул петлю,
Я опять задыхаюсь от боли.

* * *

Я всё легче с тобой расстаюсь,
Обветшавшая старая дача.
Ночью в сад выходить не боюсь.
И уже об ушедших не плачу.
Не пугают шаги под окном
И треск веток, ломаемых с хрустом.
И луна анемичным пятном
Из-за дерева светится тускло.
Нынче яблоки даже горчат
И смородина вся в паутине.
А соседи пасут здесь внучат
И погрязли в семейной рутине.
Жизнь бурлит за забором,
Как шлейф,
Что оставил несущийся катер.
Прилепил дачный домик, как клей, –
Только высох и силу утратил.
Я за ниточку света держусь,
Но сквозь ночь пробирается холод.
Сердце сдавит ладошками грусть.
Муравейник напомнит мне город.

* * *

И Яблочный без яблок нынче Спас...
А колокольный звон стоял над речкой.
Тепла последний тратился запас.
И лето остывало, словно печка.
И утки забивались в камыши,
И пахло тиной, рыбой, шашлыками.
И плавали стремительно ужи.
И тину разгребала я руками.
Потом плыла под колокольный звон.
И ослепляло солнце напоследок.
И золотистый добавляло тон
В зелёный шелест тонких гибких веток,
Что вынырнули к осени из тьмы, —
Из той воды, большой, как в половодье.
Вода сошла у краешка зимы,
Когда мороз, кряхтя, возьмёт поводья.
И встанет лёд...
Он мог накрыть кусты
С поникшею зелёной головою.
Но показались из воды мосты.
И небо, как цикорий, голубое...
Конец у лета,
А зенит жары...
Лишь яблок нет...
Не пахнет кислым соком.
Любовь пришла —
И в жизнь впустила свет,
Но что-то перепутала со сроком —
Как самолёт блеснёт среди облаков
И улетит, оставив шлейф, как вьюга,
Что тает первым снегом на Покров.
...Без яблок проживём
И друг без друга.

* * *

Последний день,
Лицо ласкает бриз
И солнце раскалилось не на шутку.
Закончился недолгий мой круиз.
И море распустилось незабудкой.
И грусть опять — как всё в последний раз.
Швырнёт пригоршни листьев жёлтых осень.
И всё пойдёт как прежде без прикрас.
И на работу снова ровно в восемь.
И посеядоны шарики плывут,
Похожие на маленькое чудо.
И горло перекручивает жгут,
Что уезжаю навсегда отсюда.

Чужие горы.
Пальмы все в цвету,
Что наши листья жёлтые напомнят.
Я чую осень нашу за версту:
На скалах вижу рыжей глины комья.
Я вспомню стук её –
Замёрзший, неживой...
И об ушедших близких затоскую.
И захочу, как в юности, домой
И на песочке домик нарисую.
Нет, не рукой, а тросточкой зонта –
От солнца слишком жаркого защита.
И блекнет стран заморских красота.
И ничего у моря не забыто...

Даниил СИЗОВ

Родился в 1974 году в Тюмени. Выпускник исторического и филологического факультетов Тюменского госуниверситета.

Работал научным сотрудником краеведческого музея, учителем истории и английского языка в школе, администратором Дома культуры Стихи публиковались в коллективном сборнике «Очертания основ» (Екатеринбург), в альманахе «Перекрестки» (Москва), в журнале «Звезда» (С.-Петербург). В 2016 году вышел сборник «Буфет на полустанке».

Живет в Тюмени.

ВНЕ МОЛЧАНИЯ

* * *

На платанах заветно-памятных
Жилки листьев как письма –
Тверже древних табличек каменных,
Глубже моря, сильнее зерна.

Так вот схимник, в гробу ночующий,
Исполняет свой рок-н-ролл
Стуком сердца, даров взыскующий, –
Он хотя бы себя обрел.

А дары – все, что с ними связано –
Бог, катарсис, духовный плен –
Это будет потом рассказано –
Вне молчания этих стен.

* * *

Мальчик с факелом, вычерти карту!
Я запомню дорожки огня,
Я по ним сориентируюсь к старту
И пойму, где так ждали меня.

Круговерть этих пламенных линий –
Лучше компаса и не найти,
Как в каком-нибудь фильме Феллини –
Полный хаос – начало пути.

Будто росчерки у первоклашек,
Первых букв элементы письма
Шаг за шагом проявят пейзажик
И опишут подробно весьма.

Здесь и мне суждено оказаться
Через двести четырнадцать лет,
Будет так же все факел метаться
Вереницей сигнальных ракет.

Траектории их, словно гайки –
Те, которые сталкер бросал,
Добрести до заветной лужайки
С этой комнатой каждый мечтал.

Кто смеялся от счастья, кто плакал,
Но заходишь туда – и привет...
На стене только маленький факел
Освещает последний твой след.

Музыка

Там – укулеле звуки, там – жалейки,
Мы поливаем мир из этой лейки
В надежде – музыка и в яме прорастет,
Тугим плющом всю душу оплетет.

И вот готов гамак-батут-кроватька,
В котором так раскачиваться сладко,
А иногда – взлетишь под небеса! –
Потом – на землю! Божья ты роса,

Не испарись! Побудь еще немного! –
Пусть даль темна и слякотна дорога,
Тоскливых мелочей глухой реестр –
Ферматы паузы, пока звучит оркестр.

* * *

Набрякшие мысли о солнечном свете
Проступят, как слезы, как память о лете,
Пока здесь гоняешь тоску на ветру
И думаешь – эта зима не к добру.

Карнизы домов и балконные двери –
Остались одни после полной потери
Прохожих, деревьев и даже дымка
От листьев зажженных, от их костерка.

Вот так и стоишь, как свой собственный призрак-
Рассеянный свет чьей-то встроенной призмы,
Несметных фотонов мерцающий бег,
Который по-русски зовём «человек».

* * *

Тех чудных вывесок обрывки и осколки
Лежат на трансцендентной барахолке –
Ненужная космическая мгла
Когда-то моей азбукой была.

Я угнетен масштабностью потери,
Похоже, заколочены те двери,
Стучишься – только мертвый гул в ответ,
Как в доме Ашероу – из окон странный свет,

Зажженный кем? – Не ведаю, не знаю,
Но постепенно на фасаде различаю
То счастье, отчего чуть не ослеп:
«Больница», «Книги», «Кинотеатр», «Хлеб».

Павел КРУСАНОВ

Родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил педагогический институт им. А.И. Герцена (ЛГПИ) по специальности «география и биология». Работал осветителем в театре, садовником, техником звукозаписи, инженером по рекламе, печатником офсетной печати. С 1989 года начал работать в издательствах на редакторских должностях. В настоящее время – главный редактор «Лимбус Пресс».

Лауреат премии журнала «Октябрь» (1999), финалист премии «Национальный бестселлер» (2003, 2006, 2010) и премии «Большая книга» (2010). Живет в Санкт-Петербурге.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Однажды мы с приятелем зашли на Сенной рынок, чтобы извлечь оттуда судака, поскольку приятель, отъявленный удильщик, натягал из Невы ершей и плотвы, а финальной, серьёзной рыбыны для строительства ухи местные духи ему не послали. А в холодильнике уже заморожена бутылка хлебного... Закон суров: хорошая закуска должна сопутствовать славной выпивке, а венчать это дело должен душевный разговор. Словом, без судака никак.

Направляясь от рыбного прилавка с добычей к выходу, мы очутились у вещевых рядов и за стеклом одного из киосков увидели сделанную на картонке фломастером надпись: «Рука головы массажир». Под картонкой лежала закреплённая на деревянной ручке проволочная конструкция, назначение которой, постигнуть было непросто. Если б не упомянутая надпись, я бы решил – что-то из кухонного арсенала, скажем, особой формы венчик. Белок, омлет, кремы всякие взбивать... За стеклом, готовый к акту торговой сделки, улыбался восточного вида продавец. Мы его разочаровали.

Приятеля моего – рыбака по призванию, филолога по судьбе – глубоко задели слова на картонке, так что и в процессе приготовления ухи, и после, в процессе застолья, он не мог далеко отойти от темы русского языка и нависшей над ним угрозы. Угрозы, по мнению его оскорблённых чувств, многоликой, коварной, безжалостно-агрессивной. Сленг молодёжных субкультур, сетевой олбанский, ненужные заимствования, безграмотные кальки с английского, чудовищные рекламные слоганы, уродство рыночных ценников, вторгающаяся

в нашу жизнь речь гастарбайтеров... Приятель не скупился на хлесткую брань, мой слух коробившую, но... в конце концов с нами не было женщин, и ругался он вполне грамотно. В принципе, я разделял его печаль: язык – наш дом, родной свет его окон, он – наш сад, цветы его и плоды, аромат их. Но о каком языке мы говорим? Языке улицы? Языке газет? Языке чиновников со всеми их «вызовами времени» и «окнами возможностей»? Неловком, но игручем, как глупый щенок, языке постов и комментариев? Нет, решили мы, когда мы говорим о языке, мы говорим не об этом.

Да, сегодня мы, увы, живем уже не в лоне традиции, когда сын поёт с отцом одни песни, а дед им подпевает. Хотя некоторые ещё поют. Здесь есть печаль, но нет трагедии. И не вчера это началось. Пётр раскрашивал русский язык немецкими и голландскими румянами. Аристократические салоны рокотали бархатной романской фонетикой. Городские вывески конца XIX – начала XX веков пестрели латиницей. И что? Реформа орфографии слизнула некоторые нюансы на письме, но не иссушила суть. Новояз двадцатых годов прошлого века – ау, где ты? Молодёжный сленг сменяется, примерно, каждые пять лет, стирая предшественника практически без следа. Полуграмотные речи партийных бонз и тогда и теперь тешат наше природное чувство юмора. Базар по понятиям девяностых сегодня – лингвистический материал для речевых характеристик литературных и киноперсонажей. Да, нам трудно понять с первого предъявления Аввакума, но мы легко понимаем Ломоносова. Не первое столетие язык то обрастает чепухой, то сбрасывает с себя хлам, при этом теряя что-то и приобретая – но понемногу, не спеша. Просто язык наш всё ещё молод, он шалит, он растёт. Порой, бывает, заиграется, однако заумь футуристов – не повод для скорби.

А прежде? А теперь? Поморы и сибиряки говорят: сумёт, талинка, колышень. Скобари говорят: баркан, калевка, вшодчи. Легко ли им понять друг друга? Державу, как обруч бочку, удерживал и удерживает в едином целом русский литературный язык. Петербургский язык, потому что явился он из Петербурга в петербургский период русской истории. Теперь он общий. Так парижский язык сцементировал Францию времён Людовиков. Так берлинский немецкий выковал Германию. Об этом языке и речь – о языке русской литературы.

Чем этот язык отличается от языка улицы, пусть и петербургской? Да хотя бы тем, что язык многих писателей, купающихся в самой стихии русской речи, в её эйдосе, в её льющихся напрямик с небес струях, не существует в чистом виде за пределами их произведений. На нём не говорят нигде. И никогда не говорили. Таков язык Набокова и Платонова, Андрея Белого и Саши Соколова. И тем не менее этот язык читателю понятен.

Здесь тот же фокус, что и с правдой жизни. Литература существует по законам художественного, её территория – область символического. Правду жизни оставьте очерку и публицистике – для художественной литературы важна не правда, а *замысел о правде*. То есть важна правда художественная. А художественная правда от правды жизни отличается так же, как Государь от милостивого государя. В своё время Олеша говорил: когда читаю у нынешнего автора, что комсомолка Клава сработала за смену двести пар чулок, то отчего-то не верю, а когда читаю у Гофмана, что дверь без скрипа отворилась и в комнату вошёл дьявол, верю. Просто одно написано талантливо,

а другое – нет. И никакая правда жизни не сможет сделать мёртвое живым.

И язык улицы, как правда жизни, литературе не важен. Они вроде бы одной природы, но несовместимы, точно кровь разных групп с полярными резусами («Если я что-то не путаю», – добавил приятель). Язык улицы в доме литературы будет всё время фальшивить, задевать углы, бить посуду, фонить, как заводящийся микрофон в руках у неумелого шансонщика. Язык улицы будет дурно пульсировать в литературе, как воспаление, сочиться из неё, как гной из больного органа. Он, язык улицы, в литературе может прописаться лишь в качестве приёма, как инструмент выстраивания той же речевой характеристики. Рекламный плакат и олбанская мова схлынут с нашей жизни как с гуся вода, а литература, словно бел-горюч алатырь-камень, словно пуповинная скала, останется. Потому что по преимуществу именно она своею силой, своим художественным языком создаёт тот культурный миф, с которым мы все в России себя отождествляем, который позволяет нам чувствовать свою исключительность, свою неравность остальному миру. А без того не быть счастью. Потому что без собственного яркого и могучего культурного мифа мы сиры, ничтожны, никчёмны, а это ощущение – главная язва, глодающая счастье человека. Не объём купли-продажи, не производство и потребление, не валовый продукт и рост благосостояния – культурный миф народа делает его жизнь осмысленной и достойной, позволяет одолеть беду не через личную измену, а через общее сверхусилие. Позволяет противостоять экспансии чужого культурного мифа, издавна ведущего с твоим тихое соперничество и всегда готового взять тебя себе в услужение.

– Я ничего не имею против, – сказал мой приятель, – когда Григорий становится Борисом, а Евгений – Егором. Они просто морочат своих ангелов-хранителей и только. Но когда Алексей называет себя Алексом, а Николай – Ником, я чувствую, что ковчег моего спасения под названием Русская Культура даёт течь.

– Но ведь в этой течи виноваты мы. – Несмотря на замечание, в мою тарелку хлынула новая порция ухи. – Потому что это мы с тобой не смогли навести победительный образ, вызвать и удержать тот великий мираж, перед которым в немом восторге замер бы остальной мир. И Джон в своих детских играх называл бы себя Ваней, а Линда – Алёнкой.

Конечно, не обошлось без лукавства. Дело, само собой, не только в нас. Государство должно из года в год вкладываться в культуру, не ожидая коммерческих дивидендов, поскольку вклад в культуру – вклад в вечность, как всякое дело любви. Идёт состязание грёз, война соблазнов – ни горячая, ни холодная, ни на жизнь, ни на смерть – война на очарование. Быть зачарованным чужим культурным мифом в исторической перспективе – хуже смерти. Это добровольное рабство, рабство без принуждения. Когда чужой язык, чужая культура и чужой образ жизни начинают казаться более соблазнительными, чем твои собственные, – это и есть поглощение. Поэтому лидеры нации должны биться за русский язык столь же непреклонно, как бился за французский боевой генерал де Голль. Но об этом друг другу мы не сказали ни слова, потому что нам было неведомо малодушие, и свою вину мы не собирались уступать никому. И ни с кем делить её не собирались тоже.

Так мы допили бутылку, чувствуя, что наш разговор достоин нашей дружбы. И «рука головы массажир» на этот вечер выветрился из нашей

памяти. Картонка больше не страшила нас. Сходив за следующей, мы принялись решать вопрос, какую достойную цель можно придать человеческому существованию. Домостроительство? Подрубить столько денег, чтобы купить себе недолговечную и эфемерную благоустроенность? Но аскет, не имеющий страха перед миром, будет свободнее и счастливее тебя, сторожащего своё добро. Милосердие? Облегчение людских страданий? Но костлявая справляется с этим делом ловчее. Нестяжание...

И тут мой приятель заплакал – тихо, как сыр. Я спросил, имеют ли его медленные слёзы какое-то отношение к проблеме языка? К деструктивному влиянию культурно-речевой ситуации на массовое сознание? К нарастающему коммуникативному кризису, обусловленному размыванием традиционных культур? Или его печалит проблема цели? Принципиальная невербализуемость закона общего долга? «Небесный град Иерусалим горит сквозь холод и лёд...» – грустно сказал он в ответ.

Вот! Именно так! И я... я тоже чувствовал это.

ШАНС ВЫРАСТИТЬ КРЫЛЬЯ

Живущим в Петербурге известно, что в расхожем мнении – будто не важно, где ты родился и жил до того, как попал в силки СПб, поскольку настоящая жизнь души начинается именно здесь, – нет художественного преувеличения. Так, в сущности, всё и происходит. Но если попал, если влип, если вдруг ты этим городом *восхищен*, тогда включается особенный отсчёт – отсчёт ответственности за дела/слова, которую здешние духи/ангелы измеряют высшей мерой. Как после крещения. Для тех, кто не влип, кто отбракован, отсчёт не меняется. Возможно, к счастью. Таких город обычно исторгает, в библейском смысле изблёвывает из уст – бывает, с психическими и физическими травмами. Как в случае с одним известным культурным деятелем N, который при первой попытке покорения Северной столицы (за спиной уже остались выбросившие белый флаг Екатеринбург и Москва) поскользнулся на Галерной, сломал себе стыдную косточку, после чего и отбыл восвосяи, а со второй попытки – в пору чёрных петербургских дней (уравновешивающих белые ночи) – получил тяжёлое расстройство системы нервов и отбыл снова.

Марат Басыров, безусловно, влип и был восхищен.

К тому времени, когда мы познакомились, у него уже было кое-что написано и даже что-то издано. Однако сам автор издания эти не показывал – ни как курьёз, ни как повод для сдержанной гордости. Считал, должно быть, работу пробной, ученической. Зато «Печатную машину» (свою последнюю на тот момент рукопись) вручил с трепетом, который не подделать. И верно – её уже никак нельзя было назвать пробой пера, наоборот, это было потрясение, колебание разума и чувств – добрых шесть баллов по шкале Рихтера. Не катастрофа, мы люди бывалые, но потрянуло ощутимо. Такое, к счастью, в нашем художественном пространстве ещё случается довольно регулярно, что говорит о высоком напряжении творческих энергий под Русской равниной. На дворе стоял 2013 год, времена относительно свежие, и если встряску эту не многие заметили, то причина в том, что литература нынче вышла из фокуса всеобщего внимания, сделавшись достоянием практически сугубо цеховым. Но нам-то что до переменчивых ветров – тем, кто колдовским этим ремеслом по-прежнему живёт и дышит?

Впечатление от «Печатной машины», очень по структуре странного романа, вероятно, точнее всего можно было бы описать через опыт вхождения в ИСС (измененное состояние сознания) с помощью определенных психотропных средств. Но опыт наш в этом деле ничтожен, поэтому придётся идти путём последовательного нарратива.

Ощущение восторга от соприкосновения с неким эталоном подлинности, сладкую муку сопереживания и растерянную опустошённость

от того, что текст вытеснил из нашего чувствилища всё, что было там прежде, и целиком занял это место, – вот те переживания, которые накатывают во время и после знакомства с «Печатной машиной». Причём анализу эти чувства поддаются с трудом. В отношении эталона подлинности ещё куда ни шло: написан роман безупречно – язык выразительно скуп, точен, взвешен, композиция, составленная из небольших блоков, каждый из которых является законченной, вполне самостоятельной историей из жизни главного героя, вырастает в крепкую, прихотливо возведённую архитектуру, которая общей сумме этих историй придаёт дополнительный романский смысл, превышающий по силе художественного воздействия силу любого из блоков, взятого в отдельности. А вот с мукой сопереживания сложнее: внутри героя зияет такая дыра, что от свистящего в ней холода зябнут корни волос. И тем не менее этот на удивление бесчувственный к окружающим, но измученный, плачущий, осознающий собственное несовершенство герой тянется к свету, понимает, что он (свет), пусть в данный миг лично для него и недостижим, но он есть, и в нём – спасение.

Что ж, в каждой национальной литературе найдётся писатель, создавший яркий образ экзистенциального бунтаря, в котором олицетворено самосознание если не целого поколения, то значительной его части. Но мир, покинувший лоно традиции, устроен так, что дети не признают идеалов отцов, – каждое поколение заново ищет для себя героя, которому согласно позволить говорить от своего имени. И этим героем никогда не станет человек, застывший в позе мудрости, знающий сроки, ответы на главные вопросы и рецепты успеха. Нет, герой этот – мятущаяся личность, сплав демонических страстей и плачущей под их гнётом осквернённой души. Марат Басыров дал жизнь и голос этому герою – на тот момент герою поколения сорокалетних. Недавно ещё безрассудных, бунтующих, на ощупь познающих разницу между наваждением и озарением, теперь уставших, но не смирившихся и не простивших.

С изложенными здесь соображениями мы предложили эту рукопись в ненадолго возрождённый «Лениздат», и вскоре «Печатная машина» вышла в свет. А выйдя, тут же оказалась в финале литературной премии «Национальный бестселлер», что, безусловно, здорово – признание нужно живым, творящим, ищущим, ещё не пережившим свой талант, как змея переживает собственный яд.

Признаться, в ту пору у многих возникали сомнения: хватит ли Басырова на вторую столь же пронзительную книгу? Уж больно силён градус горения. Да и герой (в котором невольно видишь альтер эго автора) оставлен на такой рискованной черте, что ещё один шаг – и бездна. Впрочем, и без пресловутой бездны, которой пугают взрослых, как детей сереньким волчком, лучше об этом герое уже не скажешь. Если кому-то всё ещё непонятно, в чём существо сомнений, поясняем. Есть писатели, всю жизнь творящие одну большую книгу. Разрастающуюся, разветвляющуюся – но это всё равно одна и та же книга (таков Шаров, таков Лимонов). Если бы Басыров был именно таким писателем, после «Печатной машины» он бы замолчал. В противном случае нам бы довелось услышать дребезг фальши – ведь своего героя он уже предельно обнажил, и сказать о нём слова, равные по силе прежде сказанным, возможно, вряд ли. Но Марату хватило интуиции и таланта на то, чтобы оставить предыдущего героя, отодвинуть его в сторону и в многофигурный центр (такая разделяющаяся боеголовка) новой книги

поместить других людей, судьба которых автором, похоже, отчасти тоже списана с натуры.

В «Жезэл», своём следующем романе (в обоих случаях благодаря прихотливости композиции жанр определён условно), Басыров ни на волос не понизил планку – просто мастерски сместил акценты. Рассказчик (более спокойный, взвешенный и рассудительный, нежели в «Печатной машине») здесь словно бы уходит в тень, оставляя под софитами своих товарищей по отчаянной и, как каждому известно, не слишком чистоплотной юности. Идея на зависть проста. Возьмём, скажем, человека, просиявшего на известном поприще, достигшего успеха и признания в деле, которое мы считаем желанным предметом его усилий (допустим, знаменитого скрипичного мастера), – но в своей повседневности он на поверку, может статься, до оторопи не изобретателен, скуп на живые устремления и чувства и больше всего в жизни любит не своё дело, а утку, запечённую с трюфелями. Или наоборот – жизнь человека была необыкновенна, переменчива, трагична, полна ярости, громов и молний, а запомнился он потомкам по своему скучнейшему занятию – научному препарированию червей и изучению строения их пищевода. Нужно, конечно, и в чём-то тоже увлекательное дело, однако... Так вот, эти люди на том основании, что оставили по себе память за гробом, законно претендуют на томик с развёрнутой историей своих мытарств в жанре ЖЗЛ, что прочим не по чину. Но разве это справедливо? А как же те, кому не повезло, кто, может быть, просто не совпал со временем? Бывает же подобное несовпадение по фазе... Как же те, кто подавал надежды, бился в окружении соблазнов и не устоял? Неужто судьба их не достойна нашего внимания?

Обычно тут не спорят – не застолбил делянку в памяти потомков, стало быть, помалкивай и не сопи из гроба. Но не таков Басыров – он не пожелал предать забвению любезных его сердцу умников и мудошлёпов, тех, кто блистал как мог, но оказался пасынком в питомнике у привередливой судьбы. К тому же пасынком вполне ещё живым и, возможно даже, как та лягушка, угодившая в горшок, всё ещё сбивающим из молока спасительное масло...

Их пятеро – по числу глав книги: поэты, чьи заклятия не жгли сердце, несбывшиеся прозаики, отказывавшиеся признавать фиаско, неукротимые упрямы, месящие тугую глину (жизни) и при этом – любящие, предающие, отчаивающиеся, возвращающиеся, прощающие. (Боже, сколько шипения в таких человеческих суффиксах!) Жизнь этих замечательных неудачников ярка, нелепа и трагична. И рассказ о них полон горькой правды. Правды и милосердия.

Вот финал истории:

И вдруг я понял, кто мы есть на самом деле.

Я достал мобильник и поднёс к уху.

– Алло, – отозвался Сергеев сквозь гул набирающей ход электрички.

– Знаешь, кто ты? – сказал я.

– Кто?

– Ты ангел.

– Ангел?

– Да. Ангел без крыльев.

– Что?

– Но у тебя ещё есть шанс.

– Ладно, я тебя не понимаю. Плохая связь. Позвони мне потом.

Я отключился и убрал телефон.
На душе было беспокойно.
У меня ведь тоже он был.
Этот шанс вырастить крылья.

Марат Басыров свой шанс не упустил, вырастил крылья. И книга эта – ни в коем случае не досужий междусобойчик. И не личный горький мартиролог автора. Марату удалось на собственных крыльях вознести своих героев в небеса символического и сложить их в безупречно опознаваемое современниками созвездие – созвездие Блестящих Неудачников. Так что будущие хрононавигаторы, взявшись прокладывать маршруты своих странствий по времени, непременно станут полагаться на эти небесные точки как на вернейшие из всех координат. Что ж, зачастую невероятными бывают не только победы, но и поражения. И ещё неизвестно, какое из двух этих событий просияет в грядущем звездой.

И последнее. Марат родился в 1973 году в Уфе – так он сам говорил и писал в соцсетях. Сестра его утверждает, что он родился в августе 1966-го в городке Стерлитамак, что в бывшей Башкирской АССР. Кто кого водит за нос, в общем-то не важно. Ведь мы уже упоминали, что для тех, кто влип в петербургские силки, отсчёт начинается заново – и с этого момента их дела/слова меряются ответственностью высшей меры. В Петербурге Марат с начала 90-х. Учился в Техноложке, влюблялся, бедствовал, грешил, страдал, писал свои пронзительные книги. А 8 сентября 2016-го – быстро и неожиданно умер. Лёг в больницу на плановую операцию, и что-то пошло не так... Возможно, в определённом смысле это можно расценить как милость – умереть на творческом взлёте, не пережив собственный талант. Но оставим – не наше дело *эту волю* обсуждать. Книга «ЖеЗеЭЛ», выправленная Маратом и вычитанная, вышла через месяц после его смерти. Марат не пережил не только собственный талант, но и собственных героев, тревожную память о которых не согласился предать, хотя вряд ли они останутся ему за это благодарны. Таково свойство живых, если осмелишься коснуться их существа в попытке очистить от паразитарных наслоений и запустить в небеса символического.

Но Марату уже всё равно. Город его измерил и принял. Он – в небесном Петербурге, качается в его сетях, как в волшебных снах наяву, и продолжает спасать от забвения то, о чём успел поведать.

Александр РЯБОВ

Родился в 1988 году в Нижнем Новгороде. Окончил радиофизический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В настоящее время там же работает младшим научным сотрудником.

НАША ПАМЯТЬ

Всегда обидно, когда юбилей великого писателя отмечается недостаточно ярко или вообще проходит мимо общественного внимания. Например, автор этой статьи ожидал, что и 150-летний юбилей Чехова и 200-летний юбилей Лермонтова будут отмечаться значительно громче, чем это произошло в итоге. Да, любители русской литературы устраивали конференции и встречи, посвященные нашим гениям, а по телевидению и радио проходили интересные передачи, но все-таки «маловато будет». Помнится, к 200-летнему юбилею Пушкина в 1999 году готовились загодя и не проходило ни дня без строчки из творчества Александра Сергеевича. Конечно, «Пушкин – наше все», но ведь и не Пушкиным единым.

В 2017 году юбилей великих писателей опять же отмечались как-то скромно, едва заметно, и этому можно найти два оправдания. Во-первых, суперкруглые годовщины (кратные 50) были не столь ярки по именам, как в этом году. А во-вторых, даже имеющиеся юбилей (например, 150-летие К. Бальмонта) все равно были в тени самого главного в 2017 году – 100-летней годовщины Октябрьской революции. Шутка ли, мы не то что юбилей наших писателей проморгали, мы даже проморгали 50-летний юбилей Дэвида Гетты, одного из лучших диджеев современности, музыка которого знакова для студентов не одного поколения; не повезло французу родиться 7 ноября 1967 года. В общем, не только юбилей писателей и музыкантов, но и все круглые даты в прошедшем году, были намного менее обсуждаемыми в обществе, чем 100 лет Октября.

Но отгремел Октябрь, и теперь у нас с вами не будет никакого оправдания обходить вниманием юбилей наших писателей, и главные из них в 2018 году: 28 марта – 150 лет Максиму Горькому, 6 ноября – 200 лет Павлу Мельникову (о спорности годовщины ниже), 9 ноября – 200 лет Ивану Тургеневу, 11 декабря – 100 лет Александру Солженицыну. Парадокс в том, что политика нас не оставляет и здесь, потому что три из четырех главных литературных годовщины в этом году касаются

писателей, жизнь которых столь тесно соприкасалась с политической стороной жизни России, что об их творчестве говорят едва ли не реже, чем об их поведении, поступках и гражданских позициях.

28 марта 1868 года родился земляк нашего журнала Алексей Максимович Пешков. В 1892 году, подписывая рассказ «Макар Чудра», он взял себе псевдоним «М. Горький» и действительно, пройдя долгий и изнурительный путь сумел превратиться в ферзи (с перс. «визирь, советник») нашей литературы. Даже сложно сказать, чем он больше продвинул нашу литературу вперед: своим собственным разноплановым творчеством или тем, что защищал, опекал и содействовал своим коллегам по цеху в непростые годы нашей истории. Естественно, второе было невозможно без сделки со своей собственной совестью и, как некоторые скажут, с дьяволом, поэтому наиболее брезгливые не могут простить ему вынужденный конформизм, считая, что писатель переступил некую черту. Например, Солженицын охарактеризовал книгу «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», в которой Горький был соредактором, как «первую книгу в русской литературе, воспевающую рабский труд». Да, сложен и неоднозначен образ нижегородца. Товарищ Горький, город и человек, еще уникален как раз тем, что редкий партийный руководитель удостоивался переименования города в свою честь при жизни, не то что культурный деятель: в 1932 году Нижний Новгород был переименован в Горький за четыре года до смерти Алексея Максимовича. Несмотря на кажущуюся вполне банальной смерть, обусловленную простудой и плохими легкими писателя, со временем она обросла многими альтернативными версиями. Последние слова Горького – «А знаешь, я сейчас с Богом спорил. Ух, как спорил!» – являются словно бы веселым символом масштаба личности писателя, но тот факт, что урну с его прахом несли Сталин и Молотов, превращает этот символ в неоспоримую правду жизни. Юбилей писателей является отличным поводом заполнить пробелы в образовании. В конце концов, редкие из нас являются Дмитрием Быковым, прочитавшим все, поэтому нечего стесняться наличия непрочитанных книг. Вот и автор статьи думает, что настал момент осилить роман Максима Горького «Жизнь Клима Самгина», итоговое (писал последние 11 лет жизни) произведение писателя.

Второй круглой датой этого года является юбилей Павла Ивановича Мельникова, хотя по поводу этого, надеюсь, будет немало споров и исследований, ведь до сих пор есть разногласия, в каком году родился писатель: в 1818-м или 1819-м; многие уважаемые авторы и источники противоречат друг другу. Все же на данный момент более принятым является 1818 год рождения, и коль скоро именно этот год выгравирован на мемориальной доске на улице Ульянова, то остановимся на этом.

Итак, 6 ноября 1818 года родился нижегородский писатель Павел Иванович Мельников. Вероятно, жители других городов могут увидеть в этом некоторое лукавство со стороны нижегородского журнала – ставить юбилей Мельникова в один ряд с юбилеями Горького, Тургенева и Солженицына; все же многими он воспринимается как подзабытый писатель второго ряда. Как бы то ни было, отрицать значимость его произведений при раскрытии ряда тем жизни России было бы несправедливо. Биография нижегородца очень увлекательна, и стоит отметить, что писательский род деятельности ему не виделся собственным призванием. Его талант этнографа и историка не остался незамеченным, и он был принят на государственную службу, в коей он видел

возможность принести наибольшую пользу для отечества. Выражение «служить бы рад, прислуживаться тошно», как может сложиться впечатление, столь тяготило Мельникова, что он чересчур рьяно хотел исполнить поставленные перед ним задачи, будто хотел самому себе доказать, что служит, а не прислуживается. Большинство задач, которые ставились перед чиновником, касались темы старообрядцев: то изучить, то посчитать, то приструнить. И в этой борьбе видится главный конфликт жизни Павла Мельникова. Известность в качестве историка раскола он приобрел еще в молодом возрасте (20–22 года), и не только из-за усидчивости, но и благодаря «доступу к телу»: население его имения практически полностью состояло из старообрядцев; они были великолепными работниками, приносящими стабильный доход. Уже став чиновником, он как специалист по старообрядцам привлекался к решению соответствующих задач, и до поры до времени он ограничивался умеренными действиями.

Международное напряжение начала 1850-х, вылившиеся в итоге в Крымскую войну (1853–1856), ставило перед руководством Российской империи вопрос превентивной борьбы с возможными предателями. В 1846 году на территории Австрийской империи появилась православная старообрядческая церковь, и в определенный момент возник логичный вопрос о возможной связи между нашими раскольниками и австрийскими. Павлу Мельникову было поручено разобраться с этим, и он со свойственной ему ответственностью и исполнительностью столь увлекся решением задачи, что превратился в настоящего гонителя (хотя людям, знающим, что нам «подарил» XX век, все это покажется чепухой и детскими шалостями). По итогам проделанной работы в 1856 году Павел Иванович написал отчет; по просьбе своего начальника, министра внутренних дел С.С. Ланского, он рассказал все без прикрас – резким пером. Однако если реакция Александра II содержала благодарность за открытость, то от православного духовенства ему прилетело: «Было время, когда из Савла вышел Павел, а ныне из Павла вышел Савел» – обидная характеристика для человека, который думал, что работает на пользу Родине. После этого Мельников немного охладел к службе, и она стала сильно пересекаться с его литературными талантами.

Вообще, первый литературный дебют (1839–1840) состоялся рано, однако тогда писатель не видел это делом своей жизни. В 1849 году в Нижний Новгород приехал Владимир Иванович Даль, который и предложил Мельникову псевдоним Печерский по названию улицы, на которой тот жил. Второй приход в художественную литературу произошел в 1850 году, но служба вновь заставила оставить этот род занятий. Третий и последний приход состоялся в 1857 году, и постепенно писательская деятельность стала главным занятием для Мельникова. Начиная писателя с рассказов, постепенно дойдя до главных книг своей жизни: романов «В лесах» и «На горах». Забавно, что одной из главных тем его творчества было все то же старообрядчество, его быт, культура и традиции. Многие в мельниковском мире старообрядцев видят настоящую, исконную Россию, чарующую романтику и широту души. Другие же, напротив, считают, что писатель слишком приукрашивал быт раскольников, скрывая их проблемы. Если вторые правы, то тогда можно было бы предположить, что некоторая внутренняя цензура была продиктована угрызениями совести, но Лев Аннинский указывает на то, что это было несвойственно писателю. Если вы не читали «В лесах» и «На горах», то настоятельно рекомендую: произведения такого типа

исторически не входят в список рекомендуемых, поэтому, возможно, вы наткнетесь на что-то новое для себя.

Далее по списку идет самый главный юбилей для российской литературы в 2018 году – 200-летие Ивана Сергеевича Тургенева. Когда чуть выше говорилось, что три из четырех писателей, отмечающие суперкруглую дату в этом году, тесно связаны с политикой, имелось в виду, что Тургенев из этого ряда выбивается. Конечно, и ему порой приходилось сталкиваться с трудностями из-за своих гражданских убеждений, особенно из-за открытости своих взглядов и того, что едва ли не половину своей жизни он прожил за границей. Но как только Иван Сергеевич сталкивался с той или иной политической угрозой, он либо дистанцировался, либо каялся, либо за него заступались влиятельные товарищи. И не стоит упрекать Тургенева в гражданской трусости: просто он никогда и не хотел слишком активно лезть в политические вопросы, считая себя прежде всего писателем. В этом плане Тургенев и Мельников, чьи годы жизни и смерти совпадают – 1818–1883, – являются антиподами. Иван Сергеевич всю свою жизнь оттачивал мастерство и выдавал блестящие произведения непрерывно. Лишь обязательная сопричастность литературы с общественной жизнью и политикой приводила его к каким-то публичным проблемам, в противном случае его бы жизнь могла вполне пройти без штормов, также как и жизнь другого гения Ивана – Айвазовского, чей 200-летний юбилей мы отмечали в прошедшем году. Возможно утомившись от того, что тесное общение с дежурными по стране (Некрасовым, Герценом, Белинским, Добролюбовым и другими) приносило ему ненужные переживания, он все чаще стал искать отдохновения за границей, где нередко проходили знаменитые «обеда пяти» (Тургенев, Флобер, Золя, Доде и Гонкур). В наше время Тургенев у широкого населения оказался несколько в тени своих современников Достоевского и Толстого, словно проигрывая им в какой-то неведомой конкуренции, хотя в художественной технике Иван Сергеевич, бесспорно, превосходит Федора Михайловича и стоит вровень со Львом Николаевичем. Можно предположить, что нынешним людям проблематика произведений Тургенева кажется слишком привязанной ко времени его жизни, в отличие от современников-конкурентов, дух работ которых более вневременной. В этом есть изрядная доля правды, но ведь язык, великий русский язык, который позволяет нам с вами не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома, во многом был развит именно Тургеневым. По поводу рекомендации: странно рекомендовать что-то у Тургенева конкретное, не правда ли?

Последним суперкруглым юбилеем в этом году станет 100-летняя годовщина со дня рождения Александра Солженицына. Александр Исаевич – фигура фантастически противоречивая: его мысли, заявления, поступки могут вызывать противоположные взгляды не то что у разных сторон, людей, но даже внутри головы одного конкретного человека. Стоит отметить, что его общественная роль обсуждается несравненно чаще, чем его литературные достижения и черты. В отличие от Мельникова, Александр Исаевич большую часть своей жизни провел в жесткой оппозиции к власти, правда, в политику никогда не рвался. Его фигуру почти сразу стали использовать в качестве яркого символа: Нобелевская премия (1970) была ему вручена спустя всего восемь лет после первой публикации, и сам Солженицын прекрасно понимал политизированность решения о своем награждении. Через четыре года писатель был выслан из СССР, и западные поборники справедливости

в тот момент видели в нем своего союзника. Но здесь стоит отметить, что настоящий правозащитник будет не только выступать против зверств со стороны Муаммара Каддафи, но и против зверств по отношению к самому Муаммару Каддафи.

Оказавшись за рубежом, Александр Исаевич довольно быстро стал вступать в конфронтацию по отдельным темам как с западной прессой, так и с советскими эмигрантами. Подобное повторилось и после возвращения на Родину: вначале писатель оказывал поддержку либералам-реформаторам, за что получил от них щедрые подарки, но спустя несколько лет, не стесняясь, критиковал их подходы и результаты. К российской власти в XXI веке Солженицын относился сдержанно-положительно, но стоит добавить, что умер писатель за четыре дня до грузино-осетинского конфликта, из-за чего мы и не увидели очередного эпизода сериала «Солженицын против всех». Впрочем, может, писателя двигали не благие намерения или склонность характера, а расчет и поиск пиара; не это ли подозревал Варлам Шаламов в 1971 году, говоря: «Деятельность Солженицына – это деятельность дельца, направленная узко на личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности».

В общем, Александр Солженицын – человек неоднозначный на очень многих уровнях, и обсуждать его можно до бесконечности. Возможно, именно это превратило его в образ, отношение к которому будет индикатором общественных настроений, а в угоду тем или иным политическим целям этот образ будет использоваться в качестве разменной монеты. С художественной точки зрения наиболее убедителен Солженицын в своих рассказах, но автор статьи порекомендовал бы засучить рукава и прочитать «Архипелаг ГУЛАГ», но только параллельно с чтением включать голову.

Помимо перечисленных юбилеев хотелось бы отметить еще несколько «менее круглых» (кратных 25 или 10) годовщин: 275 лет Гавриилу Романовичу Державину (14 июля), 190 лет Николаю Гавриловичу Чернышевскому (24 июля) и Льву Николаевичу Толстому (9 сентября), 90 лет Чингизу Торекуловичу Айтматову (12 декабря), 80 лет Владимиру Семеновичу Высоцкому (25 января) и Венедикту Васильевичу Ерофееву (24 октября). Из иностранных писателей стоит отметить круглые даты Байрона (22 января – 230 лет), Жюль Верна (8 февраля – 190 лет) и Эриха Марии Ремарка (22 июня – 120 лет). Естественно, далеко не все юбилеи могут быть перечислены в этой короткой статье, поэтому кто-то несчастным образом мог быть обойден вниманием.

К 150-летию со дня рождения А.М. Горького (1868–1936)

Андрей РУМЯНЦЕВ

Родился в 1938 году в рыбацьем селе Шерашово на Байкале. Окончил Иркутский университет.

Автор многих поэтических и прозаических книг, в том числе биографических повествований о Валентине Распутине и Александре Вампилове, вышедших в серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия». Публиковался во Франции, Канаде, Болгарии, Эстонии и других странах.

Народный поэт Бурятии, член Высшего творческого совета Союза писателей России. Действительный член Петровской академии наук и искусств. Лауреат нескольких литературных премий.

Живёт в Москве.

«ПРОТИВИТЬСЯ ЗЛУ ЖИЗНИ...»

Когда-то Лев Николаевич Толстой сказал М. Горькому: «Вы хорошо рассказываете – своими словами, крепко, не книжно». Яснополянский мудрец, слушавший на своем веку десятки умных, талантливых, начитанных людей, цепко выделил в речи молодого писателя главное, характерное. Когда читаешь рассказы Горького конца девятнадцатого – начала двадцатого веков, то ощущаешь даже на фоне творений великих классиков не только свежесть языка и интонации. Иные пласты жизни, иные герои, иное дыхание времени – все необычно у автора повествований «Коновалов», «Супруги Орловы», «Трое», «Двадцать шесть и одна».

Это своеобразие художественного письма М. Горького резко бросается в глаза и при знакомстве с его драматургией. Уже первая пьеса писателя «Мещане» рядом с драмами и комедиями А. Островского, А. Сухово-Кобылина и А. Чехова открывается как особый материк, принадлежащий именно Горькому. Он увидел в жизни то, что не замечалось другими авторами, – из отмирающего и нарождающегося, из цепляющегося всеми силами за родную почву и нового, только всходящего из нее, из терпящего поражение и побеждающего в схватке за будущее.

О пьесах Горького, как и о его прозе, много спорили. О «Мещанах», например, толки были самые противоречивые. А. Чехов считал, что автор

«первый в России и вообще в свете заговорил с презрением и отвращением о мещанстве и заговорил именно как раз в то время, когда общество было подготовлено к протесту». Л. Андреев, наоборот, утверждал, что старик Бессеменов и его жена Акулина Ивановна – это представители давнего и уже отживающего мещанства; они, собственно, не новые герои нашей литературы и уже не опасные для будущей жизни. Опасней последыши, их дети Пётр и Татьяна. Что же касается того нового, что увидел в русском быте Горький, так это, по мнению Андреева, молодые люди, появившиеся в вековых недрах мещанства, и прежде всего Нил, машинист на железной дороге, воспитанник Бессеменова. «Пусть носители иного, свободного начала жизни еще не в силах победить мещанство, – писал Андреев, – они во всяком случае добились уже многого: они сумели отравить ему существование». Критик Н. Михайловский утверждал, что и Нил – герой вовсе не новый на сцене, и мещанство, как его представляет Горький, дано не отчетливо. О. Книппер, актриса Московского Художественного театра, где впервые была поставлена пьеса, в письме к Чехову высказала тот же взгляд на главного персонажа «Мещан»: Нил – «самый обыкновенный рабочий, каких тысячи на Западе», он если и стремится к свободе, «то к свободе в буржуазном смысле». Мы не приводим других мнений – от весьма субъективных до парадоксальных, вроде того, что мещанская семья Бессеменова – из тех же замоскворецких семей, что были выведены в пьесах Островского, а Нил – это «душой и стремлениями мещанин».

Сегодня, век спустя, пьеса Горького привлекает страстью, с которой отвергаются мещанский уклад, мещанское счастье, мещанская духовная затхлость; неукротимым порывом к иной жизни – распахнутой, освещающей душу, преображающей мир, где так не хватает света. Ведь это же почти чудо, что в нынешней России опять как некое откровение звучат слова Нила, так близкие нам:

Нет, Петруха, нет! Жить, – даже и не будучи влюбленным, – славное занятие! Ездить на скверных паровозах осенними ночами, под дождем и ветром... или зимою... в метель, когда вокруг тебя – нет пространства, всё на земле закрыто тьмой, завалено снегом, – утомительно ездить в такую пору, трудно... опасно, если хочешь! – и всё же в этом есть своя прелесть! Всё-таки есть! В одном не вижу ничего приятного, – в том, что мною и другими честными людьми командуют свиньи, дураки, воры... Но жизнь – не вся за ними! Они пройдут, исчезнут, как исчезают нарывы на здоровом теле. Нет такого расписания движения, которое бы не изменилось!..

Пётр. Не раз я слышал эти речи. Посмотрим, как тебе ответит жизнь на них!

Н и л. Я заставляю её ответить так, как захочу. Ты – не страшай меня! Я ближе и лучше тебя знаю, что жизнь – тяжела, что порою она омерзительно жестока, что разнузданная грубая сила жмёт и давит человека, я знаю это, – и это мне не нравится, возмущает меня! Я этого порядка – не хочу! Я знаю, что жизнь – дело серьезное, но неустроенное... что она потребует для своего устройства все силы и способности мои. Я знаю и то, что я – не богатырь, а просто – честный, здоровый человек, и всё-таки говорю: ничего! Наша возьмет! И я на все средства души моей удовлетворю моё желание вмешаться в самую гущу жизни... месить её и так и эдак... тому – помешать, этому – помочь... вот в чём радость жизни!

Кажется удивительным, как по-разному, с разных сторон смотрели на свою эпоху, на людей этой эпохи великие писатели, создавшие произведения в одни и те же годы. Чеховские «три сестры» в начале двадцатого

века мечтают вернуться из провинциального города в Москву, где, как им кажется, их ждёт настоящая жизнь; там они раскроют свои способности, будут полезны людям. И этих милых, честных, интеллигентных людей понимаешь: если здесь, в провинции, их ежедневная работа, благородные помыслы уходят в песок, то должны же в большом культурном городе найтись их единомышленники, соратники и должны же их совместные усилия изменить монотонную, серую, недостойную человека русскую жизнь? Чехов и сам был из числа таких деятелей. Странно было бы ему и его героям уповать на революцию, социальные потрясения в своём стремлении перестроить на разумных началах отечественное бытие.

Не таков Горький и его герои. Писатель из низов, Алексей Максимович увидел в окружающем мире других соотечественников, тоже недовольных средой, социальными порядками, всем устройством жизни в родных пенатах. Они – из рабочего люда. Эти решительней, нетерпеливей, безжалостней к рутине быта. Однако и их можно понять: они больше страдают от несправедливости, они придавленной, забитей, и если лучшие, талантливые из них воспрянули, подняли головы, обрели надежду и решимость изменить жизнь под родным кровом, то кто бросит в них камень? Такие, как Нил, заставляли бродить молодые умы. В разговоре с Татьяной, дочерью Бессеменова, Нил определил разницу между мещанскими отпрысками и детьми своего решительного сословия:

...Я жить люблю, люблю шум, работу, весёлых, простых людей! А вы разве живёте? Так как-то слоняетесь около жизни и по неизвестной причине стонете да жалуетесь... на кого, почему, для чего? Непонятно.

Т а т ь я н а. Ты не понимаешь?

Н и л. То-то нет! Когда человеку лежать на одном боку неудобно – он перевертывается на другой, а когда ему жить неудобно – он только жалуется... А ты сделай усилие – перевернись!

Разумеется, «перевернуть» жизнь трудней и болезненней, чем перевернуться человеку на другой бок. Но, читая упомянутую пьесу А. Чехова и «Мещан» М. Горького, современник писателей (если он тоже чувствовал ущербность жизни) мог подумать: а почему бы героям-интеллигентам одного автора не соединить усилия с героями-пролетариями другого, чтобы изменить Россию? Они бы пришли к согласию, потому что горьковские Нилы напоминали мастеровитого строителя нового дома, а чеховские «три сестры» – устроительниц разумного быта в нём.

* * *

Думаю, читатель заметит ту черту русской классики, которая привлекает и в пьесах Горького. Писатель внимателен к каждому герою, симпатичен персонаж или нет, он хочет понять его мысли, его отношение к жизни, мотивы его поведения. И в этом душевном, по-человечески родственном внимании есть особый нравственный смысл. Автор хочет, чтобы мы возмутились жестокостью героя, погоревали над его заблуждениями или ошибками, простили его невольные срывы, оценили добрые побуждения. О закоренелом, кондовом мещанине Василии Васильевиче Бессеменове и его верной, сердобольной супруге Акулине Ивановне осуждающе и зло говорят только воспитанник Нил, приживальщики Перчихин да Тетерев. Сам же автор дает возможность и главе семьи, и его жене высказать свою оценку прожитого, свою правду.

Бессеменов объясняется с детьми – сыном Петром, мечтающим восстановиться в университете, и дочерью Татьяной, учительницей, не видящей смысла в монотонной жизни:

Б е с с е м е н о в. Н-да... Учиться... Учись! Но ты не учишься... а фордыбачишь. Ты вот научился презрению ко всему живущему, а размера в действиях не приобрёл. Из университета тебя выгнали. Ты думаешь – неправильно? Ошибаешься. Студент есть ученик, а не... распорядитель в жизни. Ежели всякий парень в двадцать лет уставщиком порядков захочет быть... тогда всё должно прийти в замешательство... и деловому человеку на земле места не будет. Ты научись, будь мастером в твоём деле и тогда – рассуждай... А до той поры всякий на твои рассуждения имеет полное право сказать – цыц! Я говорю это тебе не со зла, а по душе... как ты есть мой сын, кровь моя, и всё такое. Нику я ничего не говорю... хоть много положил труда на него, хоть он и приёмыш мой... но все ж он – чужая кровь. И чем дальше – тем больше он мне чужой. Я вижу – будет он прохвостом... актёром будет или ещё чем-нибудь в таком духе... Может, даже социалистом будет... Ну – туда ему и дорога!

А к у л и н а И в а н о в н а (*выглядывая из двери, жалобным и робким голосом*). Отец! не пора ли обедать?

Б е с с е м е н о в (*строго*). Пошла ты! Не суйся, когда не надо... (*Акулина Ивановна скрывается за дверь. Татьяна укоризненно смотрит на отца, встает со стула и снова бродит по комнате.*) Видели? Мать ваша ни минуты покоя не знает, оберегая вас... всё боится, как бы я не обидел... Я не хочу никого обижать... Я сам обижен вами, горько обижен!.. В доме моём я хожу осторожно, ровно на полу везде битое стекло насыпано... Ко мне и гости, старые приятели, перестали ходить: у тебя, говорят, дети образованные, а мы – народ простой, ещё надсмеются они над нами! И вы не однажды смеялись над ними, а я со стыда горел за вас. Все приятели бросили меня, точно образованные дети – чума. А вы никакого внимания на отца своего не обращаете... никогда не поговорите с ним ласково, никогда не скажете – какими думами заняты, что делать будете? Я вам – как чужой... А ведь я – люблю вас!.. Люблю! Понимаете вы, что значит – любовь? Тебя вот выгнали – мне это больно. Татьяна зря в девках сохнет, мне это обидно... и даже конфузно пред людьми. Чем Татьяна хуже многих прочих, которые выходят замуж и... всё такое? Мне хочется видеть тебя, Пётр, человеком, а не студентом... Вон Филиппа Назарова сын – кончил учиться, женился, взял с приданым, две тыщи в год получает... в члены управы попадёт...

Т а т ь я н а. ...Отец!.. Когда вы говорите – я чувствую – вы правы! Да, вы правы, знаю! Поверьте, я... очень это чувствую! Но ваша правда – чужая нам... мне и ему... понимаете? У нас уже своя... вы не сердитесь, стойте! Две правды, папаша...

Б е с с е м е н о в (*вскакивая*). Врешь! Одна правда! Моя правда! Какая ваша правда? Где она? Покажи!

П ё т р. Отец, не кричи! Я тоже скажу... ну да! Ты прав... Но твоя правда узка нам... мы выросли из неё, как вырастают из платья. Нам тесно, нас давит это... То, чем ты жил, твой порядок жизни, он уже не годится для нас...

Б е с с е м е н о в. Ну, да! Вы... вы! Как же... вы образовались... а я дурак! А вы... Ты на моих глазах шашни с постоянной заводись... ты всегда надута... а я... а мы с матерью жмемся в углу...

А к у л и н а И в а н о в н а (*врываясь в комнату, жалобно кричит*). Голубчики! Да я ведь... родной ты мой! Разве я говорю что? Да я и в углу!.. и в углу, в хлеву! Только не ругайтесь вы! Не грызите друг друга... милые!

Б е с с е м е н о в (*одной рукой привлекая ее, а другой отталкивая*). Пошла прочь, старуха! Не нужна ты им. Оба мы не нужны! Они – умные!.. Мы – чужие для них...

Пётр (*бледный, с отчаянием*). Пойми, отец... ведь глупо это! Глупо! Вдруг, ни с того ни с сего...

Бессеменов. Вдруг? Врёшь! Не вдруг... годами нарывало у меня в сердце!..

Акулина Ивановна. Петя, уступи! Не спорь!.. Таня... пожалейте отца!

Бессеменов. Глупо? Дурак ты! Страшно... а не глупо! Вдруг... жили отец и дети... вдруг – две правды... Звери вы!

Татьяна. Пётр, уйди! Успокойся, отец... ну, прошу...

Бессеменов. Безжалостные! стеснили нас... Чем гордитесь? Что сделали? А мы – жили! Работали... строили дома... для вас... грешили... может быть, много грешили – для вас!

Это подлинная трагедия. Не та «проблема отцов и детей», которая в нашей критике второй половины XX века обрела какое-то мелко-травчатое содержание. Это трагедия, рожденная поступательным движением самой жизни, трагедия вечная, непреходящая, когда духовные и житейские ценности одного поколения меньше привлекают другое, следующее за ним, когда обновляется не только быт, но и, кажется, сама душа человека, его чаяния и устремления.

Сам Горький в пояснении к пьесе «Мещане» писал о Бессеменове: «Жил черт знает сколько времени, работал не покладая рук, мошенничал... и – вдруг видит, что все это зря!.. Не для кого... И жизнь начинает его страшить своим смыслом, которого он не понимает...»

Эта краткая запись, пожалуй, не исчерпывает всей характеристики героя. Здесь, по-моему, тот случай, когда читатель и зритель могут сказать больше, чем пунктирно наметил автор в своем комментарии. В пьесе Бессеменов богаче, полнокровней, чем очерчен в авторском пояснении: «работал не покладая рук да мошенничал...» Возможно, что мошенничал, хотя ни сам он, ни окружающие ни разу об этом не упоминали. Зато доподлинно известно, что старик вырастил чужого мальчика Нила, кормил со своего стола нахлебников Тетерева и Шишкина, пригрел дальнего родственника Перчихина и его дочь Полю. При всей грубости и домашнем деспотизме Бессеменова он сделал людям немало доброго. Не надо забывать и того, что из таких мещанских семей в России сплошь да рядом выходили достойные и даже великие сыны отечества – духовно здоровые и благодарные Василиям Васильевичам.

Мы не притупляем остроту горьковской пьесы, мы обращаем внимание на глубину и сложность жизни, которую обнажил писатель.

Свежесть взгляда, ошеломляющая новизна материала, взятого для художественного осмысления, ждут нас и в следующей пьесе М. Горького – «На дне». Автор решился на редкое в литературе дело – посвятить сценическое произведение обитателям «дна», убогой ночлежки в безымянном городе. На подмостки театра вышли люди опустившиеся, отвергнутые жизнью, совершенно не интересные по мнению обывателя. Но под пером драматурга оказалось, что это – россыпь оригинальных характеров, поучительных и важных для постижения человеческой души судеб. Философ из народа, битый жизнью Сатин, умный, наблюдательный Барон, физически и нравственно сильный Васька Пепел, грубый, исхлестанный судьбой, мрачный Андрей Клец, униженная, уставшая от тяжкого существования Анна, бесподобный странник, всех утешающий Лука, светлая, добрая девушка Наташа, опустившаяся и живущая миражами Настя, возвышенная душа, мечтатель Актёр – какое разнообразие лиц и характеров, живых, запоминающихся, имеющих каждый свою изюминку!

Найденная писателем сюжетная канва – свести в одном страшном общежитии более десятка выпавших из нормальной жизни людей, прибавить к ним повелителей их судеб – семью содержателя ночлежки и полицейского – позволила показать не только гибельную дорогу русских людей в черную пропасть жизни, но и их не умершие способности; представить во всем богатстве, в удивительной несхожести человеческие мечты, нравственные постулаты, выстраданные оценки добра и зла.

Поднять глыбу людского горя честному летописцу всегда трудно. Вероятно, поэтому Горький обронил в одном из писем: «Очень тяжелая пьеса». Приступая к её созданию, автор сознавал, какие душевные силы потребует новое сочинение: «Татарин, еврей, актёр, хозяйка ночлежного дома, воры, сыщик, проститутки. Это будет страшно. У меня уже готовы планы, я вижу – лица, фигуры, слышу голоса, речи; мотивы действий – ясны, всё ясно!»

Пьеса произвела сильное впечатление на современников. Леонид Андреев, откликнувшийся, как мы помним, на «Мещан», не замедлил высказать свое мнение и о новой пьесе Горького: «Он нагромоздил гору жесточайших страданий, бросил в одну кучу десятки разнохарактерных лиц – и всё объединил жгучим стремлением к правде и справедливости... драма его лежит на широчайших социальных основах».

Можно и теперь, в иные времена, разделить восторг художника Михаила Нестерова, посмотревшего пьесу на сцене Московского Художественного театра. «Тут, брат, показана такая картина, – писал он, – такие образы и типы – такая сила и яркость изображения! Великолепный замысел Горького так дерзко-дерзновенно воплощен артистами, что дух захватывает... Театр становится уже не театр, а жизнь, где нет актеров, а есть люди – худые и хорошие, но уже не актеры».

Потрясение выражено просто и точно: «На дне» – это не театр, а сама жизнь в её дышащей плоти.

Еще недавно герои пьесы занимались каждый своим ремеслом. Актёр играл в театре; в греющих его душу рассказах он всё вспоминает последнюю роль – могильщика из «Гамлета» Шекспира. Слесарь Андрей Клещ даже в ночлежку перенес свой вчерашний рабочий инструмент: тиски, молоток, подпилки, маленькую наковальню. По привычке он еще ремонтирует собранные где-то замки, самовары, другой металлический хлам, но едва ли всё это кому-то пригодится. Торговка пельменями по прозвищу Квашня тоже не оставляет прежнего занятия; кажется, она единственная в ночлежке, кто зарабатывает жалкие копейки. Бубнов – мастер шить картузы, Кривой Зоб и Татарин, которого приятели называют князем, – крючники, все трое помнят своё ремесло, но отошли от него навсегда. Пожалуй, лишь Барон и Сатин, люди, считающие себя образованными, не приучены к делу, которое бы их кормило. Попав в житейские передраги, они оказались годны только на то, чтобы скрашивать красивыми словами нищую пьяную жизнь да лелеять несбыточные мечты. Есть еще вор Васьяк Пепел, презирующий своё грязное занятие, и старец Лука, странник, ищущий «справедную землю» и питающийся божьей росой и подаванием.

Вот они – падшие люди как на ладони. Но это лишь первое, поверхностное знакомство. А копнешь глубже – у каждого особое привычки, нажитой опыт, собственное объяснение жестокой жизни. Слесарь Клещ с презрением говорит о собратях по несчастью:

Какие они люди? Рвань, золотая рота... люди! Я – рабочий человек... мне глядеть на них стыдно... я с малых лет работаю... Ты думаешь – я не вырвусь отсюда? Вылезу... кожу сдеру, а вылезу... Вот погоди... умрет жена... Я здесь полгода прожил... а все как шесть лет...

П е п е л. Никто здесь тебя не хуже... напрасно ты говоришь...

К л е щ. Не хуже! Живут без чести, без совести...

П е п е л (*равнодушно*). А куда они – честь, совесть? На ноги, вместо сапогов, не наденешь ни чести, ни совести... Честь-совесть тем нужна, у кого власть да сила есть...

И все же эти люди, спорящие о чести и совести, в глубине души понимают, в чём чистота и праведность жизни, а в чём её недозволённые пороки. Тот же Васька Пепел, сильный и красивый человек, не «нуждающийся» в чести и совести, с горечью объясняет, почему он стал отверженным:

«Я – сызмалетства – вор... все всегда говорили мне: вор Васька, воров сын Васька! Ага? Так? Ну – нате! Вот – я вор! Ты пойми: я, может быть, со зла вор-то... оттого я вор, что другим именем никто никогда не догадался назвать меня...»

Этот порченный человек влюбился в сестру властной и подлой хозяйки ночлежки Наташу, девушку чистую. Василий и прежде мечтал вырваться из грязной ямы, в которую не мог не угодить, а тут любовь, желание не только самому очиститься, но и помочь Наталье уйти от гибели. На его настойчивую мольбу «Иди со мной!» девушка спрашивает: «Куда? По тюрьмам?» У Пепла находится свой ответ:

«Я сказал – брошу воровство! Ей-богу – брошу! Коли сказал – сделаю! Я – грамотный... буду работать... Вот он говорит – в Сибирь-то по своей воле надо идти... Едем туда, ну?.. Ты думаешь – моя жизнь не претит мне? Эх, Наташа! Я знаю... вижу! Я утешаю себя тем, что другие побольше моего воруют, да в чести живут... только это мне не помогает! Это... не то! Я – не каюсь... в совесть я не верю... Но – я одно чувствую: надо жить... иначе! Лучше надо жить! Надо так жить... чтобы самому себя можно было уважать...»

Уважение к себе, чувство собственного достоинства... Как ни странно, это нравственное начало, униженное, почти вытравленное жизнью из обитателей «дна», все же продолжает оставаться их главным богатством, последним человеческим достоянием. Изо всех сил оберегает его Настя. Мечтает о возвращении достоинства рабочего человека Василий Пепел. Свято верят в свою «порядочность» Барон и Сатин. Не утрачивает гордости слугителя муз спившийся Актёр. Может быть, гуманизм лучшей пьесы Горького как раз и состоит в том, что автор неустанно напоминает нам: человек – высшая ценность на земле, его душа, даже покалеченная, почти втоптанная в грязь, заслуживает уважения и поддержки. Многократно повторяемые в учебниках, в литературоведческих книгах и статьях слова Сатина о величии человека – это глубочайшее убеждение Горького, которым освещено всё творчество писателя; чеканный монолог, так притягивающий поклонников и хулителей автора пьесы «На дне», – это некий духовный завет, который будет волновать всегда:

С а т и н. ...Он – молится? Прекрасно! Человек может верить и не верить... это его дело! Человек – свободен... он за всё платит сам: за веру, за неверие, за любовь,

за ум – человек за всё платит сам, и потому он – свободен!.. Человек – вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они... нет! – это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном! (*Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека.*) Понимаешь? Это – огромно! В этом – все начала и концы... Всё – в человеке, всё для человека! Существует только человек, всё же остальное – дело его рук и его мозга! Человечество! Это – великолепно! Это звучит... гордо! Человечество! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо! Выпьём за человека, Барон! (*Встаёт.*) Хорошо это... чувствовать себя человеком!.. Я – арестант, убийца, шулер... ну, да! Когда я иду по улице, люди смотрят на меня, как на жулика... и сторонятся, и оглядываются... и часто говорят мне – «Мерзавец! Шарлатан! Работай!» Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? (*Хочет.*) Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми... Не в этом дело, Барон! Не в этом дело! Человек – выше! Человек – выше сытости!..

Тут вызывает протест сатинское оправдание безделья и лени: «Работать? Для чего?» Но ведь за этими словами – правда художественного образа. Человек потому и оказался «на дне», что обленился, стал трутнем и пьяницей. Но затмевают ли эти душевные изъяны добрые, а то и возвышенные качества Сатина? В жизни мы – всякие, бывает, что одновременно слабые, безвольные – и сильные, оступившиеся в спасительную ложь – и правдивые. А разве в литературе должно быть иначе?

* * *

В горьковской пьесе есть еще один необычный тип, о котором спорят уже столетие, – странник Лука. Старик многое повидал, должно быть, о многом передумал. Русская жалость и сердобольность соединились в его сердце со всепониманием и всепрощением. Можно предположить, что не только обитатели ночлежки, но и все люди, встречавшиеся с Лукой на его страннических путях, обсуждали его характер, его поступки. Одни порицали, возмущались, даже ненавидели старца-утешителя, другие открывали ему душу, согревались его сочувствием, исцелялись его безмерной добротой.

Вот и в грязном приюте воров и пьяниц ожесточенно спорят с ним и о нем. Вор Васыка Пепел зло кричит ему: «Старик! Зачем ты всё врешь?.. Там у тебя хорошо, здесь хорошо... ведь врешь! На что?» Сатин смеется в лицо Актеру, поверившему рассказам Луки, что есть город, где лечат алкоголиков: «Наврал тебе старик... Ничего нет! Нет городов, нет людей... ничего нет!» Картузник Бубнов дудит в ту же дуду: «Вот – Лука, примерно... много он врёт... и безо всякой пользы для себя... Старик уж... Зачем бы ему?»

А слесарь Андрей Клещ – тот даже ненавидит ласкового странника, так же как и любителя голый правды Бубнова: «Ты, старик, утешаешь всех... Я тебе скажу... ненавижу я всех! И эту правду... будь она, окаянная, проклята! Понял? Пойми! Будь она проклята!»

Но есть люди, которым Лука словно бы принес прозрение: они вдруг увидели, что в их темном, промозглом жилище родился свет, поселилась доброта, обосновалась надежда. Они увидели: в мире, где их оскорбляют и ненавидят, есть сердце, которое любит и жалеет их. Умирающая Анна, которая видела от своего мужа Андрея Клеща только оскорбления и побои, которая, по ее словам, «всю жизнь дрожала, как бы больше других не съесть хлеба и всю жизнь в отрепьях ходила»,

признается Луке: «Гляжу я на тебя... на отца ты похож на моего... на батюшку... такой же ласковый... мягкий». Даже Васька Пепел в конце смиряет свой буйный нрав перед стариком: «Тебя, дед, изволь – уважу! Ты, брат, молодец! Врёшь ты хорошо... сказки говоришь приятно! Ври, ничего... мало, брат, приятного на свете!» А в чем, собственно, состоит враньё Луки? В том, что он обнадеживает Актёра, будто от пьянства лечат и есть даже город, где это делают? «Да я тебе город назову! – уверяет бедолагу Лука. – Ты только вот чего: ты пока готовься! Воздержись!.. возьми себя в руки и терпи... А потом – вылечишься... и начнешь жить снова... хорошо, брат, снова-то!» Не во спасение ли падшего человека такая ложь: если Актёр «воздержится» и «возьмёт себя в руки, то ему и неведомый город со спасительной лечебницей не потребуются. Надо ли порицать «ложь» старого мудреца, который поддерживает Анну в её последние земные минуты: «Призовут тебя к господу и скажут: господи, погляди-ка, вот пришла раба твоя, Анна... А господь взглянет на тебя кротко-ласково и скажет: знаю я Анну эту! Ну, скажет, отведите её, Анну, в рай! Пусть успокоится... Знаю я, жила она – очень трудно... очень устала... Дайте покой Анне...»

Неудивительно, что женщина, тяжело умирающая в переполненной людьми ночлежке, задыхаясь от благодарного чувства, говорит Луке: «Дедушка... милый ты... кабы так! Кабы... покой бы... не чувствовать бы ничего...»

Это благо, что в человеческом логове нашлась такая православная, чистая, заботливая душа – старец Лука. Он не записной утешитель и тем более не лжец по призванию; он – тот русский человек, который усвоил вековую народную мораль, и никакая черная, безнравственная жизнь не вытравит убеждения, укоренившиеся в нем. Вы послушайте, чему он учит нас: «...разве можно человека этак бросать? Он – каков ни есть – а всегда своей цены стоит...»; «Да уж чего хорошего, коли любимое забыл? В любимом – вся душа...»; «Я... говорю, что, если кто кому хорошего не сделал, тот и худо поступил...»; «Любить – живых надо... живых...» «Тюрьма – добру не научит, и Сибирь не научит... а человек – научит... да! Человек – может добру научить... очень просто!» Ведь это именно Лука произнес самые важные, ключевые слова в пьесе: «Верно: человек должен уважать себя!»

Однако читатель скажет: «Позвольте, а сам Горький в письмах и беседах не однажды развенчивал жалостливого старца».

Развенчивал. С обычной для него прямотой выставил у позорного столба. «Лука – жулик, – говорил он в одной беседе. – Он, собственно, ни во что не верит. Но он видит, как страдают и мечутся люди. Ему жаль этих людей. Вот он и говорит им разные слова – для утешения». В другой раз писатель пояснял: «Лука умеет приложить пластырь лжи ко всякому больному месту. Его дело, найдя человека с вырванным клочком сердца, создать в награду для восстановления равновесия какую-то по мерке сделанную и подходящую ложь – утешительный обман».

Зная взгляды Горького-писателя, мечтавшего уничтожить неправедные, подлые формы тогдашней жизни, преобразовать её на новых началах, не удивляешься авторской оценке своего героя. Да, есть мятежная, никогда не утихавшая страсть русского человека, жаждавшего справедливости. Но есть и глубинная народная мечта о том, что терпеливая вера, неизбывная доброта одолеют зло. Ну может ли православный читатель согласиться с автором, так своеобразно толкующем о своём Луке – словами, похожими на какой-то странный поклёп:

«Все русские проповедники, за исключением Аввакума и, может быть, Тихона Задонского, – люди холодные, ибо верою живой и действенной не обладали. Когда я писал Луку в “На дне”, я хотел изобразить вот именно такого старичка: его интересуют “всякие ответы”, но не люди; неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтоб они не мешали ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей – милостыня, подаваемая ими со скрытой брезгливостью, и звучат над этой проповедью слова тоже нищие, жалобные: “Отстаньте! Любите бога или ближнего и отстаньте! Проклинайте бога, любите дальнего и – отстаньте! Оставьте меня, ибо я человек и вот – обречен смерти!”»

Автор хочет принизить героя и посмеяться над ним, а герой гордо стоит и выказывает свой самородный характер. Где же брезгливость Луки и где его высокомерное «Отстаньте! Оставьте меня!», если одному (Ваське Пеплу) он родственно внушает: «...коли девка эта за душу тебя задела всурьез... уйди с ней отсюда, и кончено... А то – один иди... Ты – молодой, успеешь бабой обзавестись...»; если другого (Актёра) неумоимо убеждает лечиться от запоев: «Человек – все может... лишь бы захотел...»; если мудро защищает третью (Настю) от злой, хохочущей компании: «...ничего... не сердись! Я – верю! Твоя правда, а не ихняя... Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь... значит – была она! Была!»; если в лицо четвертому (хозяину ночлежки, человеку мерзкому) бесстрашно говорит: «Ежели тебе сам господь Бог скажет: “Михайло! Будь человеком!..” Все равно – никакого толку не будет... как ты есть – так и останешься...»

Неужели такой человек – «жулик», который «ни во что не верит», а только лицемерно прикладывает «пластырь лжи к больному месту» очередного знакомца? Даже наши краткие выписки доказывают, что это не так.

В том, что характер Луки взят из жизни, очерчен точно, с неукоснительной правдой, наше поколение убеждалось каждодневно, глядя на родных бабушек и дедушек. Будем молить Бога, чтобы он сохранил на обездоленной русской земле таких светлых старцев!

* * *

Как обитатели «дна» продолжили вереницу босяков из первых горьковских рассказов и повестей, так и персонажи следующей пьесы писателя «Враги» продолжили череду героев его произведений грозových лет, прежде всего повести «Трое», романов «Фома Гордеев», «Мать».

Новая драма писалась летом 1906 года, когда противостояние «врагов» – российских промышленников и рабочих разрешилось первой революцией, немалой кровью. Горький с самого начала публичной жизни не скрывал, на чьей стороне он выступит, если грянет буря. Вспоминая свои встречи с Л. Толстым, Алексей Максимович рассказывал, как откровенно признался он великому «непротивленцу»:

«...Я сказал... что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насилем.

– А насиле – главное зло! – воскликнул он, взяв меня под руку. – Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель?

Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном окружении человекоподобных и неизбежных “спутников” наших – все строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде».

В пьесе «Враги» две непримиримые силы – хозяева завода и его рабочие – обретают запоминающиеся лица. У каждого человека с той и другой стороны – своя судьба, свой взгляд на конфликт. А конфликт нешуточный; его можно назвать социальным, но он и бытовой, житейский, для главных героев – судьбоносный. Помещики братья Захар и Яков Бардины держат завод с компаньонами, купцами новой формации, тоже братьями Михаилом и Николаем Скроботовыми. Это одна сила. А другая – рабочие Греков, Левшин, Акимов, Рубцов, конторщик Синцов, осознавшие, что с господами, их безграничной и своевольной властью сообща можно бороться. Михаил Скроботов, человек твердой руки, отказался выполнить требование заводских – уволить грубого мастера Дичкова. Те пригрозили бросить работу. Властный купец предложил совладельцам проучить рабов – закрыть на время завод, чтобы голодные люди поняли, у кого какие права. Захар Бардин, однако, против затеи Скроботова. Он привык ладить с крестьянами; на его взгляд, с пролетариями тоже можно договориться. Но Скроботов закусил удила и на встрече с возбужденными рабочими стал угрожать им пистолетом. Один из «бунтовщиков», Акимов, перехватил оружие и застрелил хозяина.

Случай для девятисотых годов не из ряда вон выходящий, даже реальный*. Но для писателя он, пожалуй, лишь одно звено в цепи событий, захвативших всю рабочую Россию. Горький лучше, чем кто-либо другой в тогдашней отечественной литературе, чувствовал подземный гул народного недовольства, назревание взрыва. На заводе Бардиных и Скроботовых столкнулись не только материальные интересы трудового люда и его хозяев. Столкнулись два духовных мира. Носители одного из них, привыкшие повелевать, искренне недоумевают: как это рабы могут поднимать головы, иметь свои мысли, желания, мечты о счастье? Жена Михаила Клеопатра, местечковая царица, меняющая несколько любовников за год, возмущается:

«Какой-то конторщик всем распоряжается, дает советы... осмелился сказать, что преступление было вызвано самим покойным!..»

Её муженек с диктаторскими замашками, вызвавший на свой завод войска для усмирения, даже недоволен мягкотелым правительством:

«Нет, Россия не жизнеспособна, говорю я!.. Люди сбиты с толку, никто не в состоянии точно определить свое место, все бродят, мечтают, говорят... Правительство – кучка каких-то обалдевших людей... злые, глупые, они ничего не понимают, ничего не умеют делать...»

«Уметь делать», по рассуждениям и поступкам решительных Скроботовых, – это, конечно, немедленно загнать в тюрьмы, а то и перестрелять непокорных, силой подавить бунтующих. Брат Михаила, Николай, выдает себя за «культурного» человека. Этот показывает окружающим, что боится не столько за свои капиталы, сколько за гибель «культурного слоя», к которому причисляет себя:

«...Идёт варвар, чтобы растоптать плоды тысячелетних трудов человечества. Он идёт, движимый жадностью... Идёт толпа, движимая жадностью, организованный единством своего желания – жрать!.. Что могут принести с собой эти люди? Ничего, кроме разрушения...»

Но кто же веками держал подобных людей голодными, бесправными, отверженными? Рабочие в горьковской пьесе – совсем не ангелы, они, пожалуй, в чем-то и согласятся с Николаем Скроботовым:

* Подобный случай произошел в 1905 году на фабрике Морозова в Орехово-Зуеве.

действительно, можно ожидать и варварства. Но уже нельзя ожидать покорности. Старый рабочий Левшин объясняет барышням, родственницам Бардиных:

«Мы так думаем – что сработано, то свято. Труды людские ценить надо по справедливости, это так, а не жечь. Ну, а народ тёмен – огонь любит. Обозлились. Покойничек строгонек был с нами, не тем будь помянут! Пистолетом махал... угрожал».

На судилище, которое устроили прибывшие усмирители, рабочие держатся дружно и смело. Пережитое в тревожные дни многому научило их...

Показательно, что в первоначальном варианте пьеса «Враги» заканчивалась словами Левшина: «...Не тот убил, кто ударил, а тот, кто злобу родил!»

Российская история многократно доказывала власть предержавшим: бунты начинаются не потому, что невесть откуда являются злые смутьяны или, тем паче, подстрекатели; мятежи готовятся бездарными правителями. Это они подводят народ к последней черте, за которой вспыхивают мстительные пожары. Пьеса М. Горького была не первым его произведением, в котором он предупреждал, что люди, возомнившие себя хозяевами жизни, властителями рабов, играют с огнем. Откройте рассказы и повести писателя того времени – вы окупаетесь в неотступную, горячую думу автора, который всюду видел, как поднимается прозревающий русский человек.

Дед Архип – внуку Лёньке:

«Сытый человек – зверь. И никогда он не жалеет голодного. Враги друг другу – сытый и голодный, веки вечные они сучком в глазу друг у друга будут. Потому и невозможно им жалеть и понимать друг друга...»

Разуверившийся в смысле накопительства Фома Гордеев – купечеству волжского города:

«О, с-сволочи!.. Что вы сделали? Не жизнь вы сделали – тюрьму... Не порядок вы устроили – цепи на человека выковали... Душно, тесно, повернуться негде живой душе... Погибает человек!.. Душегубы вы... Понимаете ли, что только терпением человеческим вы живы? Вы не жизнь строили – вы помойную яму сделали! Грязищу и духоту развели вы делами своими. Есть у вас совесть? Помните вы бога? Пятак – ваш бог! А совесть вы прогнали... Куда вы её прогнали? Кровопийцы! Чужой силой живёте... чужими руками работаете! Сколько народу кровью плакало от великих дел ваших? И в аду вам, сволочам, места нет по заслугам вашим... Не в огне, а в грязи кипящей варить вас будут. Веками не забудете мучений...»

Мать молодого рабочего Палагея Ниловна Власова – пассажирам, путейским рабочим, извозчикам, бездомным на вокзале:

«Бедность, голод и болезни – вот что даёт людям их работа. Все против нас – мы издыхаем всю нашу жизнь день за днем в работе, всегда в грязи, в обмане, а нашими трудами тешатся и объедаются другие и держат нас, как собак на цепи, в невежестве – мы ничего не знаем, и в страхе – мы всего боимся! Ночь – наша жизнь, темная ночь!»

Все почернело, закачалось в глазах матери, но перевозмогая свою усталость, она еще кричала остатками голоса:

– Собирай, народ, силы свои во единую силу!»

Нынешняя российская жизнь с ее несправедливостью и гниением, пожалуй, превосходящими то, что было в ней на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, видна в горьковских произведениях, как в зеркале.

* * *

Для того чтобы принизить художественное произведение, у критики есть испытанный аргумент: имярек – писатель социальный, это помешало ему создать достойную таланта книгу. А классика не считается с такими приговорами. Нас волнуют трагедии о самовластительных тиранах, эпопеи о кланах богачей, романы об отверженных, хотя интрига в них замешана на страстях социальных, а то и политических.

В Горьком острый, неожиданный, размышляющий и сострадающий художник всегда брал верх над человеком, причастным к политике. Две его пьесы советского времени – «Егор Булычов и другие» и «Васса Железнова» привлекают не столько уже отошедшими в прошлое социальными столкновениями, сколько крупными, словно вырубленными из камня характерами хозяев «дела» в разваливающейся, пораженной смутой стране. Для купца Егора Булычева мировая война – мать родна: знай, поворачивайся, наживай миллионы на высоких ценах. Могущество таких людей уже не зависит ни от царей, ни от народа. «Попы, цари, губернаторы... на кой черт они мне надобны? – говорит Булычов дочери. – В бога – я не верю. Где тут бог? Сама видишь... И людей хороших – нет. Хорошие – редки, как... фальшивые деньги! Видишь, какие все? Все они теперь запутались, завоевались... очумели! А – мне какое дело до них? Булычову-то Егору – зачем они?»

Вот только смертельная болезнь прилипла к купцу не вовремя. Не может он, как в кулачном бою, встать на помост жизни во всей своей силе. Однако распоряжается, унижает других, грешит и ублажает себя он до последнего вздоха. И до последней минуты не хочет верить, что великая буря, которая уже началась за окнами, сметет его прочный, незыблемый до сих пор мир.

Оправдывает свою фамилию владелица пароходства, сильная и властная женщина сорока лет Васса Железнова. Служащих компании и домашних она держит в ежовых рукавицах; все дела, служебные и семейные, под ее неусыпным контролем. Как и Егор Булычов, Васса пришла к «миллионному делу» из низов. У того отец на Волге «плоты гонял», а эта шестнадцатилетней девчонкой вошла в дом речного капитана Железнова его бесправной женой. В России такое случалось: тысячи Булычовых и Железновых соскальзывали на дно жизни, а редкие единицы поднимались на ее поверхность. Эти, битые и верченые, как раз и становились несокрушимыми как дубы хозяевами – промышленниками и купцами. Умная, резкая, прямая в речах и поступках, Васса рассказывает двум своим дочерям: «Родила я девять человек, осталось трое. Один родился – мертвый, две девочки – до года не выжили, мальчики – до пяти, а один – семи лет помер. Так-то, дочери». А на вопрос, почему дети помирали, Железнова отвечает: «...оттого, что родились слабые, а слабые родились потому, что отец пил много и бил меня часто».

И эта женщина, благодаря своей неукротимой воле, смогла создать пароходную компанию. То что нрав у нее твёрдый и жестокий, поистине железный, читатель видит своими глазами: спившегося мужа, попавшего на скамью подсудимых за растление малолетних, она заставляет выпить яду; у смертельно больного сына и невестки, профессиональной революционерки, отбирает их дитя, своего внука, мечтая передать ему нажитое состояние; невестку, подпольщицу, кроме того, выдает полиции; от дочерей – озлобленной, уже спивающейся Натальи

и слабоумной Людмилы – готова освободиться как от обузы, выдав их замуж с крохотным приданым. Все, что мешает Железновой хозяйствовать, наживать новые миллионы, – по боку. Кажется, что уже сам огромный воз, в который Васса впряглась пятнадцать лет назад, управляет ею; прочь с дороги – по ней, прогибая землю, движется махина!

Когда невестка Рашель пугает Железнову: «...не много жизни осталось для таких, как вы, для всего вашего класса – хозяев. Растет другой хозяин, грозная сила растет, – она вас раздавит. Раздавит!» – Васса ни на секунду не верит ей: «Вот как страшно! Эх, Рашель, кабы я в это поверила, я бы сказала тебе: на, бери всё моё богатство и всю хитрость мою – бери!»

А на чем же основана вера Железновой в то, что ее дело незыблемо? Может, она слепа? Не видит расплывающегося пламени? Может, она лишь раба накопительства, как считает Рашель? Едва ли. Подобно Егору Булычову, эта сильная и умная женщина сознает, что среди безвольных, ни на что не способных и ни во что не верящих людей только на таких, как она, еще держится порядок жизни, мощь государства. А житейски гордость за себя и свою силу она выражает словами намеренно грубыми, насмешливыми: «Я тебе скажу, чего я хотела... Хотела, чтоб губернатор за мной урыльники выносил, чтобы поп служил молебны не угодникам святым, а вот мне, черной грешнице, злой моей душе». Сравните эти слова с теми, что говорил Егор Булычов о губернаторах и царях, – они почти совпадают. Совпадает и конец обеих судеб: Булычов в последние минуты жизни слышит пение демонстрантов на улице, Железнова неожиданно умирает в те же грозные дни...

Горький исследовал жизнь честно, непредвзято. Казалось бы, зачем ему создавать две последние пьесы в тридцатых годах прошедшего века, спустя пятнадцать-восемнадцать лет после революции? Можно предполагать: то, что художник знал очень хорошо, глубинно, требовало выхода. Для писателя такого масштаба современность его художественного произведения – это не та сиюминутная злободневность, о которой пекутся литераторы помельче. Для него постижение основного русла, главного створа жизни в ее прошлом, настоящем или намечающемся будущем течении – дело всегда притягательное и необходимое.

И жестокою шутку сыграла история: сто лет спустя в России явились новые Булычовы и Железновы, нынешние олигархи. Для них тоже мало что значат всякие там премьеры и президенты, исполнители их воли. Им, столпам жизни, кажется, что мощь их несокрушима, что они утвердились надолго, чуть ли не навсегда. Горький не написал общественного поражения своих твердолобых героев, крушения их дела. Но есть сама жизнь: она дописывает правдивые произведения по тем же законам, по которым творит писатель...

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Поэт, прозаик. Публикуется в литературно-художественных журналах. Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии имени А. Kupрина (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ЕСТЬ БОГ

Сколько славословий... Сколько великих – и малых – и главных – и слабых – и притворных – и клятвенных – речей...

Крепкое имя «Горький» для всего советского двадцатого века и верно было чем-то вроде клятвы. Его надлежало обесмертить, убрав с лица земли его носителя. Герой тогда становится героем, когда он мертв. И ничего уже не сможет возразить или опровергнуть, и оправдать, и прояснить. Да и мог ли герой это сотворить при жизни?

Максим Горький, взявший такой пронзительный, полынный псевдоним, рано понял: писать книги – это хорошо, и это он делать хотел, и это делать – мог. Теснее, гораздо теснее, чем теперь, был круг русских писателей той поры – поры молодого Алексея Пешкова. Точно, без промаха, выстрелил визитами и мгновенно завязанными дружбами молодой Горький: Лев Толстой – Антон Чехов – Федор Шаляпин – и иже с ними. И не мог он знать тогда, что Борис Зайцев, уже в Париже, без содрогания презренья не сможет о нем говорить, а рядом, в той же Франции, Ромен Роллан будет им восторгаться и возводить на пьедестал. А было ли чем восторгаться? И, главное, было ли что презирать?

Есть тексты и тексты. Есть писатели и писатели. Лев Толстой отчего силен? Божья это у него сила, силища: от Бога. Не от разума, не от радио, незапланированная, не рассчитанная. Горький строит и порою даже высчитывает свою судьбу. Что ж, судьбостроительство ругать грешно: это просто способ жить. Человеку кажется: я изберу главную тему своего времени – решу ее – и оседлаю время. Горький избрал тему босячества (сиречь – народа!), тему дна (народ он опять, почти весь, живет на дне!), тему столкновения старого и нового мира, изображая, с одной стороны, купцов (умирающий мир), с другой – революцию

и революционеров (мир нарождающийся). Эта конструкция сыграла беспроигрышно. Она была так на виду и на слуху, так тревожила сердца, что не исполнить жизненное соло на этом инструменте было бы просто глупо. Здесь сметливость Горького не подвела.

Но что же такое кроется в его текстах, и дореволюционных, и революционных, и послереволюционных, что я могу понять, но не могу, как Борис Зайцев, оправдать и полюбить?

Горький пишет ТОЛЬКО видимый мир. Трехмерный мир. Он реалист до мозга костей. Причем такой: вот вам, ребята, жизнь, и без вариантов, есть лишь одна она, земная, и другой нет и не будет. Бог – досужая выдумка; кто Его выдумал – неизвестно. Дьякон-расстрига Егор Ипатьевский в романе «Клим Самгин» – едва ли не автопортрет Горького. Человека в текстах Горького – хоть отбавляй! Человека, орудий его труда, предметов его быта, его общественных коллизий и столкновений, его грязи и его чистоты – полный спектр. Только вот Бога – нет.

Я не о церквях-куполах в самой плоти прозы. Я – о присутствии Бога Живаго в словесных слоях, в вязи событий и положений; в рассыпях смыслов. Бога как сверхзадачи НЕТ у Горького. Гордый человек, мыслящий человек, ищущий человек – есть. А вот веры в Бога у этого человека нет. И быть не может; ведь он, горьковский герой, раз и навсегда зачеркнул и для себя, и для освобожденного от суеверий и предрассудков человечества этот крестный путь.

Прожив на земле большой кус жизни, Горький сказал так: «Человек жестоко оскорблен – богами, которых он в страхе и радости пред силами природы создал слишком поспешно, неумело и слишком “по образу и подобию своему”» («Несвоевременные мысли»).

Он опьянялся идеями богостроительства. Построить новое общество, да, и в придачу к нему создать нового бога! Ведь все боги тоже были созданы, слеплены лукавыми и слепыми людьми! Социализм казался ему святым, религиозным чувством «связи с прошлым и грядущим» (ответы на вопросы анкеты *Mercure de France*). Человек могуч! Он может всё!

Что же предлагал Горький людям вместо Бога? Вместо веры?

Вместо Бога – народ. Вместо личной веры – сплоченный, дружный коллектив. И, наконец, вместо милости и любви к ближнему, что есть отражение Царствия Небесного на земле, – коммунизм как мегаутопия, как та безбожная, бодрая неизбежность, где никакого Бога и в помине не будет, не понадобится Он, отживший и ветхий, как старый самовар.

Марксизм, социализм, коммунизм в глазах Горького, да и не только его одного, явились новой верой, абсолютно противоположной вере в Бога.

В Христа? В любого Бога любого народа? В Аллаха, в Будду, в Иегову? Горький считал их всех мифами. А значит, сказками. Пусть бабки внукам еще рассказывают эти ветхие сказки на ночь! Вот бабки эти умрут, и в стране, а потом и на земле наступит царство красного безбожия, и упругим шагом физкультурные толпы пойдут к упоительному светлему будущему.

...пошли – в разверстую волчью, колючую пасть лагерей.

«...человек, физически сильный, красивый зверь, но эта красота физическая – в полной гармонии с духовной мощью и красотой» («Несвоевременные мысли»). Чем вам не Фридрих Ницше? Отдыхает, я погляжу, ницшеанский сверхчеловек.

В своих воспоминания Олимпиада Черткова обронила о Горьком такую фразу: «Однажды ночью он проснулся и говорит: “А знаешь, я сейчас спорил с Господом Богом. Ух, как спорили... Хочешь – расскажу?..”» Смолчала Липа Черткова, медицинская сестра, последняя любовь Горького. Ни о чем Алексея Максимовича не попросила.

Да, только сильные люди спорят с Господом. Вон Иаков в Ветхом Завете с Ним боролся. И что, кто кого поборо? Мы-то помним, Кто.

Чем ближе к концу жизни, тем более человек начинает ощущать малость свою и грешность свою. И сетует: мало успел. И видит: Бог за плечом. А он в Него не верил. И если не верил – значит, Он не помогал человеку в трудах и днях его. О-хо-хо! А ведь это так.

А может, Бог всем помогает, и верующим, и неверующим?

Слабая надежда... и рядом они стоят – Бог и смерть.

И мысль: почему я Его раньше не знал, а только теперь узнал? – пронзает от макушки до пяток.

Но это все лирика. Мы не знаем, как то было у Горького в финале его жизни, где он умел бороться и приспособливаться, говорить в полный голос то, чего ждали, и шептать на ушко то, что кричать было никак нельзя. Где он проповедовал социализм как религию, а религию втаптывал в грязь, как то и должны были делать правоверные социалисты. Мне скажут: время такое! Но, знаете, есть вещи, которые в любые времена делать нехорошо. Все знают эту историю про Соловки. Мальчик рассказал гостю Горькому про соловецкие ужасы. И отойдя, горько плакал Горький. Пароход с великим писателем уплыл на материк. Мальчика казнили. Горький, вернувшись восвояси, написал восторженные очерки о славной перековке трудящихся масс в советских трудовых лагерях.

В 1929 году, на открытии Второго Всесоюзного съезда воинствующих безбожников, Горький произносит с высокой трибуны: «В той любви, которую проповедуют церковники, христиане, – огромное количество ненависти к человеку».

Его подпись стоит под письмом с просьбой уничтожить храм Христа Спасителя.

«Я никогда ни в чём и не перед кем не каялся, ибо к этому питаю органическое отвращение. Да и не в чем мне каяться» («Несвоевременные мысли»).

Можно сколько угодно фантазировать о том, как стекали на подушку покаянные слезы из глаз седого больного старика.

Тайна за семью печатями – чувство Бога, родившееся в безбожнике.

Может быть, один из немногих горьковских текстов, в которых живёт Бог, – это рассказ «Рождение человека».

«...Плескалось и шуршало море, все в белых кружевах стружек; шептались кусты, сияло солнце, перейдя за полдень».

Шли – тихонько, иногда мать останавливалась, глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх, оглядывалась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом заглядывала в лицо сына – глаза ее, насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви».

...нет, беру все свои слова обратно. Плачу от счастья. Да, родился человек, не умрет; в нем – Бог.

Есть Бог в искусстве этого великого художника, выходит так; есть.

Олег ДЕМИДОВ

Родился в 1989 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института. Поэт, публицист, литературовед, исследователь жизни и творчества имажинистов.

Составитель книги «Циники: роман и стихи» (М.: Книжный клуб «Книговек», 2016), а также двух собраний сочинений – Анатолия Мариенгофа (М.: Книжный клуб «Книговек», 2013) и Ивана Грузинова (М.: Водолей, 2016). Готовится к печати книга «Последний денди Страны Советов» (М.: Редакция Елены Шубиной). Литературоведческие статьи публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Сура», «Сибирские огни», «Октябрь», Homo Legens, публицистика – на порталах «Свободная пресса», «Кашин», «Перемены», Textura и «Rara Avis: открытая критика». Автор двух стихотворных сборников. Живёт в Химках.

ГОРЬКИЙ И ИМАЖИНИСТЫ

При соприкосновении с большим писателем высекаются искры. И уже неважно, кто и как к нему прикасается. Филолог ли осмысливает его пройденный путь, другой ли литератор вступает с ним в диалог – всё едино. Если же попадаются равновеликие фигуры, разгорается большой костёр. Попробуем же и мы отследить по архивным угольям и музейной золе остатки некогда пылающего костра под названием «Горький и имажинисты».

Их отношения начали складываться в 1910-е годы, когда ещё никакого Московского Ордена имажинистов и в помине не было, а существовали самостоятельные поэты – Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев, Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф.

Отец Шершеневича – Габриэль Феликсович, крупный российский юрист – читал метапредметные лекции: «Общественные идеалы Ницше», «Роман “Воскресение” графа Л.Н. Толстого и вопросы уголовного права», «Герои Максима Горького перед лицом юриспруденции» и т. д. Его сын, молодой поэт, который в ту пору только определялся с эстетическими установками и размышлял о собственном творческом пути, безусловно, говорил с отцом обо всех классиках.

Десяток лет спустя Шершеневич напишет:

Всем ясно до невероятно простого:
Наш Век – век Горького и Толстого...

Сергей Есенин, поначалу воспринимавшийся как новокрестьянский поэт, не мог пройти мимо первого пролетарского писателя Горького.

Рюрик Ивнев воспринимал того в первую очередь как революционера в литературе и в жизни. Анатолий Мариенгоф же всегда осмыслял и переосмыслял сатинское высказывание «Человек – это звучит гордо» и, периодически сомневаясь в величии Горького, писал полуязвительно и полувсерьёз:

«Средние писатели – вроде Тургенева, Гончарова, Гюго, Дюма – после смерти довольно быстро начинают превращаться сначала в писателей для юношества, потом для отрочества. А вот с Толстым, Чеховым, Достоевским, Мопассаном, Флобером ничего не делается, никаких превращений. Горький, конечно, принадлежит к плеяде писателей XIX века. Только он худший из лучших, самый маленький из самых больших».

Но это всё восприятия имажинистами Горького. А как он сам относился к «образноносцам»?

Млад юнош с мушкой на щеке

Горький старался не пропустить модных литературных веяний. Постоянно просил своих корреспондентов рассказывать, что происходит в Петербурге и в Москве. Когда он узнал о футуристах, захотел познакомиться с ними поближе. Александр Черемнов, один из корреспондентов писателя, прислал ему карикатурный портрет Шершеневича. Для начала приведём общеизвестный отрывок:

«Кроме того, были мы на реферате футуристов. Выступал там <...> некоторый млад юнош – Вадим Шершеневич, сын своего отца, на тему “Златополдень русской поэзии”. Реферат совершенно гимназический, но референт интересен: молодой парень – весь накрашен, глаза подведены, на щеке мушка, в петлице иммортелька, словом, не то Оскар Уайльд, не то <...> с Кузнецкого Моста. И держится при этом Юлием Цезарем, что невольно хотелось его спросить: “Где это ты, щучий сын, так насобачился?”»

Горький отвечал на корреспонденцию: «Всё какие-то рыбо-ящеры мерещились. Теперь вижу: накрашены и с мушкой. В особенности такая фигура выигрывает в красоте, будучи поставлена рядом с Гаршиным, Чеховым, Буниным»*.

Однако стоит учитывать, что чаще всего литературоведы приводят именно этот небольшой фрагмент, в то время как Черемнов описывает Горькому в гораздо большем размахе этот вечер и под его горячую руку попадают многие другие писатели:

«Были и прения. Говорил Валерий Брюсов, очень образованный коммерсант. Противно пускал слюни Сергей Яблоновский. Выступали три футуриста. Из них у Маяковского замечательно-скульптурная шея (он сильно декольтируется). А в общем все эти юноши оставляют впечатление деревенских парней, которые пишут похабные слова на стене волостного правления, мочатся при всём честном народе и, потряхивая кудрями, распевают гнусные частушки».

* Однако же стоит учитывать, что, как сообщает В.А. Дроздов, Горький включил в свою личную библиотеку основные сборники футуристических стихов Шершеневича: «Автомобилья поступь: Лирика (1913–1915)» (М.: Плеяды, 1916), «Бы-стрь: Монологическая драма» (М.: Плеяды, 1916), одесский альманах «Чудо в пустыне» (1917), «Зелёная улица: Статьи и заметки об искусстве» (М.: Плеяды, 1916) и ряд имажинистских изданий. Подробнее см.: Личная библиотека А.М. Горького в Москве. Описание. Кн. 1, кн. 2 (М.: Наука, 1981).

В последнем пассаже легко угадывается Сергей Есенин. И обратите внимание, как Черемнову в 1913 году удалось предугадать роспись стен похабными словами. Знали ли Есенин и Шершеневич об этих корреспонденциях? Может, тогда и роспись стен Страстного монастыря «кошунственными» стихами – нарочитая буквализация метафоры Черемнова – это всего лишь ответ старорежимной публике?

Сектантство или искусство?

Так получилось, что Горький знал по доимажинистскому периоду не только Шершеневича и Есенина, но и Рюрика Ивнева. О своих встречах с «буревестником» последний написал небольшой очерк. Приведём один любопытный фрагмент из него:

«...на вечере в честь Маяковского, который состоялся на квартире художницы Любавиной, хозяйка дома решила представить меня Горькому. С трепетом подошел я к высокому и уже тогда немного сутулившемуся Алексею Максимовичу. Горький посмотрел на меня глазами, в которых светилась какая-то особенная ласковость, относившаяся не столько к тому, с кем он говорил, сколько ко всему окружавшему.

– Так это вы проповедуете самосожжение*?

Я растерялся и не знал, что ответить.

– А с самой сектой самосожженцев вы знакомы?

Я ответил, что знаком... приблизительно. Набравшись смелости, сказал:

– Я в этой секте не состою.

– И все же стали ее проповедником?

Я не мог понять, говорит ли он серьезно или забавляется смущением желторотого птенца».

Необходимо пояснить, почему Горький так беспокоился: не сектант ли перед ним? В этом же 1913 году вышел роман Пимена Карпова** «Пламень». В этой книге в изобилии можно было найти сцены дьявольской мессы и сектантских оргий. Священный Синод выдал постановление, согласно которому роман должен быть конфискован и сожжён, а автор – привлечён к ответственности за богохульство и порнографию.

Были большие споры: о состоятельности автора как литератора, о сущности искусства, о порнографии, о принадлежности Пимена Карпова к сектантам и т. д. Шума было много. И в этом контексте выходит книга Рюрика Ивнева – «Самосожжение».

Приведём одно небольшое, но показательное стихотворение:

Победный шум... Триумф последний...
Он что-то шепчет, Человек.
Его слова звучат, как бредни,
Как стон измученных калек.

* Первая книга стихов Рюрика Ивнева называется «Самосожжение» (СПб.: Звено, 1913).

** С автором «Пламени» Ивнев был знаком. Его вообще влекло к подобным людям не от мира сего. В 1919 году он даже приютит вечно скитающегося Карпова у себя. Примерно в это же время пристроит его стихи в изданный под эгидой имажинистов сборник «Автографы». Там будет опубликовано стихотворение, посвящённое Ивневу.

Вокруг – костер из бревен алых
И дым, как сладостный туман.
Глаза – в молениях усталых,
И тело, точно истукан.

Последний звук и шелест звучный;
Триумф – победа из побед.
Над жизнью мертвенной и скучной
Взлетел мыслитель и поэт.

Естественно, что, с одной стороны, Горький обратил внимание на эту книгу и начал подзуживать юного поэта, а с другой стороны, что Ивнев не выдавал себя. Он, конечно, не был сектантом, но любил эпатажировать. А признаться в этом в приличном обществе – некомильфо. Сразу поставят в один ряд с футуристами. Ивнева и причисляли к ним, но традиционная поэтика и порой чрезмерная скромность не позволяют нам сегодня поставить этого поэта в один ряд с «горлопанам» и «апашами». Он иной. Он действовал более тонко. И эпатаж его нам только предстоит раскусить.

Кусиков и Есенин в Берлине

В пореволюционную пору Горький с имажинистами не пересекался. У него просто не было возможности. Он в Петрограде занимается «Всемирной литературой», имажинисты успешно покоряют Москву. Вот-вот должен появиться Петроградский воинствующий орден имажинистов, но Горький уезжает за границу. По официальной версии – на лечение, по неофициальной – из-за разногласий с советской властью.

Выезжает из России и Александр Кусиков – один из самых деятельных имажинистов. Книжная лавка (одна из двух), постоянные литературные вечера, полуполегалное издание книг – всё держалось на нём. Официально поэт едет в небольшое турне вместе с Борисом Пильняком. Длительность поездки – полгода. Но Кусиков и не думает возвращаться.

Сначала он обосновывается в Берлине. Было бы странно, если б он выбрал иной европейский город. К началу 1920-х годов – это, пожалуй, самый большой перевалочный пункт для русской эмиграции. Тут же Кусиков пристраивается в газете «Накануне»: чуть ли не в каждом литературном номере появляются его стихи и критические статьи.

В нескольких штрихах описывает это время и литературный процесс русского зарубежья Роман Гуль:

«Поздно встав, шёл по Лютерштрассе Кусиков в горе: “Почему в Берлине воробьи не чирикают?” По Шёнебергу в бобровом воротнике ходил Алексей Толстой, тоскуя по золотым куполам и ненавидя немцев за то, что они не говорят по-русски. На Виттенбергплац я видел неуверенно летящей походкой идущего Сергея Есенина».

О чём горюет Кусиков? О покинутой России, в которую хочет вернуться, но по понятным только ему причинам не может. Гуль же имеет в виду конкретное берлинское стихотворение – приведём лишь самое начало:

Почему в Берлине воробьи не чирикают,
Почему не каркает ворон с пня?

Друг мой случайный, смотри-ка
На безворобьиного на меня.

Посмотри на меня, я такой сиротеющий
Без кинжала, без шашки, без храпа коня –
Это я угонялся за вражьей шеей
Чтоб арканом её обнять.

Приезжает в Германию Есенин с Айседорой Дункан – и начинается череда пьянок, драк и прочих увеселительных мероприятий. Поэты забросили стихи, но чуть ли не каждый вечер стремятся на сцену – читать, удивлять, покорять, эпатировать.

Наведывается в Берлин и Горький. В его представлении есть большой поэт Есенин и поэт-оказия, поэт-имажинист Кусиков. Картина получается несколько предвзятая: «Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней».

Здесь, конечно, «буревестник» ошибался: и насчёт ненужности Кусикова, и насчёт его неумения играть на гитаре. С Есениным они немало времени провели вдвоём. Если в России поэты соревновались друг с другом (кто больше издаст книг, кто сделает это изощрённей*), то в Германии старались держаться вместе.

Скандал в Берлине

12 мая 1922 года был большой вечер в «Доме искусств». 14 мая берлинская газета «Руль» опубликовала заметку «В Берлине. Скандал в “Доме искусств”». 16 мая парижская газета «Последние новости» вышла с той же заметкой (местами воспроизводились одни и те же фразы и выражения), но с расширенным составом участников. Приведём её:

«Вчера в “Доме искусств” разыгрался большой скандал, вызванный советскими поэтами Есениным, Кусиковым и неизвестными молодыми людьми, их сопровождавшими. До полуночи в “Доме” продолжалась обычная программа: работающий ныне на большевиков гр. А.Н. Толстой читал свои воспоминания о Гумилёве, зверски расстрелянном теми же большевиками, поэты читали свои произведения, а около 12 ночи началось сверхпрограммное: появился Сергей Есенин с женой Айседорой, Кусиков и „молодые люди“ типа сотрудников “Накануне”.

– Интернационал, – скомандовала Айседора, и “молодые люди” запели. Раздались свистки и крики “долой”.

Муж знаменитости, Есенин, влез на стул и крикнул в толпу:

– Нас свистками не удивишь, сам умею свистать в четыре пальца.

Часть публики, поражённая этими доводами, покинула “Дом”, а оставшимся Есенин-Дункан прочёл свои стихи».

В этой небольшой заметке поражает несколько принципиально важных вещей. И «молодые люди» типа сотрудников «Накануне» (Толстой и Кусиков – они ведь тоже сотрудники этой газеты – откуда тогда такое удивление?); и позиция «красного графа» по Гумилёву и большевикам

* По воспоминаниям В.Г. Шершеневича, Есенину удалось издать сборник стихов «Звёздный бык» в типографии агитпоезда Л.Д. Троцкого, а Кусикову – в типографии МЧК. Правда, какая книга была второй – вопрос.

(позиция человека, во многом близкого «сменовеховцам»), и восприятие уже русскими эмигрантами Есенина как Есенина-Дункан.

Следом в газете «Руль» появились «Европейские частушки» за подписью «Лерк.» – о прошедшем вечере и пении «Интернационала». Приведём лишь некоторые тексты, касающиеся поэтов-имажинистов, Алексея Толстого и Бориса Пильняка:

Мой милёнок в «Накануне»
Служит матушке-коммуне –
Здесь в Берлине этот грех
Называют сменой вех.

Вехи все уже сменили
И сидят графья в Вольфиле,
И зовут на корабли
Комиссаров короли.

Надоела Генуя –
В шёлк себя одену я
И для развлечения чувств
Прогуляюсь в «Дом искусств».

Там всё пышно и богато,
Там есть красные ребята,
А меж ними – маков цвет –
Самый красный наш поэт.

Станет в позу среди зальца –
Сунет в рот четыре пальца –
Сразу Лиговкой пахнёт,
Испужается народ.

Наши парни – ёжики,
Пусть в ход и ножики,
Потому они – стихия
И вздыбённая Россия...

Все совсем себя раздели,
Ходят и без трусиков –
Кто был раньше в «Общем деле»
Стал почти что Кусиков.

Прилетел аэроплан
Из столицы Ленина –
Вышла в нём мадам Дункан
Замуж за Есенина.

Есть сыпняк и голодуха,
Есть Дункан и ритмы духа,
И приказ дал совнарком
Восхищаться Пильняком.

Айседора с новым мужем
Привезла совдеп сюда...
Были времена и хуже,
Но подлее – никогда!

Есенин, конечно, видел все эти частушки, написанные на скорую руку. И не остался в долгу. По приезде в Москву от поэта можно было услышать и такое:

У Европы рожа чиста
 Не целуюсь с ею!
 Подавай имажинисту
 Милую Расею...!

Горький оказывался в сложном положении. Будучи в эмиграции и читая «Последние новости» и «Руль», он не мог пройти мимо едких заметок. Однако ж он воспринимал всякую информацию критически и о каждом поэте-имажинисте, так или иначе, составил собственное мнение.

Попробуем всё это проявить.

Горький и Феррари

Для начала в наш разговор стоит ввести ещё одного персонажа – малоизвестного, но с примечательной биографией. Была такая поэтесса Елена Феррари. В Москве она посещала собрания «Лирики» (Бобров, Асеев, Пастернак), в русском Берлине успела со всеми перезнакомиться. Однако литература была лишь прикрытием для её деятельности. Феррари была разведчицей и террористкой.

Когда она попыталась наладить контакт с Горьким, тот навёл о ней справки и выяснил, что эта юная девушка успела отметиться на фронтах Гражданской войны и в террористических актах в Европе. Феррари протаранила «Лукулл» – яхту П.Н. Врангеля, на которой перевозились деньги для его армии. Конечно, это было в первую очередь покушение. Неудавшееся. Но и из невыполненной операции можно извлечь символический капитал.

Феррари, в свою очередь, была знакома с Кусиковым. Надо сказать, что для последнего такое знакомство далеко не случайное. В революционной Москве он, может быть, как ни один другой имажинист тесно общался с Яковом Блюмкиным*. Подобные связи и порождали вокруг поэта слухи о его причастности к советской разведке**.

* Блюмкин Я.Г. (1900–1929) – убийца немецкого посла Мирбаха, советский разведчик, не без участия которого проходили «красные» революции по Ближнему Востоку.

** Николай Оцуп полагает, что Кусиков был близок не только и не столько к разведке, сколько к чекистам. Приведём небольшой отрывок из его очерка «Сергей Есенин»: «С имажинистом Кусиковым <...> я познакомился при обстоятельствах, довольно своеобразных. Было это в дни нэпа в Петербурге. В особняке, принадлежавшем раньше Елисееву, ярко горели люстры. Почувствовалось и даже очень, когда каким-то образом в зале появился неприятного вида военный. Он подошел к одной из дам и отпустил ей какую-то грубую шутку. Муж дамы, П. – ударил обидчика. Тот спокойно принял пощечину и заявил еще спокойнее: “Будьте любезны следовать за мной”. Я был рядом, и когда военный схватил П. за руку, я вступился за П. <...> Поняв, с кем мы имеем дело, ни П., ни я не могли сопротивляться. Мы готовились следовать за чекистом, который пылал жадной мести и, конечно, имел полную возможность эту месть утолить. Никто из наших братьев, терроризированных, как и мы, не посмел вступить за нас. На счастье наше, в зале случился московский имажинист Кусиков. Он сделал то, что казалось нам невозможным. Кусиков сумел в две

При чём здесь имажинизм? Феррари вместе с Виничио Паладини, итальянским поэтом русского происхождения, в 1927 году организует группу имажинистов. Лазарь Флейшман проливает свет на это событие: «Пятнадцать месяцев, проведенных в Италии, обозначили собой новый поворот в ее литературной биографии. Она подружилась с Виничио Паладини <...> горячим адептом русского большевизма и советского художественного авангарда. При его участии (ему принадлежала обложка и иллюстрации) Феррари выпустила на итальянском языке стихотворный сборник “Prinkiro”, содержащий ее константинопольские вариации, переданные Горькому на суд зимой 1923 г. Стихи вышли в совместном переводе поэтессы и Умберто Барбаро, друга Паладини. Вместе с ними двумя Феррари вошла также в группу “имажинистов”, дебютировавшую в феврале 1927 г. журналом *Laguota dentata*».

Приведём небольшое стихотворение, посвящённое некоему А.Б. (что позволяет нам предположить, что за этими инициалами скрывается Александр Борисович Кусиков):

Золото кажется белым
На темном загаре рук.
Я не знаю, что с Вами сделаю,
Но сама – наверно, сгорю.

Я уже перепутала мысли
С душным, горячим песком,
От яблок неспелых и кислых
На зубах и словах оскомины.

Беспокойно морское лето.
Я одна. Я сама так хотела.
Обедненные грустны браслеты
На коричневом золоте тела.

Сохранилась переписка Елены Феррари и Максима Горького. Девушка присылала в том числе и сборники своих стихов, спрашивала у мэтра советы, просила рекомендации к московским поэтам и т. д. Любопытны отзывы живого классика.

Начнём издалека и приведём первый, касающийся Ходасевича и Пастернака. Этот отзыв поможет нам понять, какие претензии могут быть у Горького к стихам Феррари и косвенно к стихам Кусикова: «Я – поклонник стиха классического, стиха, который не поддается искажающим влияниям эпохи, капризам литературных настроений, деспотизму “моды” и “законам” декаданса. Ходасевич для меня неизмеримо выше Пастернака, и я уверен, что талант последнего, в конце концов, поставит его на трудный путь Ходасевича – путь Пушкина».

Ещё один отзыв, полный сарказма, уже соприкасается с поэтом-имажинистом: «Сударыня! У вас есть ум – острый, вы обладаете гибким воображением, вы имеете хороший запас впечатлений бытия и, наконец, у вас налицо литературное дарование. Но при всем этом, мне

минуты запугать чекиста какими-то своими московскими связями, пригрозил ему, что подаст на него жалобу куда-то и, к удивлению всех нас, чекист с красноармейцами исчезли» (Русское зарубежье о Сергее Есенине: воспоминания, эссе, очерки, рецензии, статьи – М.: Терра, 2007. С. 177–178).

кажется, что литература для вас – не главное, не то, чем живет душа ваша и, вероятно, именно поэтому вы обо всем пишете в тоне гениального Кусикова, хотя вам, конечно, известно, что каждая тема требует своей формы и что истинная красота, так же, как истинная мудрость – просты».

Что же мы видим? Горький не оригинален в своём восприятии поэзии имажинистов. Ему нравится традиционная поэтика. Поэтому всё, что предполагает авангардное мышление, просто-напросто недоступно писателю. Может, оно и к лучшему. Помогли ли советы Горького Елене Феррари? Она забросила поэзию и перешла на прозу, написав авантюрный автофикшн.

Чтение как перформанс

Есть, однако, один эпизод с есенинским чтением, который Горький мог бы оценить, потому что это действие напрямую касается его творчества. И тут хочешь или не хочешь, но «авангардное трюкачество» придётся понять.

О чтении «Чёрного человека» вспоминали Иван Грузинов* и Анатолий Мариенгоф**. Но у них выходило вскользь и как бы между делом. Матвей Ройзман описал всё конкретно и в деталях. Поэтому обратимся к его рассказу:

«Есенин подумал и объявил, что прочтет “Чёрного человека”. Еще до ссоры Сергея с Анатолием было назначено заседание ордена. Я пришел в “Стойло” с опозданием и застал Есенина читающим конец “Чёрного человека”. Слушающие его В. Шершеневич, А. Мариенгоф, И. Грузинов, Н. и Б. Эрдманы, Г. Якулов были восхищены поэмой <...>

Сергей сел на кровати, положил правую забинтованную по локоть руку поверх одеяла, во время чтения “Чёрного человека” поднял её левой, обхватил. Вероятно, потому, что не мог в такт, как обычно, поднимать и опускать забинтованную, раскачивался из стороны в сторону. Это напоминало то незабываемое место в пьесе М. Горького “На дне” (МХАТ), когда татарин, встав на колени и обняв левой рукой забинтованную правую, молится, раскачиваясь из стороны в сторону. <...>

Все – поза Есенина, его покачивание, баюкание забинтованной руки, проступающее на повязке в одном месте пятнышко крови, какое-то нечеловеческое чтение поэмы – произвело душераздирающее впечатление».

В чём же заключается перформанс? Приведём для сравнения сцену из горьковской пьесы «На дне»:

* «Есенин передавал мне, что, будучи в Италии, он посетил Максима Горького. Читал ему “Черного человека”. Поэма произвела на Горького большое впечатление. Горький прослезился». – Грузинов И.В. С. Есенин разговаривает о литературе и искусстве. // Собрание сочинений. / Составление, подготовка, комментарии и послесловие – О.В. Демидов. – М.: Водолей, 2016. С. 325.

** «[Есенин] прочел всю “Москву Кабацкую” и “Черного человека”. Я сказал: «“Москва Кабацкая” – прекрасно. Такой лирической силы и такого трагизма у тебя еще в стихах не было... умудрился форму цыганского романа возвысить до большого, очень большого искусства. А “Черный человек” плохо... совсем плохо... никуда не годится». – “А Горький плакал... я ему “Черного человека” читал... слезами плакал...”» – А.Б. Мариенгоф. Роман без вранья. // Собрание сочинений в 3 т. 4 кн. – М.: Книжный клуб «Книгобек», 2013. – Т. 2, кн. 1. С. 619.

Т а т а р и н (*садится на нарах и качает свою больную руку, как ребенка*). Старик хорош был... закон душе имел! Кто закон душа имеет – хорош! Кто закон терял – пропал!..

Б а р о н. Какой закон, князь?

Т а т а р и н. Такой... Разный... Знаешь какой...

Б а р о н. Дальше!

Т а т а р и н. Не обижай человека – вот закон!

С а т и н. Это называется «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»...

Б а р о н. И еще – «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями»...

Т а т а р и н. Коран называет... ваш Коран должна быть закон... Душа – должен быть Коран... да!

Через такой узнаваемый жест, на что и обращает внимание Матвей Ройзман, Есенин создаёт перформанс с чтением «Чёрного человека» – поэмы, в которой лирический герой, собственно, и теряет «закон» в душе, что и приводит к «шее ноги» и полному распаду личности.

Узнал бы Горький собственного персонажа? Думается, узнал бы – и по-новому взглянул на творчество имажинистов. Но история сослагательного наклонения не знает. Ей доступны только ещё не раскрывшиеся микро-сюжеты.

Расскажем ещё об одном.

О «мемуарах» Анатолия Мариенгофа

Появление такой книги, как «Роман без вранья», – это очень сложный и путаный процесс. Когда заходит речь об этом тексте, многие выпускают из внимания историко-культурный контекст.

Для начала стоит вспомнить несколько ключевых эпизодов.

В 1926 году Мариенгоф выпускает две книги – сборник стихов «Новый Мариенгоф», в котором есть отдельный раздел «Сергею Есенину», и небольшую брошюрку «Воспоминания о Сергее Есенине».

Следом появляется истерическая статья Бориса Лавренёва «Казнённый дегенератами», где ленинградский писатель обвиняет имажинистов (и, в частности, почему-то Мариенгофа, с которым последние пару лет Есенин практически не контактировал, и Кусикова, который давно эмигрировал) в смерти поэта.

Мариенгоф попытался выйти на контакт с Лавренёвым и судиться с ним, но дело заглохло в канцелярии Всероссийского союза поэтов. Тогда и появился «Роман без вранья» – во многом как ответ на статью Лавренёва. Природа этого текста особенная: он стоит на стыке художественной литературы и non-fiction. Грубо говоря, это роман, основанный на реальных событиях. Очередная имажинистская попытка совместить несовместимое.

Как всю эту историю с книгой Мариенгофа воспринимал Горький? Попробуем показать это через три письма.

Первое адресовано Валентине Ходасевич, художнице, племяннице известного поэта (от 13 января 1926 г.): «Дорогая моя Купчиха, – умоляю: пришлите мне статью Бориса Лавренева о Есенине. Очень благодарю Вас за присланные вырезки; буду благодарить еще больше за Лавренева, ибо человек этот меня интересует. Есенина, разумеется, жалко, до судорог жалко, до отчаяния, но я всегда, т. е. давно уже думал,

что или его убьют, или он сам себя уничтожит. Слишком “несвоевременна” была голубая, горестная, избитая душа его».

Горький не просто интересуется постесенинской историей – он намеревается писать повесть. Об этом – в одном из следующих писем, адресованных той же Ходасевич: «Все, что написано о С. Есенине, – я – благодаря главным образом Вам – имею. Все, что напишут – буду иметь. Мне чудится, что, кончив роман, я попробую написать повесть о поэте, т. е., вернее, о гибели поэта. Нечто очень дерзкое и фантастическое».

Пока собирается материал*, пока пишется повесть, в СССР выходят многочисленные мемуары, мемориальные заметки в печати и целые сборники «Памяти Есенина». Появляется, наконец, и «Роман без вранья».

Горький в письме Д.А. Лутохину даёт нелестную характеристику как автору, так и тексту: «Не ожидал, что “Роман” Мариенгофа понравится Вам, я отнёсся к нему отрицательно. Автор – явный нигилист; фигура Есенина изображена им злостно, драма – не понята. А это глубоко поучительная драма, и она стоит не менее стихов Есенина. Никогда ещё деревня, столкнувшись с городом, не разбивала себе лоб так эффектно и так мучительно. Эта драма многократно повторится. Есенин не болел “дурной болезнью”, если не считать таковой его разрыв с деревней, с “поэзией полей”. Если б он мог воспевать деревню гекзаметром, как это делает Радимов, мы имели бы Кольцова в кубе, но будущий “великий русский художник”, которого, мне кажется, – уже не долго ждать, – не получил бы изумительно ценного материала для превосходного романа».

Настоящий “великий русский художник”, как мы уже знаем, собирал этот материал для повести. Таковой не случилось. Наверное, к счастью. Потому что мы имели бы ещё один неудобоваримый текст о рязанском Леле или «красногривом жеребёнке», попавшем под «чугунный поезд», что далеко от истины.

Шершеневич и «Бич»

Ряд следующих микросюжетов касается приездов Горького в СССР.

В мае 1928 года он после долгого перерыва возвращается на родину. Пока не насовсем, а строго для того чтобы с помпой отпраздновать собственное шестидесятилетие. В периодической печати возникает ряд заметок и статей, чествующих юбиляра. На этом фоне выделяется журнал «Бич», который отвёл под Горького целый номер.

Там же публикуется стихотворение Вадима Шершеневича – «Моя просьба к Горькому». Так как текст девяносто лет не переиздавался, стоит его привести полностью.

* При этом Горького интересуют во многом стихи Есенина, посвящённые Дункан. Таковых нет или практически нет. Есть только гипотезы литературоведов об образах, встречающихся в этих текстах. Самое распространённое представление о стихах, которые должны бы быть посвящены Дункан, – это тексты наподобие «Сыпь, гармоника! Скука... Скука...», то есть с обценной лексикой. Так их воспринимает и Горький. Обращаясь к Ходасевич, он акцентирует на этом внимание: «Так что, списывая стихи Есенина, Вы не смущайтесь, я тоже слова эти знаю издревле». Какого бы было удивление Горького, если б он узнал, что тот же текст «Сыпь, гармоника! Скука... Скука...» посвящён... Мариенгофу.

Хорошо ли, плохо ли, но вымучу
До мозоли мозгов, до мозоли руки
Приветствие Алексею Максимычу!
Ведь мы как-никак с ним земляки,
Он с Волги, я тоже с Волги;
Значит, дело идёт почти о долге.

Всем ясно до невероятно простого:
Наш Век – век Горького и Толстого*,
Толстой, как упрямый граф прошлого поколения,
Не особенно дожидался
Ни моего совета, ни моего стихотворения
И совершенно самостоятельно скончался.

Алексей Максимыч! Я надежду лелею
(Я не писал на авось бы!) –
Что Вы хоть издалека, хоть в день юбилея
Выслушаете мою скромную просьбу.

В гимназическую пору, когда такое коленце
Выкидывали дореволюционные просвещенцы:
У нас, мол, такой учительский псих,
Что к завтраму выучите от сих и до сих! –

Был у нас учитель словесности,
Даже после смерти не достигший известности
(А уж после смерти, особенно после столетнего тления,
Молва даже из идиота делает гения).

Этот учитель, лишённый и спичечного пламени,
Перевёл на русский Песнь о Калевале;
И все гимназисты на его экзамене
На этой Калевале околевали.

Зубрили мы: ругает у Державина Зевс кого,
Сколько страниц у Достоевского,
И мечтая о новой прозе, – покедова
Ровно год жевали мы Грибоедова.

В конце Садовника – петитом непроходимым:
Десять строк о Чехове и несосветимый бред
Над Андреевым, над Горьким Максимом
Да Бальмонт (декадентский-с поэт!)

Однажды спросил я учителя о Мальве
(Ведь Мальвой одной уж Горький велик!) –
Стал учитель каким-то розовопалевым,
А потом сизобурмалиновым стал старик.

– Я надеюсь, Шершеневич, что это шутка!
Вам ещё рано такое-сякое читать!
В Мальве описана, как бы сказать, «проститутка»...
(Учитель не рискнул короче сказать!)

* Лев Толстой возникает тут неслучайно. Журнал «Бич» в том же 1928 году уже выпускал тематический «толстовский» номер.

И шли вы, Алексей Максимыч, в параграфе неслабом:
 – Талантлив, но пишет, увы! О похабном!
 В результате:
 Сколько рассовано нами было проклятий
 Под чтение песни о Гайавате!

От Державина, Пушкина, Тургенева, Толстого,
 От Лермонтова и Карамзина.
 Тошнило от каждого, даже дубину записного!
 А к Горькому влекла новизна.
 И учили вас Пети, Сони и Коли,
 Где угодно, но только не в школе!

Вы, расцветший на виду поколений,
 Вы, о котором слава звенит, –
 Вы прошли от нижней до самой верхней ступени,
 И теперь уперлись – извините – в зенит.

Но даже с годами перемены слабы
 В школе второй и иных ступеней.
 Всё также учат подростышей шкрабы*,
 Мусоля отрывки из повестей.

Литература продвинулась на сотню листиков
 И, как ненавидели Пушкина подчас,
 Скоро орава весёлых гимназистиков
 Ненавидеть будет и Вас.

Максим Горький! От гимназической тысячной артели
 Разрешаю себе Вас попросить:
 Пишите так, чтоб учителя краснели
 И не смели
 Заставлять Вас в школах учить!

Алексей Максимыч! Вы – из Нижнего, я из Казани!
 Как земляк, вам желаю литавров и слав.
 Вот моя просьба и моё указанье:
 По па да й те в и с т о р и ю,
 В учебники не по п а в!

Стихотворение шероховатое, как пишет сам Шершеневич, «до мозоли мозгов, до мозоли руки». И тем не менее оно резко выделяется на общем фоне своей неприглаженностью – и стилистической, и социокультурной, и даже политической. На соседних страницах журнала «Бич» появляются заметки и фельетоны, но в них скорее доброе выслушивание, нежели тонкая ирония и сарказм.

Позиция Шершеневича, который всю жизнь по-футуристически бился с любыми авторитетами (с любым авторитаризмом), ясна: ещё чуть-чуть и Горький станет памятником самому себе. И необходимо сделать всё, чтобы этого не случилось. Предупреждение, напомним, написано за несколько до лет переименования Тверской улицы в Москве – в улицу Горького, Нижнего Новгорода – в город Горький и т. д. Шершеневич видел, к чему всё это может привести.

* Шкраб – сокращённо от «школьный работник».

В том же номере появляется небольшой экспромт «Почти по Горькому» – небольшая вариация на «Песню о Соколе» – о советском чиновничестве:

Ползя тихонько от зама к заву,
Умом не блещет и глуп он в меру,
И совершает прекрасно, право,
Другим на зависть свою карьеру.

И поднимаясь, хоть и не сразу,
Чинов достигнет и славы тоже,
Лишь воплощая слова рассказа:
– Рождённый ползать, с л е т е т ь не сможет!

Эпиграмма на Горького

После окончательного переезда «буревестника» и «обронзовения» какой-то злостный шутник пишет эпиграмму. Она называется «Барон из Сорренто». Приведём её полностью:

«В деревне некогда барон
Жил с деревенской простотою»
Дедушка Крылов

В Сорренто некогда барон
Жил с пролетарской простотою:
Хранил он в банке миллион
И поторговывал собою.

Он летом – ярый коммунист;
К зиме ж, как заяц, вдруг белеет.
Зимою – преданный фашист.
А к лету снова багровеет.

Весною здесь, зимою там, –
И всюду денежки собирает...
Вот у кого учиться нам,
С кого пример брать подобает!..

Дело принимает серьёзный оборот. 22 мая 1933 году Бонч-Бруевич пишет об этой анонимной эпиграмме – напрямую Сталину: «Дорогой Иосиф Виссарионович, на днях мне по почте прислали пасквиль на Горького, подлинник которого я отослал при особом письме т. Г.Г. Ягоде. <...> Полагаю, что следовало бы сделать самое энергичное распоряжение в ОГПУ для изловления этих негодяев, которые позволяют себе рассылать по нашей почте такие гнусности на Алексея Максимовича».

При чём здесь имажинисты?

Был в их рядах молодой человек, который как раз прославился написанием басен и подобных эпиграмм, – это, конечно, Николай Эрдман. За этот ли текст, за другой ли, но поэт был арестован 11 октября 1933 года в Гагре. От письма Бонч-Бруевича до ареста Эрдмана прошло всего лишь 4,5 месяца.

Принадлежит ли этот текст Эрдману – вопрос. Никаких подтверждений и быть не может. Рукописей с «Бароном из Сорренто» не сохранилось. Эпиграмма ходила в списках. Да и небезопасно было раскрывать себя.

Однако молва приписывает текст именно Эрдману. И толков об этой ситуации возникает много. И обсуждается всё это долгое время. Об этом мы узнаём из дневника другого имажиниста – Рюрика Ивнева. Там есть запись: «19 мая [1931 г.]. Много разговоров вызывает приезд Горького. Эрдману (Коле) приписывают какую-то злую эпиграмму насчет приезда Горького в СССР. А.Д. Головня дал мне стих Эрдмана “Самоубийца”, стих с сомнительным смыслом».

Есть, правда, один нюанс.

Летом 1925 года Николай Эрдман при активном участии Луначарского отправился в командировку по Германии и Италии. Заезжал на две недели к Горькому. В августе он отчитывался родителям: «Из Рима мы решили ехать в Сорренто и на Капри. Там мы будем отдыхать и там живёт Горький, а говорят, что Горький – это самое интересное в Италии».

Из другого письма родителям: «Каждый вечер бываем у Горького. Приходится согласиться с Райх, что в Италии самое интересное – русский Горький, может быть, потому что у них нету русской горькой. Читал он мою пьесу и вызывал меня для беседы о ней. Много осуждал, но больше хвалил...»

Пьеса, о которой идёт речь, – «Мандат». В письмах – лирика. Да и особенно много не расскажешь. Формат такой. Много позже, сорок лет спустя, Эрдман вспоминал об этой встрече в отдельной мемуарном очерке – правда, также коротко и строго по делу:

«Алексей Максимович в просторном светло-сером костюме сидел за столом. На столе лежала моя пьеса, рядом с ней лист бумаги, на котором, как я догадался, были выписаны номера страниц.

– Мне пьеса понравилась, – сказал Горький. – Хорошая пьеса. Умно. Смешно. Вот у вас там жилец ходит в горшке из-под лапши. Это Мейерхольд придумал?

– Нет, это я, я придумал.

– Это вы плохо придумали. А вот разговаривают у вас люди интересно. Язык хороший. Только почему вы пишете... – и Горький, заглядывая в листок, стал перевертывать страницы пьесы и читать фразы, которые он отметил как неудачные. Отметок было много, и я чувствовал, как от моего хорошего языка почти ничего не остается.

– Вы пробовали когда-нибудь писать рассказы?

– Нет.

– И не пробуйте. Пишите пьесы. Вот я ни одной хорошей пьесы не написал. А вы, по-моему, напишете. Обязательно напишете. Потому что вы драматург. Настоящий драматург.

Горький встал и пожал мне руку. Я ушел окрыленный».

То есть всё как будто говорит о том, что Николай Эрдман в 1930-е годы никак не мог написать злую эпиграмму. Однако ж статус баснописца и первого остряка Москвы сделал своё дело.

«Заблудившийся» трамвай

В 1928 году Вадим Шершеневич пишет пьесу «Ошибка товарища Николая» (второе название – «Нельзя прощать») – острую, едкую и саркастическую (то есть написанную абсолютно в духе автора). Влади-

мир Дроздков ставит её в один ряд с «Самоубийцей» Николая Эрдмана. Пьесы действительно похожи – хотя бы авторской смелостью назвать все вещи своими именами и показать идиотические ситуации, в которые попадают герои старого дореволюционного мира, оказавшиеся в государстве рабочих и крестьян.

Есть главное действующее лицо – Фёдор Завьялов, бухгалтер, партийный человек, скрывающий своё жандармское прошлое. Есть одна деталь, по которой его могут разгадать, – это фотокарточка. Её-то и находит молодой человек – Николай Лазарев, тоже партиец, его бросают закрывать должностные дыры, но видно, что этот юноша многого может достичь.

Когда «раскрывается» Завьялов, Лазарев «совершает ошибку» – доверяет, не звонит в ГПУ, не сдаёт бывшего жандарма, а тот, в свою очередь, строит многоходовой план мести. Как итог – юноша погибает.

Есть Мария Семёновна Рыбникова – тихая набожная купчиха, сумасшедшая старушка; её сын Пётр Рыбников – активный псих (так у Шершеневича); её дочь Елена Завьялова – девушка, мечтающая учиться в вузе, но переживающая из-за своего происхождения.

Однако это только первый план текст. Название пьесы позволяет по-разному интерпретировать авторскую задумку: кого понимать под товарищем Николаем? Есть несколько вариантов.

Николай Лазарев – это просто, понятно и не так интересно.

Другой вариант – Николай Рыбников, герой, который присутствует в пьесе номинально: о нём постоянно говорят, он купец, действуют в комедии его жена (после смерти мужа сошедшая с ума и пишущая письма давно расстрелянному императору) и его дети (тоже по-своему сходящие с ума: сын Пётр удавил собаку и до сих пор нет-нет да и «видит» её, и пытается играть с воображаемым другом; дочь Елена выходит замуж за партийца Фёдора Завьялова, а когда выясняется, что он «перебежчик», впадает в панику и совершает ряд безумных поступков и в итоге, когда её исключают из вуза, решает отравиться). Его ошибка в том, что рано умер и не уберёг семью от распада, не вразумил жену и не успокоил её, ничему не научил детей.

Третий вариант – Николай II, не удержавший власть и позволивший случиться революции. Из-за него – Гражданская война и её последствия. Из-за него – всё это безумие, которое разворачивается в пьесе. Именно ему Мария Семёновна Рыбникова пишет жалобы, которые, конечно, останутся без ответа.

Четвёртый вариант появляется из образа большой страны, представленной в виде несущегося через время и пространство трамвая.

Е л е н а. Ты, Пётр, не видишь этой жизни. Трудно нам в неё пробраться. А я силком лезу. И есть место, находится. Знаешь, как в трамвае. Уж на что кажется полным-полно, а повиснешь на подножке, держишься, а там со ступеньки на площадку, а потом, как кондуктор деньги возьмёт, тут уж держишь себя равноправным козырем, в самый вагон лезешь, да ещё других не пускаешь. И мчится трамвай быстро, быстрехонько...

П ё т р. А куда идёт-то трамвай, подумали ли?

Е л е н а. Куда надо, Пётр, туда и идёт. К цели идёт трамвай. К большой цели, еле узнаваемой.

П ё т р. Никуда не идёт трамвай, сестрица моя милая. На месте стоит трамвай.

Мы имеем дело с аллюзией на «Заблудившийся трамвай» Николая Гумилёва:

Как я вскочил на его подножку,
 Было загадкой для меня,
 В воздухе огненную дорожку
 Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей темной, крылатой,
 Он заблудился в бездне времен...
 Остановите, вагоновожатый,
 Остановите сейчас вагон.

Образ, заданный Гумилёвым, на протяжении всего XX века будет проявляться у советских писателей. Можно вспомнить хотя бы Михаила Булгакова и Бориса Пастернака с их главными текстами – «Мастером и Маргаритой» и «Доктором Живаго». Вот и у Шершеневича возникает этот образ.

Появляется в пьесе и горьковский мотив: человек звучит гордо. Только вот ставится под сомнение. Фёдор Завьялов, открывшийся своей жене (что он бывший жандарм), угрожает ей:

Фёдор. А только знай: никуда ты не уйдёшь. Ты думаешь, что я со страху, сдуру тебе всё выболтал? Ай нет! Фёдор Завьялов всегда знает, что он делает. Мы теперь только крепче связаны. Моя смерть и твоя гибель, Елена, будет. Не оторвёшься от меня. Не позволю.

Елена. Захочу, так оторвусь. Двигаться надо. Двигаться.

Фёдор. А ты двигайся... Только не больше, чем верёвочка позволит.

Елена. Верёвку оборвать можно.

Фёдор. Я крепкую свил. Надорвёшься, а не разорвёшь.

Елена. Нет такой, чтобы не разорвать. Канаты люди рвут. Цепи разрывают.

Фёдор. Какой человек рвать будет. А ты что? Ты разве настоящий человек?

А позже, когда Николай Лазарев «открыл» Фёдора Завьялова (молодой партиец – партийца «со стажем»), последний уже теряет всё человеческое и, стоя на коленях и целуя руку с револьвером, просит повременить и не раскрывать тайну. Молодой человек соглашается. И тут возникает другой горьковский мотив: рождённый ползать – летать не может.

Николай. И я делаю то, что мне не надо делать... Я сознаю свою ошибку.

Фёдор. Это не ошибка, не ошибка. Это человеческая правда.

Николай. Слушайте, вы, ничтожество! Я даже не могу назвать вас человеком.

Фёдор. И не надо... Не надо... Я ведь не человек. Я так... Плевок...

(Николай уходит.)

Фёдор. <...> Я человек. И мы ещё поборемся. Уничтожу и разорву. Вот так. Месяц срок. Целый месяц. Это много. Фёдор Завьялов, честное слово, это много. Только не надо отступать. Никогда. Ни перед кем. Я стоял на коленях, я плакал. Тем хуже для него. Я целовал ему руки. Ну, что ж! Тем хуже для него, тем хуже.

И таким образом из пьесы получается достаточно оригинальная фантазмагория. Тем не менее к постановке её не приняли. Не запретили, но и не разрешили. Так часто бывало. Сегодня в архивах Главреперткома хранятся тысячи и тысячи неразрешённых к постановке, но по-своему удивительных пьес.

Шершеневич не сдавался. Сначала пытался переделать пьесу под сценарий фильма. Когда и тот не взяли в работу, решил писать Горькому. Уж «буревестник»-то должен был понять весь масштаб замысла. Однако Алексей Максимович ответил – быстро, лаконично и обескураживающе:

«...Лично я не нашёл и не почувствовал в ней этих достоинств. В первом акте она вызвала у меня впечатление плоской и грубо сделанной шутки. Старуха Рыбникова, которую вы рекомендуете “сумасшедшей” – неудачный гротеск, и таков же её сын <...> Завьялов, которого вы рекомендуете “партийцем со стажем”, – фигура тусклая и невероятная, она даже и мелодраматически неудачна – слишком “наивен этот Ваш злодей”. Основным качеством всех героев пьесы является их поразительная глупость и социально-политическая безграмотность. Трудно поверить, что такие люди существуют, во всяком случае, Вам не удалось убедить меня, читателя, в факте бытия людей, оформленных так, как Вы оформили их. Я не стану распространяться, скажу просто: пьеса всячески неудачна, и есть в ней что-то, отталкивающее меня. Я думаю, что люди, которые препятствуют её обнародованию, действуют правильно».

Удачна ли пьеса, нет ли – каждый из нас может решить, благо, что её напечатали.

Звучит ли гордо человек?

Тем же вопросом, который задал Горький и который поднимался у Шершеневича, – звучит ли человек гордо? – занимался и Мариенгоф. На протяжении всей жизни он обращался к нему – и всякий раз получались стихи.

Приведём для начала отрывки и полные тексты, чтобы увидеть всю картину целиком:

Пятнышко, как от раздавленной клюквы.
Тише. Не хлопайте дверью. Человек... –
Простенькие четыре буквы:
– умер.

(1918)

Кричу: «Мария, Мария, кого вынашивала! –
Пыль бы у ног твоих целовал за аборт!...»
Зато теперь: на распеленутой земле нашей
Только Я – человек горд.

(«Твердь, твердь за вихры зыбим», 1918)

Человек. Красивый, какой красивый –
– месиво!
Танки кости, как апрель льдинки.
Досыта человеческой говядины псы...

(«Кондитерская солнц», 1919)

«Что прикажете?»
– Кто вы такой?
«Мы-с: человек».

– Что это значит?
 «Человек, по-нашему, официант».
 – Очень мудрый ответ, трансцендентальный,
 Поэтому:
 Будьте добры, котлетку маршаль.

(«Ночное кафе», 1924)

Жизнь пробежав с горы на лыжах,
 Нехитрый понял я закон:
 Чем ближе человек к животному, чем ближе, –
 Тем и счастливей, бедный, он.

(1943)

– Эй, человек, это ты звучишь гордо?
 И – в морду! в морду! в морду!

(1943)

«Эй, человек!..»
 И человек летит со счетом.
 И человеку платит этот век
 С широкой щедростью из пулемета.

(1943)

В мирное время человек в лучшем случае обращается в предмет мебели, в худшем – в ничто. Теория Раскольникова в действии. И гордости никакой тут и в помине нет.

Человек превращается в мясо, в месиво, в ничто – всякий раз, как разгорается война. Это видно по датам написания стихотворений: 1918, 1919, 1943. Чаще всего мы имеем дело именно с короткими текстами в четыре, а то и в две строки. Больше писать – невозможно. Не говорить об этом вообще – подло. И даже Теодор Адорно с возможными варварскими стихами после Освенцима остаётся в стороне. Потому что поэзия есть дыхание жизни. Нет её – нет человека. Поэтому Мариенгоф в самое трудный час находит время для пары строк.

О встречах с М. Горьким и М.Ф. Андреевой

Напоследок приведём небольшой мемуарный очерк, написанный Анной Никритиной, женой Мариенгофа. Он должен был печататься, видимо, в одном из сборников под названием «Встречи с прошлым». Но так и не был опубликован.

Здесь Никритина рассказывает о своём брате-художнике и о его связях с Горьким.

Киев... Зима (1914–1915 годы) уже военная. У нас играет Мария Фёдоровна Андреева. Но мы – дети – в театр ещё не ходим. Я учусь в гимназии, брат – в художественном училище. Он ещё занимается живописью у Александры Александровны Экстер. Левая художница. Приехала в Киев из Москвы, где работала с Таировым в Камерном театре. В 1917 году в этом театре А.А. Экстер была художником спектакля «Саломея» Оскара Уайльда. Мастерская А.А. Экстер в Киеве скоро сделалась культурным центром для передовой молодёжи того времени. Учениками А.А. Экстер были Александр Тышлер, брат и сестра Гриша и Люба

Козинцевы (теперь известный кинорежиссёр Григорий Михайлович Козинцев и Любовь Михайловна Эренбург). Занимался у А.А. Экстер и Серёжа Юткевич, теперь тоже один из ведущих режиссёров советского кино.

Когда 26 октября 1914 года в Киев на короткое время приехал к М.Ф. Андреевой М. Горький, он, конечно, посетил мастерскую А.А. Экстер, чтобы познакомиться с талантливой молодёжью. Особое впечатление произвели на М. Горького вещи моего брата Сёмы Никритина. М. Горький настолько ими увлёкся, что предложил брату ехать с ним в Питер. М. Горький и Сёма выехали в Петроград из Киева 17 ноября 1914 года. Так как у брата не было права жительства, то Алексей Максимович поселил его у себя на квартире на Кронверкском проспекте, где брат прожил довольно долго, а потом его переправили в Москву, где Сёма стал брать уроки живописи у Л. Пастернака, работал вместе с Б.Л. Мчедловым во Второй студии Московского Художественного театра.

Официальным днём основания Второй студии Московского Художественного театра считается 24 ноября 1916 года – день премьеры оформленного С. Никритиным спектакля «Зелёное кольцо» Зинаиды Гиппиус. Тогда же С. Никритин выступил с картиной «Семейный портрет» на выставке «Современная живопись» (картина эта была приобретена Е.П. Пешковой).

М. Горький и М.Ф. Андреева не переставали заботиться о брате. А я в это время поддерживала связь с Марией Фёдоровной. Она очень баловала меня, часто зазывала к себе в гости, отвозила домой на саночках. Называла себя моей приёмной матерью. Однажды, придя домой, я увидела пианино. Это Мария Фёдоровна, узнав, что я занимаюсь музыкой и не имею дома инструмента, прислала мне взятое напрокат пианино сразу на пять месяцев.

Сёма очень не любил писать писем, и все новости о нём мы узнавали с мамой обычно об Алексее Максимовиче и о Сёме.

Вскоре Мария Фёдоровна почему-то уехала из Киева, не доиграв сезон. Наша связь с ней не порвалась всю жизнь. Мария Фёдоровна очень аккуратно отвечала на мои письма.

С Алексеем Максимовичем я, по существу, не была знакома. Но как-то, уже будучи взрослой (мне было лет девятнадцать), я вместе с братом пошла в гости к Марии Фёдоровне и Алексею Максимовичу, который тогда приехал в Москву. Помню, что он очень мне понравился своей мягкой походкой, совсем неслышной, немножко иронической усмешкой. Я тогда уже потянулась в актрисы и, конечно, в Камерный театр, как самый интересный и свежий. А Мария Фёдоровна всё:

– Зачем «Камерный»? Только изломает тебя. Он нехорош как таковой...

И всё не могла высказаться, что же в нём нехорошего.

А Алексей Максимович посмеивался:

– Да что ты, Маша, всё «таковой да таковой». А что таковой, ты скажи...

Так на этом и оборвалось.

Вот и всё моё знакомство с Алексеем Максимовичем.

Павел БАСИНСКИЙ

Родился в 1961 году в г. Фролово Волгоградской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

Литературовед, критик, прозаик. Составитель сборников произведений Максима Горького, Леонида Андреева, Осипа Манделъштама, Михаила Кузмина; антологий «Деревенская проза», «Русская проза 1950–1980 гг.», «Проза второй половины XX века», «Русская лирика XIX века». Автор многих книг, в том числе «Лев Толстой: бегство из рая» (М., 2010), «Страсти по Максиму» (М., 2011), «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой» (М., 2013).

Лауреат премии «Большая книга» (2010), премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2014). Живет в Москве.

СТРАННЫЙ ГОРЬКИЙ

По-настоящему Горького никогда не любили. Именно в этом его главная трагедия. Каким-то странным холодом веет от всей его шумной биографии, где было столько разного, но, кажется, не нашлось места ничему «слишком человеческому», ничему такому, о чем можно было бы вспомнить со слезой или улыбкой.

Каждое событие в этой биографии слишком значительно, чтобы сойти просто за милую случайность, без которой жизнь человека теряет очарование. Вот Владислав Ходасевич писал о странной нелюбви Горького к правде, доходившей до смешного... А мы – мы тотчас вспоминаем, каким несчастьем это обернулось для страны и для писателя в конце 20-х...

Последние месяцы, дни и часы Горького наполнены какой-то жутью. От этого невольно стараешься отвести глаза, если еще осталось в тебе чувство духовного сохранения. Какие-то «личности», Ягода, Сталин, Молотов, etc., возле постели умирающего русского писателя пьют шампанское – бр-р-р! – это не так страшно, как именно противно душе. Нижегородская подруга Горького Е. Кускова писала об этом: «Но и над молчаливым писателем... они стояли со свечкой день и ночь...» Он и сторожили его последний вздох. «Мы вместе. Ты наш...» И опустили руки.

Наивно думать, что возвращение Горького в СССР и дальнейшие события оказались следствием чего-то определенного: какой-то «ошибки» или какого-то «подкупа»; что «история с чемоданом», в котором хранился тайный архив писателя, прольет свет на логику «конца Горького». Все ведь и без «чемодана» ясно и, может быть, потому непонят-

но. Дело в том, что в эмиграции Горькому не было места. Это хорошо понимали и он сам, и его современники. Опять же Кускова писала: «Горький – знатный эмигрант, мог бы быть очень богатым, если бы он был в силах стать эмигрантом».

Но пойдём дальше и подумаем: а было ли ему место в СССР (скажем, в «буче, боевой кипучей» молодых советских писателей или на скорую руку сшитой харизме сталинской власти)? – мы все-таки не найдем точного ответа и придется оставить его «на потом», когда, мол, «все будет известно». Пожалуй, это главная особенность биографии Горького: все линии его судьбы не имеют конца, обрываются в черную пустоту, как и сюжет его последнего романа, который читаешь, читаешь и кажется: вот-вот схватишь его смысл... но нет... и наконец плюнешь... и оставишь «на потом»...

Странная все-таки была фигура. Самое начало его жизненного пути отмечено роковой печатью. В возрасте трех лет в Астрахани заболел холерой и заразил ею отца (симпатичного, по воспоминаниям, человека), который в конце концов и умер, словно подарив сыну свою жизнь. Мать, Варвара Васильевна, не имела на мальчика никакого влияния, не любила (считая причиной смерти обожаемого мужа) и потому, выйдя замуж второй раз, сдала его на руки бабушки и дедушки. Дед, Василий Васильевич Каширин, был богатым в Нижнем Новгороде человеком из бывших бурлаков (настоящий self-made man, отметил Е. Замятин), а бабушка, Акулина Ивановна, простой русской женщиной, «Ариной Родионовной»; она-то и наплатила мальчика необходимой энергией любви, без которой не может жить даже очень крепкая личность. Но Каширины быстро разорились, Варвара Васильевна умерла от чахотки, и Алешу отправили «в люди» (т. е. выставили за дверь).

«В люди» – это не просто так сказано. Если почистить за давностью лет потускневший смысл этого слова, обнажится первая черная дыра в созании Горького. Это необходимо понять по принципу о с т р а н н и я. Если можно находиться «в людях», значит возможно быть и где-то еще («в не людях» – что ли?). «Люди» – это не просто среда обитания, которую не замечаешь (как воздух), но именно – материальное пространство, в которое неизъяснимо заброшен мальчик по чь е й-т о в о л е. По чьей же? На этот вопрос нет ответа. Но в любом случае понятно, что это была недобрая воля, если девизом молодого человека стало: «Мы в мир пришли, чтобы не соглашаться...»

Существует народная притча о двух лягушках, которые попали в кувшин с молоком. Первая сложила лапки и утонула. А вторая колотила лапками до тех пор, пока молоко не превратилось в сметану и масло. Может, это не слишком приятно звучит, но Горький по натуре был именно второй лягушкой. Когда судьба выбросила его «в люди», он не смог внезапно окружившее его пространство, пока оно не сдалось и не дало «чужаку» места на грешной земле.

Вот хроника его странствий по Руси за 1891 год. Уходит из Нижнего Новгорода. Обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ. Посещает Казань, Царицын, живет на станции Филоново Грязе-Царицынской ж/д. Приходит в Ростов-на-Дону, работает грузчиком. Из Ростова идет в Харьков. Из Харькова – в Рыжовский (Куряжский) монастырь, затем в Курск. Из Курска идет в Задонск. Посещает монастырь Тихона Задонского. Идет в Воронеж. Возвращается в Харьков. Идет в Полтаву, из Полтавы через Сорочинцы – в Миргород. Посещает Киев. Идет в Николаев. Приходит в село Кандыбово Николаевского уезда. Избит мужиками.

После николаевской больницы идет в Одессу. Проходя Очаков, работает на добыче соли. Путешествует по Бессарабии, возвращается в Одессу. Идет в Херсон, Симферополь, Севастополь, Ялту, Алупку, Керчь, Тамань. Приходит на Кубань.

Арестован в Майкопе «как проходящий». Беслан, Терская область, Мухет. Снова арестован. Идет в Тифлис. Работает в мастерской.

В конце концов, судьба вынесла его «в газетчики», а потом «в писатели». И здесь он снова был чужаком. Как бы ни ласкала его на первых порах интеллигенция, какие бы банкеты ни давались в Петербурге в его честь (где тосты поднимали не кто-нибудь, но П.Н. Милюков, П.Б. Струве, В.Г. Короленко, М. Туган-Барановский); они все-таки держали его за «гостя»; правда, за такого, с которым нужно быть «ласковым», ибо Бог его знает, кто он, откуда и зачем. Л.Толстой сначала принял Горького за мужика и говорил с ним матом, но затем понял, что сел в лужу. «Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу, – жаловался он Чехову. – Горький – злой человек... У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу».

Горький платил интеллигенции той же монетой. В письмах к И. Репину и Толстому пел гимны во славу Человека: «Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека...»; «Глубоко верю, что лучше человека ничего нет на земле...» И в это же самое время писал жене: «Лучше б мне не видать всю эту сволочь, всех этих жалких, маленьких людей...» (это о тех, кто в Петербурге поднимал бокалы в его честь) Или: «Я видел вчера, как Гиппиус целовалась с Давыдовой. До чего это противно!»

Когда он была искренен? Никто не ответит на это, положаруку на сердце. Леонид Андреев, уже будучи в эмиграции, вспоминал, как на квартире писателя Н. Телешова в Москве собирались И. Бунин, Серафимович, В. Вересаев, Б. Зайцев и другие, объединившись в кружок под названием «Среда». Иногда приезжали из Петербурга Горький и Шалапин. И вот в отсутствие Горького всегда заходил разговор о нем и его искренности. Спорили до хрипоты. Однажды Вересаев не выдержал и сказал: «Господа! Давайте раз и навсегда решим не касаться проклятых вопросов. Не будем говорить об искренности Горького...»

«Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он прошел... Лукою, лукавым странником», – писал В. Ходасевич. Это так же верно, как и то, что он был странником во всем и везде, будучи связанным и состоя в переписке с Лениным, Чеховым, Брюсовым, Розановым, Морозовым, Гапоном, Буниным, Арцыбашевым, Гиппиус, Маяковским, Панферовым, реалистами, символистами, священниками, большевиками, эсерами, монархистами, сионистами, антисемитами, террористами, академиками, колхозниками, гэлэушниками и... прочими людьми на этой грешной земле, где только ему не нашлось места. «Горький не жил, а осматривал...» – заметил Вик.Шкловский. А что ему оставалось делать?

Все в нем видели «Горького», не человека, но персонаж, который он сам же придумал, находясь в Тифлисе в 1892 году.

И он тоже, взирая на себя со стороны, видел «Горького», а не Пешкова. В конце концов именно «Пешков» оказался персонажем, то есть случилась крупная подмена, ибо никакого Горького на самом деле не было, а была только не совсем удачная «придумка» молодого уездного

литератора. Между тем уже в ранних письмах к жене (самых искренних) он писал о себе в третьем лице:

«Прежде всего Пешков недостаточно прост и ясен, он слишком убежден в том, что не похож на людей... Фигура изломанная и запутанная...» И это не простая рисовка, в этом есть что-то серьезное и даже страшное, как и в его психологической недоверчивости к людям, за которыми он целую жизнь наблюдал пустыми глазами.

Он похож на слепого из «Тамани», когда его бросили берегу моря с медным пятакон в руке. «И только?» Он не видел, но именно о щ у п ы в а л этот мир, поражаясь каждой его выпуклой детали, каждой трещине, каждому звуку; но самое главное, он искал к а к о г о - т о ч е л о в е к а, чтобы задать ему к а к о й - т о в о п р о с. Поэтому Горького так странно читать. Во всех его сочинениях есть что-то мучительное, психологически недостоверное, а вместе с тем вещественное изображение реальности иногда достигает гениальности, ну скажем, в «Климе Самгине». Безусловно это был великий художник из породы фламандских мастеров, и некоторые сцены в его последнем романе (например, чаепитие в доме Самгиных или Петербург после «кровавого воскресенья»), темнея со временем, приобретают особенную выразительность.

Юрий Трифонов как-то сравнил Горького с лесом, где есть и звери, и люди, и грибы, и деревья, и сучья. Но ему больше подходит сравнение в чуланом, в котором каждый предмет можно понять только на ощупь и лучше всего – с закрытыми глазами. В то же время Горький видел то, чего не могли видеть другие, в зрячем своем состоянии. Например, людей «наедине с собой». В 17-м томе его сочинений есть такие эпизоды, которые сначала вызывают улыбку, а затем – мистический холодок. Например:

«Отец Ф. Владимирский, поставив пред собою сапог, внушительно говорил ему:

– Ну, – иди!

Спрашивал:

– Не можешь?

И с достоинством, убежденно заключал:

– То-то! Без меня – никуда не пойдешь!»

Или:

«В фойе театра красивая дама-брюнетка, запоздав в зал и поправляя перед зеркалом прическу, строго и довольно громко спросила кого-то:

– И – надо умереть?»

Конечно, он любил человека, но «странную любовью». В ней было все: и мука, и страсть, и радость, и «рыданьице в голосе», говоря словами Набокова. И конечно, «Двадцать шесть и одна», или «Коновалов», или «Страсти-мордасти» навсегда останутся среди вершин русской сентиментальной прозы. Но все же это была любовь прохожего к ч у ж и м д е т я м. Зачем он вечно с л е д и л за людьми, не делая в этом между ними никакого различия (будь ты хоть извощик, хоть уголовник, хоть Лев Толстой)? Зачем сочинил странную сказочку о Человеке, в которую сам же первый и не верил, но как-то вынужденно повторял ее целую жизнь. Миф о Человеке, вообще говоря, весьма сомнителен; недаром страстный монолог в его защиту произносит карточный шулер Сатин и рисует при этом рукой в воздухе какую-то странную фигуру... (есть в «На дне» такая ремарка).

Что это за фигура? Современник писателя эмигрант И.Д. Сургучев не в шутку полагал, что Горький однажды заключил договор с дьяволом –

тот самый, от которого отказался Христос в пустыне. «И ему, среднему в общем писателю, был дан успех, которого не знали при жизни своей ни Пушкин, ни Гоголь, ни Лев Толстой, ни Достоевский. У него было все: и слава, и деньги, и женская лукавая любовь» (см. «Независимая газета», 26.03.93).

Может быть, и верно. Только это не нашего ума дело. А потому скажем легче: Горький был м а р с и а н и н о м. Вот почему его не любил Толстой, вот откуда все его «странности» и все его «маски» (от внешности мастерового до выражения лица Ницше, которое он примерил напоследок). Его крупные вещи напоминают талантливый отчет о служебной командировке на Землю. Все замечено, ничего не упущено; вот она, эпоха русской революции, «как живая». И отсюда же главный сюжет в биографии Горького – он сам, его муки (воистину – земные) и его трагедия. Это трагедия в о ч е л о в е ч е н и я. С болью и кровью... и все-таки не до конца.

Как же ему стало легко, когда его «отпустили». Как быстро он распрямил свои, допустим, крылья, чтобы окунуться в космическую бездну по дороге домой. Как было, наконец, чисто в его душе! И конечно, ученые мужи на его планете, прочитав отчет, все-таки его спросили:

- Видел человека?
- Видел?
- Какой он?
- О-о... Это великолепно! Это звучит гордо! Это я, ты, Наполеон, Магомет и другие вместе.
- А выглядит-то как?

И он нарисовал в воздухе рукой странную фигуру.

ТРАГИЧЕСКИЙ КОРДЕБАЛЕТ

В ночь, когда умирал Максим Горький, на казенной даче в Горках-10 разразилась страшная гроза.

Вскрытие тела проводилось прямо здесь же, в спальне, на столе. Врачи торопились. «Когда он умер, – вспоминал секретарь Горького Петр Крючков, – отношение к нему со стороны докторов переменялось. Он стал для них просто трупом. Обращались с ним ужасно. Санитар стал его переодевать и переворачивал с боку на бок, как бревно. Началось вскрытие... Потом стали мыть внутренности. Зашили разрез кое-как простой бечевкой. Мозг положили в ведро...»

Это ведро, предназначенное для Института мозга, Крючков лично отнес в машину.

В воспоминаниях Крюčkова есть странная запись: «Умер Алексей Максимович 8-го».

Но Горький умер 18 июня...

Вспоминает вдова писателя Екатерина Пешкова: «8 июня 6 часов вечера. Состояние Алексея Максимовича настолько ухудшилось, что врачи, потерявшие надежду, предупредили нас, что близкий конец неизбежен... Алексей Максимович – в кресле с закрытыми глазами, с поникшей головой, опираясь то на одну, то на другую руку, прижатую к виску и опираясь локтем на ручку кресла. Пульс еле заметный, неровный, дыханье слабело, лицо и уши и конечности рук посинели. Через некоторое время, как вошли мы, началась икота, беспокойные движения руками, которыми он точно что-то отодвигал или снимал что-то...»

«Мы» – это самые близкие члены семьи: Екатерина Пешкова, Мария Будберг, Надежда Пешкова (невестка Горького), медсестра Черткова, Петр Крючков, Иван Ракицкий – художник, живший в доме Горького. Для всех собравшихся несомненно, что глава семьи умирает. Когда Екатерина Павловна подошла к умиравшему и спросила: «Не нужно ли тебе чего-нибудь?» – на нее все посмотрели с неодобрением. Всем казалось, что это молчание нельзя нарушать.

После паузы Горький открыл глаза, обвел взглядом окружавших: «Я был так далеко, оттуда так трудно возвращаться».

И вдруг мизансцена меняется... Появляются новые лица. Они ждали в гостиной. К воскресшему Горькому бодрой походкой входят Сталин, Молотов и Ворошилов. Им уже сообщили, что Горький умирает. Они приехали проститься. За сценой – руководитель НКВД Генрих Ягода. Он прибыл раньше Сталина. Вождю это не понравилось.

«А этот зачем здесь болтается? Чтобы его здесь не было».

Сталин ведет себя в доме по-хозяйски. Шуганул Генриха, припугнул Крюčkова. «Зачем столько народу? Кто за это отвечает? Вы знаете, что мы можем с вами сделать?»

«Хозяин» приехал... Ведущая партия – его! Все родные и близкие становятся только кордебалетом.

Когда Сталин, Молотов и Ворошилов вошли в спальню, Горький настолько пришел в себя, что они заговорил о литературе. Горький начал хвалить женщин-писательниц, упомянул Караваеву – и сколько их, сколько еще появится, и всех надо поддержать... Сталин шутливо осадил Горького: «О деле поговорим, когда поправитесь. Надумали болеть, поправляйтесь скорее. А быть может, в доме найдется вино, мы бы выпили за ваше здоровье по стаканчику».

Принесли вино... Все выпили... Уходя, в дверях, Сталин, Молотов и Ворошилов помахали руками. Когда они вышли, Горький будто бы сказал: «Какие хорошие ребята! Сколько в них силы...»

Но насколько можно верить этим воспоминаниям Пешковой? В 1964 году на вопрос американского журналиста Исаака Левина о смерти Горького она отвечала: «Не спрашивайте меня об этом! Я трое суток заснуть не смогу...»

Второй раз Сталин с товарищами приехали к смертельно больному Горькому 10 июня в два часа ночи. Но зачем? Горький спал. Как ни боялись врачи, Сталина не пустили. Третий визит Сталина состоялся 12 июня. Горький не спал. Врачи дали на разговор десять минут. О чем они говорили? О крестьянском восстании Болотникова... Перешли к положению французского крестьянства.

Получается, что 8 июня главной заботой генсека и вернувшегося с того света Горького были писательницы, а 12-го – стали французские крестьяне. Все это как-то очень странно.

Приезды вождя словно волшебю оживляли Горького. Он как будто не смел умереть без разрешения Сталина. Это невероятно, но Будберг прямо скажет об этом: «Умирал он, в сущности, 8-го, и если бы не посещение Сталина, вряд ли вернулся к жизни».

Сталин не был членом горьковской семьи. Значит, попытка ночью вторжения была вызвана необходимостью. И 8-го, и 10-го, и 12-го Сталину был необходим или откровенный разговор с Горьким, или стальная уверенность, что такой откровенный разговор не состоится с кем-то другим. Например, с ехавшим из Франции Луи Арагоном. Что сказал бы Горький, какое мог сделать заявление?

После смерти Горького Крючкова обвинили в том, что он с докторами Левиным и Плетневым по заданию Ягоды «вредительскими методами лечения» «умертвил» сына Горького Максима Пешкова. Но зачем? Если следовать показаниям других подсудимых, политический расчет был у «заказчиков» – Бухарина, Рыкова и Зиновьева. Таким способом они якобы хотели ускорить смерть самого Горького, выполняя задание их «главаря» Троцкого. Тем не менее даже на этом процессе речь не шла о прямом убийстве Горького. Эта версия была бы уж слишком невероятной, ведь больного окружало 17 (!) врачей.

Одним из первых заговорил об отравлении Горького революционер-эмигрант Б. И. Николаевский. Якобы Горькому была преподнесена бонбоньерка с отравленными конфетами. Но версия с конфетами не выдерживает критики. Горький не любил сладости, зато обожал ими угощать гостей, санитаров и, наконец, своих горячо любимых внушек. Таким образом, отравить конфетами можно было кого угодно вокруг Горького, кроме него самого. Только идиот мог задумать подобное убийство. Ни Сталин, ни Ягода не были идиотами.

Доказательств убийства Горького и его сына Максима не существует. Между тем тираны тоже имеют право на презумпцию невиновности. Сталин совершил достаточно преступлений, чтобы вешать на него еще одно – недоказанное.

Реальность такова: 18 июня 1936 года скончался великий русский писатель Максим Горький. Тело его, вопреки завещанию похоронить его рядом с сыном на кладбище Новодевичьего монастыря, было по постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) кремировано, урна с прахом помещена в Кремлевскую стену. В просьбе вдовы Е. П. Пешковой отдать ей часть праха для захоронения в могиле сына коллективным решением Политбюро было отказано...

Николай ФОРТУНАТОВ

Публицист, критик, литературовед. Родился в 1931 году в Волгограде. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. Работал учителем русского языка и литературы, старшим преподавателем и доцентом, заведующим кафедрой русской литературы Нижегородского госуниверситета, где преподает в настоящее время. Профессор, доктор филологических наук.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

БЛИЗНЕЦЫ – АНТИПОДЫ?

Платон Каратаев Л. Толстого И Лука М. Горького:
концепция характера

Постижение русского национального характера обращает нас к классическим его формам, которые появились в России последней трети XIX века. Этот процесс был стремительный и плодотворный. Однако он не воспринимается современной аналитикой как единый духовный контекст, который возник и получил название Серебряного века, определяемого ныне все чаще как русское Возрождение. В отличие от западного это явление обусловлено не буржуазным взглядом на мир, а «всемирностью» национального опыта русского человека. Подобное положение указывает на системность этих процессов, требует сближения разных творческих подходов, выявления общего и особенного.

Публикация романа «Война и мир» была завершена в 1869 году, пьеса «На дне» была закончена летом 1902 года и в июле отправлена в издательство «Знание». После этого драма уже никогда не подвергалась авторской правке, чего нельзя сказать о романе: в первых его изданиях Толстой тщательно редактировал текст, внося в него множество исправлений.

Как это у него нередко случалось, совершенно эпизодическое лицо, бегло проходя в сюжете, чтобы никогда не вернуться в него, вдруг приобретает большое значение в общей художественной системе романа. Так было в эпизодах с капитаном Тушиным, с «дядюшкой» Ростовых. То же происходит с образом солдата Платона Каратаева. Этот герой появляется в последнем, четвертом томе романа, в момент, когда случайно уцелевший Пьер Безухов, пережив ужас смерти, только благодаря Каратаеву возвращается к жизни, к полноте ее ощущения, ее нового переживания. Но сам «спаситель» вскоре бесследно исчезает из романа.

Лука же – не просто центральный герой пьесы Горького, а стержневой образ, который проходит ее из конца в конец и в значительной мере формирует ее действие; сюжет без него немыслим. Между тем в авторских концепциях двух характеров бросается в глаза одна общая черта. И тот и другой вносят покой в души окружающих людей. Но осуществляют они это по-разному и результаты их усилий тоже различны. Это исходное для дальнейших рассуждений положение делает близких по художественно-семантическим функциям героев антиподами.

Платон Каратаев встречается Пьеру, когда тот после Бородинского сражения, свидетелем которого он оказался, и после расстрела «поджигателей», когда его опалила своим дыханием смерть, приблизившись вплотную, чувствует, что прежний мир его души оказался жестоко, безжалостно, безнадежно разрушенным и что возвратиться к вере в жизнь не в его власти. В этот момент и происходит его встреча в бараке для военнопленных с Каратаевым – и словно новый мир, на «новых и незыблемых основах воздвигается в его душе». Апатичный, рассеянный Пьер, обычно уступающий чужой энергии, неожиданно меняется: твердое, спокойное, оживленное, деятельное состояние готовности на собственные решения и на отпор овладевает им, и он впервые находит согласие с самим собой, получив те новые идеи, что дал ему Каратаев. Подобно тому как Наташа вспоминала часы, проведенные у дядюшки, видя в них счастливейшие минуты своей жизни, так для Пьера самым дорогим воспоминанием осталась встреча с Каратаевым и мысли о душевном покое и совершенной внутренней свободе, которые он получил от общения с этим человеком.

Между тем Каратаев – ничем не примечательное лицо. Этот большой солдат-крестьянин живет даже не под своим именем, а под прозвищами. Желая облегчить Пьеру общение с ним, Каратаев сразу называет ему себя: «Меня Платоном звать; Каратаевы прозвище». Под прозвищем имеется в виду фамилия, которую носит вся семья. Но у него есть и собственные прозвища; их два: в службе он Соколик (по его привычке начинать всякий разговор обращением со слова «соколик») в бараке для пленных он – «Платоша», так к нему обращаются все, используя его для посылок и мелких услуг, что безотказно им исполняется. Он почти машинально оперирует устойчивыми фразеологическими народными оборотами-клише, не вкладывая в них никакого смысла. Причины его необычайно сильного воздействия на Пьера заключаются в том, что Платон Каратаев оказался носителем двух особенно характерных свойств русского народного характера: доброты, желания помочь другому, кем бы он ни был, и безграничной веры в Божественное предопределение, живущее в душе русского православного человека.

Поговорки, пословицы, которыми насыщена его речь, всегда у него – те народные изречения, которые, высказанные кстати, невольно получают значение «глубокой мудрости». Они разных планов. Бытового толка: «Жена для света, теща для привета, а нет милей родной матушки»; «Солдат в отпуску – рубаха из порток»; «Уговор – делу родной братец»; «Без снасти и вша не убьешь»; «Потная рука таровата, сухая неподатлива»; или народно-философского склада: «Час терпеть, а век жить»; «Наше счастье, как вода в бредне: тянешь – надулось, вытащишь, ничего нету»; «Червь капусту гложет, а сам прежде пропадает»; «Рок головы ищет»; или (реже) остро социального толка: «Где суд, там и неправда»; «От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся» и т.п.

Но самое замечательное в этом простом человеке народной русской «почвы» – его мысль о жизни, предопределенной Божественной волей.

Слова молитвы, с которой начинается каждое его утро, нелепы, случайны, бессмысленны; вера, заключенная в них, – абсолютна, безгранична и не требует слов. Толстой, создавая образ Каратаева, вовсе не взял на себя грех славословия народу, в чем его обычно упрекают. Идея всепримиряющей «круглости» Каратаева, а он навсегда остался в памяти Пьера, отмечает автор, «самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго, круглого», – не привнесена в текст в виде рассудочного тезиса, а вытекает из выразительно очерченного всего его облика, из поведенческих и речевых ухваток персонажа, его мыслей, чувств и действий. Так что это не следствие, а причина, лежащая как раз в художественности изображения героя. Еще за несколько глав до того, как Платон Каратаев покинет роман, в нем появится Тихон Щербатый, полная ему противоположность, хотя, как и он, крестьянин, живущий для всех тоже под своим прозвищем из-за недостатка зуба, потерянного, видимо, в какой-то деревенской пьяной драке. Если над Платоном Каратаевым многие добродушно подтрунивают, то Тихон Щербатый добровольно принимает на себя роль шута в партизанском отряде. Но он же «самый полезный и самый храбрый человек» во всем отряде. Он жесток, безжалостен, находчив. Когда нужно добыть языка, отправляют Тихона, который может отбиться от нескольких нападающих с одним лишь топором в руках во время своих одиноких вылазок. Топором же он владеет, замечает автор, «как волк зубами». На счету Щербатого есть побитые в стычках «миродеры» (искалеченное им на русский лад слово «мародер», смысл которого он не понимает). Но ему ничего не стоит зарубить безоружного, сдавшегося в плен французского солдата, чтобы снять с него сапоги, прикрывшись потом какой-нибудь своей очередной шутовской выходкой. Ясно, что этот персонаж – полнейший антипод Каратаева. Они дополняют друг друга по принципу контраста, словно демонстрируя разные свойства русского характера: первый – искренность, доброту, открытость, желание помочь и простить (он в этом смысле судьбоносен для Пьера, открывая ему путь к духовной жизни, возможность какой он прежде не подозревал в себе); второй – грубость, цинизм, жестокость, аморализм.

Тихон Щербатый как-то остался в стороне и не привлек особенного внимания исследователей Толстого, но Платон Каратаев получил в их истолкованиях совершенно неожиданный отклик. Он возник не из читательского восприятия образа, а принадлежал всецело работе ангажированной исследовательской мысли в эпоху советского литературоведения. Ее усилиями было сформировано резко отрицательное понятие – «каратаевщина».

Это была грустная полоса плененной филологической мысли. Она не только произвольно уподобила историю литературы истории, да еще фальсифицированной на основе положений В. И. Ленина о трех периодах русского революционного движения. Она не допускала даже мысли о том, что словесное искусство определяется законами искусства, а не социальными или историческими факторами. «Каратаевщина» истолковывалась как реакционная теория Толстого о непротивлении злу насилем, как всепрощение, отрицающее необходимость классово-вой борьбы и торжества пролетариата. Делалось это крайне вульгарно: «Все заклятые враги русского народа, разные фальсификаторы и в истории, и в литературе пытались до самого последнего времени истолковать образ Каратаева как стремление оклеветать русский народ... Этому народу были глубоко чужды каратаевское смирение и не-

противление» (Бычков С. Гениальный художник / «Литературная газета», 8 сентября 1948 г.). Стоило ли после того, как Толстой нарушил святые, неприкосновенные основы марксизма, считаться с той малостью, что сама теория появилась значительно позднее романа и понималась крайне узко? В действительности толстовское непротivление, рожденное христианской истиной: борьба со злом с помощью зла лишь увеличивает зло, – было величайшим сопротивлением существовавшему режиму; сторонники Толстого преследовались, одни оказывались под судом, другие в тюрьмах и в ссылке. Толстой уцелел только потому, что его арест вызвал бы всемирный скандал. Один из жандармских генералов, когда он сам пытался протестовать: за него ссылают, на него не обращают внимание, весьма галантно, однако совершенно точно ответил ему: «Граф, ваша слава так велика, что наши тюрьмы не могут ее вместить!» Героиня третьей части эпопеи «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, герцогиня, обращаясь к русскому великому князю, задает прямой вопрос: «Ваше величество! Это правде, что вы собираетесь убить Толстого?»

Не обращалось внимание и на то, что символика образа Каратаева была рождена конкретными особенностями изображения автором персонажа: маленький круглый человечек, округлые движения, жесты, мягкий говорок. Все это возникает в его портретной зарисовке: «Когда на другой день, на рассвете, Пьер увидел своего соседа, первое впечатление чего-то круглого подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной веревкой французской шинели, в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые». Даже его способность наблюдать и мыслить, отличается у него замкнутостью: «Жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела значения как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал... Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова».

Alter его автора, живописец Михайлов в «Анне Карениной», говорит, что удача приходит только тогда, когда образ оживает под рукой художника со всей невыразимой сложностью всего живого. Таков Каратаев.

Подобного, однако, не скажешь о горьковском Луке. Это совершенно иной – притчеобразный герой, носитель скрытого авторского смысла. Толстой, начиная работу, обычно шел, несмотря на громадную силу воображения, от конкретного факта или наблюдавшегося им самим, или сообщенного ему кем-то: это была «печка», от которой шел разбег писательской фантазии, а дальше она уходила далеко, созидавая художественную реальность, казалось бы, уже ничем не связанную с первоначальным жизненным первотолчком. Но он сохранился в глубине создаваемого образа, вызывая неотразимое ощущение правды.

Горький ставил перед собой иную задачу в духе Серебряного века – поиск сверхсмысла, попытку схватить громадные пространства исторических, социальных, общественных конфликтов и облечь их в образную плоть, где человека нередко заменял у него некий символ. Опасность в таких случаях заключалась в том, что в произведении начинала доминировать авторская идея, все подчиняя себе. Это была беда, убивавшая и его прозу, и драматургию. «На дне» стало исключением в значительной мере благодаря образу Луки. Собрав в ночлежке отбросы

общества, люмпенов, лишенных прошлого и будущего, взяв на себя, по своему обыкновению, роль «кукловода», всесильного демиурга-творца, он заставил дергать за ниточки этих марионеток именно его.

Вопреки реплике, которая звучит в пьесе: «Без имени нет человека», – все или почти все действующие лица существуют в ней не под своими именами, а под тем или иным обобщенным прозвищем-кличкой, данным не просто в шутку, а по какому-то поводу: или имея в виду не настоящее, а прошлое их положение: Актер, Барон, Клещ; или производное от настоящего: Костылев – владелец ночлежки, старик, который не может обходиться без подпорки-костыля; Бубнов, в прошлом скорняк и картузник, а сейчас, как все ночлежники, игрок; Васька Пепел – вор и воров сын, у которого, несмотря на силу, молодость, дерзость и удачу в воровских делах, все рано или поздно пойдет прахом, и он всякий раз в действии пьесы появляется исключительно под своим прозвищем – Пепел; даже Алешка, вечно пьяный паренек с неизменной гармошкой в руках, для всех только «Алешка», таким же он оказывается и в перечне действующих лиц; или какое-то иное, скрытое в своих истоках прозвище: Татарин (он же – Князь), Кривой Зоб.

Исключением оказывается Сатин, которому автор дает особую, впрочем, совершенно не свойственную ни его характеру, ни его реальному положению роль – «агитатора, горлана-главаря», вбрасывающего в зрительный зал призывы, скорее свойственные революционно настроенному Буревестнику, то есть самому Горькому, чем жалкому ночлежнику, вечно стонущему от перепоя и от побоев, преследующих его, картежника-шулера.

Имена, которыми отмечены женские образы, – тоже условные знаки преимущественно какой-то одной идеи и в этом смысле точно такие же обескровленные символические фигуры: Анна (тема смерти и прожитой под страхом побоев и голода жизни); Василиса, жена Костылева, не уступающая ему в свирепости и скопидомстве; Наташа, родная ее сестра, одна из ее жертв; Настя, проститутка, с вечными разговорами о придуманной ею «чистой любви», которой никогда у нее не было, но она бредит о ней; Квашня, закупающая на базаре припасы и готовящая нехитрую стряпню для ночлежников (только она остается среди женских действующих лиц под обобщенным прозвищем).

Это была эпоха энергичных поисков новых форм. Все персонажи Горького – скорее психологические функции, а не характеры, символы, а не живые люди. Сатин с его пророчествами, на чем обычно останавливает внимание критика, и сам Горький, когда отвечал на скептические ее вопросы о нем, – всего лишь случайный избранник среди других точно таких же, как он, действующих лиц. Горький дал ему лишь сомнительную привилегию прямо повторять авторские идеи вопреки тому, что он сам представляет собой.

Такого понятия, как правда характера, для автора словно не существует. Он исповедует свои законы. О контрастности или о развитии характеров, что является основой творческого процесса Толстого, не приходится говорить. Анна – страх смерти; Васька Пепел – постоянное напоминание о западне, в которую он угодил при рождении (воров сын); Наташа – сетования на жестокое преследование сестры и Костылева; Василиса – вечные угрозы; Настя – мечты о неземной любви.

Отражением условности создаваемых героев становится их речь, заменяющая сценическое действие – основной закон драматургии. Но все персонажи у Горького хоть и немногословны, однако на каждом

шагу «проговариваются»: говорят не то, что должно быть свойственно им, а в той форме, как это свойственно самому автору. Сатин в тяжелом похмелье (обычное его состояние), когда не рычит звероподобно, забравшись на полати, или не бормочет полузабытые слова, вдруг начинает говорить, как трибун, опытный оратор, знающий толк в секретах красноречия (его знаменитые монологи), хотя ясно, что эта риторика принадлежит автору, нарушившему ради своих целей характерологическую правду; Актер под стать ему и, не в состоянии обычно выразить самой элементарной мысли, переходит на эффектные афоризмы: «Талант – это вера в себя, в свою силу»; Пепел, едва вяжущий слова в фразы, ввертывает в речь неожиданное словцо: «Ты думаешь – моя жизнь не претит мне?» – лексика такова, что ему может позавидовать гуманитарий.

Еще одна условность заключена в самом заглавии пьесы. Оно выражает сущностные черты сценического протеста, пьесы-отрицания. Самые выразительные и резкие выступления принадлежат Сатину: его монологи о свободном труде в первом действии, в четвертом, заключительном, – о Человеке. Но он не единственный обличитель враждебной людям жизни. У каждого из действующих лиц есть свой счет к ней. К тому же его первая знаменитая фраза сама по себе уже провоцируется раздраженной репликой другого персонажа.

К л е щ (*угрюмо*). Им легко деньги даются... Они – не работают...

С а т и н. ...Работа? Сделай так, чтоб работа была мне приятна – я, может быть, буду работать... да! Может быть! Когда труд – удовольствие, жизнь – хороша! Когда труд – обязанность, жизнь – рабство!

А затем, как круги на воде, появляются все новые и новые подобные же заключения, не уступающие в резкости отрицания его лозунгам: «Честь-совесть тем нужна, у кого власть да сила есть» (Пепел); «На что совесть? Я – не богатый» (Бубнов). Даже Лука, старающийся сгладить углы и всех примирить, подхватывает поток обличений и не отстает от других: «И все, гляжу я, умнее люди становятся... и хоть живут – все хуже, а хотят – все лучше»; «Они, бумажки-то <имеются в виду официальные документы > ...все никуда не годятся»; «Барство-то – как оспа... и выздоровеет человек, а знаки-то останутся» и т. п.

Измученные люди с их кровными обидами шаг за шагом увеличивают критическую массу пьесы до предела. Этим объясняется необычный эффект сценической истории «На дне»: театральные постановки ее в периоды напряженной общественной борьбы XIX века вызывали не только скандалы с полицией, но порой настоящие демонстрации.

То, что говорилось о ночлежниках, можно сказать и о «пришельце» Луке; он также выступает носителем одной подчеркнутой доминанты – авторской идеи отрицания покорности, смирения, утешительной лжи. К тому же это центральное лицо в пьесе, в значительной мере формирующее ее сюжет в отличие от эпизодического образа Платона Каратаева в романе Толстого. Лука – скорее не имя, а тоже своего рода прозвище, правда, скрытое, завуалированное, некоторая отвлеченность, условность, рациональность обобщения. Он, разумеется, ничем не связан с евангелистом Лукой, подвижником христовой веры. Имя героя пьесы ведет свое начало от русского слова «лука» (кривизна, изгиб реки или какого-то иного пространства). Производные от него однокоренные слова становятся носителями близких метафорических

смыслов: «лукавить – ходить криво, изгибами, хитрить, действовать лживо, притворно, коварно, скрытно; лукавый – хитрый, коварный, скрытный, злой, обманчивый, опасный, криводушный, притворный, двуличный, злонамеренный». Это краткое пояснение Вл. Даля к слову «лука», но воспринимается оно невольно как развернутая и точная характеристика героя пьесы, обнажающая скрытый смысл его характера, поступков и даже имени.

Каратаев простодушен, Лука – хитер. Этот странник («проходящий», как он говорит о себе) – вовсе не искатель веры, подобный Макару Долгорукому в романе Ф. М. Достоевского «Подросток», крестьянину – паломнику по святым местам, или персонажам Н. С. Лескова, или какой-нибудь Феклуше («Гроза» А. Н. Островского), сделавшей из своих мнимых странствий скромную, но все-таки хоть какую-то статью дохода. Каратаев несет в себе ключевые качества национально-русского характера: особую теплоту и интимность, «родственность» отношений с людьми, искренность, отсутствие нравственных пустот, дружеское чувство по отношению к другим (не только «своим»); это душа.

Лука – своего рода оппозиция Каратаеву: он рассудочен, предусмотрителен, рационален и при внешней расположенности к окружающим, человек себе на уме. Однако образ оказался сложен; в нем сталкиваются несколько точек зрения: авторская, самого героя и тех, кто наблюдает его со стороны и судит о нем. Горький крайне отрицательно относится к своему персонажу: для него Лука – утешитель, то есть так или иначе защитник жизни, которая безжалостна к людям и должна быть разрушена. В пьесе он играет роковую роль, и его добрые советы приводят к самым трагическим последствиям: один (Актер) затягивает петлю на шею; другой (Пепел) вместо «спасительной» Сибири угодит на каторгу; третья (Наташа) в отчаянии оговаривает невиновного человека в преднамеренном убийстве. Немногие схватывают скрытую подоплеку его слов и поступков, выступая на стороне автора. Васька Пепел, напротив, сразу же чувствует его хитрую повадку: «Врешь ты хорошо и сказки говоришь приятно». Он словно вывел на свет затаенную мысль Луки, выработанную им долгим опытом общения с людьми: «Человека приласкать – никогда не вредно». Но так и не понял, что Лука уже сейчас ему самому приготовил петлю: отправляя его в далекую Сибирь, он-то знает, что Сибирь, как тюрьма, «добру не научит». Ради того, чтобы найти верный ключ к обитателям ночлежки, Лука высматривает, выслушивает, выведывает. «Какой ты любопытный, старикашка! – замечает Сатин. – Все бы тебе знать... а – зачем?» Само действие пьесы дает ответ любопытствующему герою: громко хлопнув дверью, Лука потихоньку возвращается, чтобы подслушать разговор, предназначенный не для чужих ушей; он должен быть во всем осведомлен, чтобы не попасть впросак. Чувствуя неладное, назревающий взрыв, он, заранее подготовившись, мгновенно исчезает в эпизоде убийства Костылева, подхватив свой нехитрый скарб: ему не нужна встреча с полицией, хотя бы и как свидетелю; у него за плечами, возможно, тоже есть какое-то недоброе дело. Четвертое действие идет уже без него.

Лука утешает людей не ради них самих, а скорее ради себя, чтобы они не нарушали его покой своими стонами и сетованиями на судьбу. Он не особенно изобретателен и чаще всего просто повторяет то, что говорят ему о своем наболевшем и пережитом эти исстрадавшиеся люди. Но это-то как раз и успокаивает их, и они верят его рассказам и обретают хотя бы на некоторое время опору в них. Каратаев тоже

обладает способностью вернуть человеку душевный покой и опору, но он делает это иначе: Лука в таких случаях отправляется околицами полуправды, часто же обращается к прямой лжи.

У него есть свои проверенные приемы общения. На основе долгого опыта он заметил, что люди не очень-то интересуются чужим мнением, охотнее сами говорят, и если вы повторите то, что было сказано ими, это может быть воспринято как глубина и верность ваших собственных суждений. Поэтому он так внимательно прислушивается и присматривается к тому, что происходит рядом. Он твердо усвоил и другое правило: нет смысла рассказывать всю правду, можно ограничиться лишь ее частью. Но это не иезуитство, а скорее «лукианство», то есть свойство именно его характера, его мировосприятия, его привычек. Он, конечно, не рассчитывает заранее, к каким последствиям приведет его ложь или его полуправда; все дальнейшее происходит помимо его воли в силу обстоятельств. Лука в самом себе несет внутреннее противоречие: он «дурной и хороший вместе», как сказал бы Толстой. И это выделяет его на фоне других персонажей; в нем нет их одноплановости.

По-разному герои уходят из романа и пьесы: один из повествования, другой из череды событий, представленных на сцене. Но не в результате законов, диктующих свою волю разным родам литературного творчества (беллетристика–драматургия), а в силу их характеров. Лука покидает ночлежку, предусмотрительно подготовившись к побегу. Каратаев же убит: при очередном приступе болезни, когда он не может идти, его пристреливает конвоир, возможно, оказавшийся тем самым французским солдатом, который некогда горячо благодарил «Платошу» за сшитую им рубаху. Толстой не форсирует трагический эпизод смерти Каратаева, оставлена лишь краткая подробность, имеющая в контексте этого характера большое значение.

Однако существуют черты, объединяющие Каратаева и Луку не по контрасту, а по сходству. Известно, что Горький читал «На дне» Толстому в 1901 году. Но фактов об этом не сохранилось. Между тем Толстой все-таки откликнулся на горьковский текст. Свидетельство об этом можно найти в его дневниковой записи от 23 ноября 1909 года. Прошло восемь лет! Впрочем, Толстой перечитывал в этот момент Горького, возможно, читал и «На дне». Его отклик носит не характер прямой цитаты, но совершенно бесспорное, очевидное парафразное изложение эпизода из второго действия.

Успокаивая Анну жизнью вечною рядом с Богом, Лука довольно свободно толкует вопросы веры. На резкую реплику Пепла: «Бог есть?» – он реагирует, видимо, давно затверженным ответом: «Коли веришь, – есть; не веришь, – нет... Во что веришь, то и есть». Удивительно, однако Толстой находит в этой мысли нечто созвучное собственным раздумьям. «Например, – записывает он в дневнике, – его <Горького> изречение: Веришь в Бога – и есть Бог; не веришь в него – и нет Его. Изречение скверное, а между тем оно заставило меня задуматься. Есть ли тот Бог сам в себе, про которого я говорю и пишу? И правда, что про этого Бога можно сказать: веришь в Него – и есть Он. И я всегда так думал».

Это тот случай, когда оценка со стороны, а именно реакция Толстого, не вполне согласуется с точкой зрения героя, но открывает в ней новые обертоны смысла, некую познавательную перспективу. Толстой отождествляет здесь мнение Луки с авторской позицией, что продиктовано его недоверием и к Горькому, и к литературной критике,

допускающей, по мысли Толстого, в разговоре о нем очевидные преувеличения. В той же дневниковой записи находим: «Недоброе чувство к нему, с которым борюсь... вредный писатель: большое дарование и отсутствие каких бы то ни было религиозных, то есть понимающих значение жизни убеждений, и вместе с этим поддерживаемая нашим “образованным” миром, который видит в нем своего выразителя, самоуверенность, еще более заражающая этот мир». Но проблема «Бог сам в себе» так или иначе жила в нем в момент работы над образом Каратаева: «Я всегда так думал», – говорит он.

Размышления Горького имели свою опору и даже свою сложившуюся логику в его критике марксизма. Джеймс Х. Биллингтон в фундаментальном труде «Икона и топор. Опыт истолкования русской культуры» пишет: «Группа интеллектуалов попыталась дополнить Маркса более широкой и вдохновляющей перспективой грядущей революции. Вместе со своими руководителями – Максимом Горьким, суровым, резким писателем и будущим верховным жрецом советской литературы, и Анатолием Луначарским, эрудированным критиком, а впоследствии первым наркомом просвещения в новом советском государстве, – богостроители полагали, что всего-навсего развивают знаменитый марксистский тезис, согласно которому философы должны изменять, а не просто объяснять мир... Свою пространную “Исповедь” (1908) Горький завершил молитвой владыке, который есть “всесильный, бессмертный народ!”:

– Ты еси мой Бог и творец всех богов, соткавший их из красот духа своего в труде и мятеже исканий твоих!

– Да не будут миру бози инии разве тебе, ибо ты един Бог, творяй чудеса!

– Тако верую и исповедую!»

Луначарский был гораздо более прост, отчетлив, рационален в своих построениях, но в той же мере произвольно категоричен, как и Горький: греховность, утверждает он, следует рассматривать как величайшую силу изменения истории, физический труд – как форму послушничества, пролетариат – как истинно верующих, а дух коллективизма – как Бога.

Если быть последовательным, то Горький в своих обращениях к религиозному сознанию в образе Луки и в «Исповеди» подтверждает верность остроумного парадокса, высказанного Достоевским: русский атеист часто оказывается глубоко верующим человеком; разумом он отрицает Бога, сердце же отдано Ему, и библейский Савл в результате оказывается Павлом, а гонение на Христа сменяется таким же страстным поклонением христовым заветам. Лука, таким образом, не отрицает слова Божия, а по-своему способствует его росту и распространению.

Еще один мотив сходства образов Каратаева и Луки можно найти уже не в толкованиях текстов, а в самих текстах романа и драмы: это народная песня. Оба они не просто любят песню, а любят петь. Толстой в первом же эпизоде, где Пьер видит этого странного человека, которому суждено сыграть такую роль в его жизни, обращает особенное внимание на то, как и что он поет: «Он пел песни не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расхотиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные; и лицо его при этом бывало очень серьезно». Любимая его песня была грустной, Пьеру запомнились слова «родимая, березанька и тошненько мне».

Но таков же и Лука. Правда, ему не повезло. Рядом с Каратаевым был Пьер, народная песня была для него откровением. Пеплу, которому и без того забот немало, печальная песня, как у Каратаева, которую напевает Лука, не нравится, и он грубо обрывает его.

Между тем песня в пьесе Горького играет важную роль и захватывает всех, в том числе и Луку. Тюремная песня «Солнце всходит и заходит...» – центральный музыкальный образ всей пьесы, сублимация судеб всех ее персонажей. Она занимает позицию несколько смещенного композиционного кольца: появляется во втором и четвертом действии, и, обрамляя построение всей пьесы, придает ей вместе с тем дополнительный этнографический колорит, выполняя и другие, еще более важные функции: усиливает конфликт пьесы, заостряет характеры действующих лиц. Горький настолько ценил ее значение, что сопроводил публикацию нотной записью и словами песни, которые получают продолжение уже в самом развитии действия. Полный текст песни восстановлен авторитетным исследователем тюремного фольклора М.А. Грачевым и вполне доступен сейчас читателям. Песня близка всем: Сатин несколько лет провел в заключении; возможно, что и Луке в свое время пришлось побывать под стражей, не случайно он так тщательно скрывает свое прошлое; Пепел в момент, когда песня запевадается, еще раз арестован по обвинению в убийстве Костылева и заключен в тюрьму. Да и ночлежка – символ судьбы обитателей городских трущоб; им за нее уже никогда не вырваться.

Горький отмечает в публикации нотной записи и в самом тексте пьесы, что она поется на два голоса и что у нее есть постоянные исполнители: Кривой Зоб и Бубнов. Но он допускает невольную ошибку. Им оказался в финале забыт эпизод первого ее появления во втором действии:

Б у б н о в. Зоб! Пой! (*Запевает.*)

Солнце всходит и заходит...

К р и в о й З о б (*подхватывает голос*):

А в тюрьме моей темно...

В заключение последнего действия появляется та же песня, завершая всю пьесу, но певцы меняются местами:

Б у б н о в. Зоб!.. Затягивай... любимую!..

К р и в о й З о б (*запевает*):

Солнце всходит и захо-оди-ит...

Б у б н о в (*подхватывая*).

А-а в тюрьме моей темно-о!

Между тем сам автор отметил в нотной записи, что песня исполняется на два голоса; она часто повторяется, певцы хорошо спелись. Бубнов ведет первый голос, Кривой Зоб вступает подголоском. В финале, подхваченный волной первой кульминации (смерть Костылева) и той, что должна вскоре наступить (гибель Актера), Горький допускает небрежность, правда, не бросающуюся в глаза, но совершенно очевидную. Певцы у него вдруг меняют свои позиции, чего не должно быть. Привычная, давно сложившаяся, устоявшаяся гармония исполнения песни оказывается нарушенной. Кривой Зоб неожиданно начинает вести первый голос, а Бубнов, всегда выступавший в роли запевалы,

становится подголоском. Это ничем не оправданная, случайная ошибка; исполнение песни остается прежним и именно тем, как она пелась перед тем бесконечное множество раз. Горький – прекрасный знаток народной песни и приемов ее исполнения, где логика ведения голосов причудлива, но вместе с тем неизменна и строга. Впрочем, подобные ошибки авторской небрежности нередки и встречаются у многих великих мастеров, в том числе и у Толстого в «Войне и мире». Когда требуется энергичный акцент, всплеск эмоционального напряжения, как в финале «На дне», здесь не до мелочей и подробностей. Важен яркий эмоциональный жест, взрыв чувства, чего и достигает Горький благодаря песне; последняя, завершающая пьесу фраза – холодное, грубое, безжалостное напутствие, пущенное Сатиным вслед только что трагически ушедшему из жизни Актеру: «Эх... Испортил песню... дур-рак!»

В конце прошлого века Горький был чрезвычайно популярен в Японии. Осенью 1980 года мне случилось проехать несколько японских городов с лекциями и беседами о Чехове: отмечалось столетие со дня его рождения. Однажды участники одной из таких встреч неожиданно для меня спели слаженным хором по-русски (не зная языка!) песню из «На дне». В ту же поездку, оказавшись в библиотеке Токийского института русской литературы, занимавшей относительно небольшую комнату, где множество стеллажей двигалось на шарнирах, сжимаясь и раздвигаясь наподобие гармошки, я сразу же нашел где-то вверху свою первую книгу «Пути исканий», изданную «Советским писателем», с материалами о Толстом, Достоевском, Чехове, Шолохове – и Горьком. Инициатором поездки выступило тогда Общество дружбы Японии и СССР. Меня курировал председатель токийского отделения Общества, пожилой японец. Встречался я с ним непосредственно не более одного-двух раз. Но никогда ни до, ни после в своих путешествиях я не встречал такого душевного, доброжелательного, искреннего, сердечного внимания, которое ощущалось на каждом шагу. Нечто подобное я видел потом в Германии, наблюдая характер отношений и общения немцев с русскими людьми, то же у американца, исследователя русской литературы 60-х годов прошлого века и выдающегося знатока Русского Севера: благодаря снимкам (высоких художественных достоинств) Уильяма К. Брамфилда, сделанным им в тяжелейших условиях странствий по окраине России и опубликованным в его альбомах и книгах у нас и в Америке, сохранится память о шедеврах деревянного церковного и бытового русского зодчества, погибших и погибающих безвозвратно у всех на глазах. Американцу больше дела до русских святынь, чем самим русским!

Видимо, есть в русских людях и в России нечто такое, что привлекает внимание к ним людей другого мира: Востока, Старого, Нового Света. Это «что-то» трудно формулируется, но оно существует. Достоевский точно схватил его суть, размышляя о Пушкине и говоря о всечеловечности русского человека и России. А так как в народной песне наиболее полно выпевается душа народа, то песня и получила подобающее ей значение в структуре «Войны и мира» и в пьесе Горького (в романе Толстого ее роль исключительно велика: тема песни развертывается на протяжении всего романа в разных фольклорных жанрах и демонстрируя разные манеры исполнения).

Несмотря на вымышленную «каратаевщину», о чем сурово толковала критика, роман Толстого занял свое место среди гениальных произведений мировой литературной классики, а эпизодическое его лицо,

Платон Каратаев, – ключевую позицию в общей концепции произведения и едва ли не всего творчества писателя. Пьеса Горького тоже со временем нашла свою нишу: стала самой репертуарной – с ней соперничает только «Васса Железнова» – в горьковской драматургии. Впрочем, и в постановках «На дне» просторные театральные залы казались порой громадными из-за отсутствия зрителей, как вспоминала Татьяна Доронина, народная артистка СССР, художественный руководитель МХТ им. М. Горького.

Лука же остался в русской литературе загадкой и тайной. Каратаев – поиск национального характера, предпринятый Толстым: слияние «барина» и «мужика» в едином религиозном сознании, – это итог, который всецело относится к прошлому. В Луке же схвачена перспектива будущего: Горький как будто предчувствовал, что идея этого образа невероятно актуализируется со временем. И в самом деле, притчеобразный характер его героя реализовался в мифе о советской действительности: во что веришь, то и есть, а ночлежка стала метафорой России. Реальный, конкретный образ оказался «человеком без свойств», если вспомнить роман Роберта Музиля (*Der Mann ohne Eigenschaften*, 1931): он как бы растворился в сознании множества других людей, определяя логику их мысли и их бытия. На основе «эффекта Луки» делались точные реконструкции крайне противоречивой личности самого Горького, словно он предсказал самого себя и свой творческий путь, часто отдающий «лукианством»: «Создание какой бы то ни было мечты, способной увлечь человека, <Горький> считал истинным признаком гениальности, а поддержание этой великой мечты – делом великого человеколюбия <...> Самому себе он не позволял быть вестником неудачи и несчастья. Если нельзя было смолчать, он предпочитал ложь и был искренне уверен, что поступает человеколюбиво <...> <Поставленная некогда еще Владиславом Ходасевичем> проблема “Горький – Лука”, существует. Веру в социализм, мечту о счастливом обществе, которая воплотилась для Горького в социальной доктрине Маркса и Ленина, он поддерживал изо всех сил, потому что в нее поверили миллионы, поддерживал в том числе и путем создания собственной публицистической мифологии в 20–30-е годы: о “наших достижениях”, о Соловках и “Беломорканале”, о благородной воспитательной миссии чекистов в лагерях, и при этом “лукавая” мысль его куда как далеко улетала от действительности <...> Лука! Чего тут скажешь? <...> Другая сторона “комплекса Луки” – действительно загадочная горьковская ненависть к истине, к факту отрицательному, хотя бы он существовал на самом деле, разделение правды на нужную и ненужную, полезную и вредную, совершенно необъяснимое его молчание в конце 20–30-х гг. об уродствах режима при колоссальной энергии, направленной на пропаганду существующих и несуществующих “наших достижений”» (Сухих С. И. *Заблуждение и прозрение Максима Горького*. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. Нижний Новгород: ООО «Поволжье», 2007).

Из этой остроумной реконструкции, парадоксальной уже в своей постановке, так как основой ее становится не реальность, а созданный самим же Горьким художественный образ, исчезло еще одно направление его писательских усилий – склонность Горького к литературным манипуляциям. Именно Горький ввел в оборот два понятия, которыми в свое время широко пользовалось советское литературоведение; они и сейчас продолжают благополучно существовать в науке о литературе да и в общественном сознании, войдя в состав крылатых слов

и выражений. Он же дал им и определения как некоему внутреннему единству: «карамазовщина» и «каратаевщина».

В первом случае манипулятивная акция была достаточно проста и представляла собой очевидную подтасовку разных явлений. Достоевский был отождествлен с его героями: Федором Карамазовым, Свидригайловым, можно было бы вспомнить и князя Валковского, Ставрогина с их тягой к потаенному, темному разврату с «грязнотцой» и к неудержимой сексопатологии. Маркиз де Сад здесь с его философией сладострастия был бы вполне уместен. Но с Толстым дело обстояло сложнее. Платон Каратаев, наделенный чувством добра и правды, не давал решительно никаких оснований для таких толков. Попав в трудное положение, Горький поступил еще более просто: он принялся играть словами и понятиями, ничем не аргументируя свои рискованные параллели: «Достоевский же видел только эти черты, а желая изобразить нечто иное, показывал нам “Идиота” или Алешу Карамазова, превращая садизм – в мазохизм, карамазовщину – в каратаевщину. Платон Каратаев, как и Федор Карамазов, живые, по сей день живущие вокруг нас люди; но возможно ли существование народа, который делится на анархистов-сладострастников и на полумертвых фаталистов?»

Здесь все собрано в эмоциональную взрывную смесь, правда, лишенную смысла. Но рассуждения о «каратаевщине» и «карамазовщине» в манере Горького – не что иное, как логика все того же Луки: веришь в то, что говоришь, значит, так и есть, какой бы шальной ни была твоя фантазия. То же у Горького: карамазовщина – садизм, каратаевщина – мазохизм; первого рода герои – анархисты-сладострастники, второго – полумертвые фаталисты. В героях Достоевского, бесспорно, есть признаки садизма, в наблюдении Горького нет решительно ничего нового, оно давно было известно (еще современники называли Достоевского «русским маркизом де Садом»), а понятие «сладострастника» сам же Достоевский и ввел в оборот. Однако у него оно более значительное и широкое, чем вульгарное истолкование, к которому прибегает Горький. Но почему Каратаев мазохист и в добавление ко всему прочему полумертвый фаталист? – остается загадкой: образ-то живой, зримый, конкретный, как всегда у Толстого. Потому что Горькому так кажется и для него этого вполне достаточно? Но у русских людей есть правило: если кажется, то перекрестись, чтобы отогнать лукавого. Горький настолько уверен в себе (эта черта, видимо, не случайно была отмечена в нем Толстым), что в истолковании гениев забывает «перекреститься»: ему пришлось бы делать это слишком часто; то, что случилось в отношении Толстого и Достоевского, произойдет у него и с Чеховым, и здесь тоже возникнет немало откровенно субъективных суждений.

Своеобразие открытий Достоевского в исследовании души человека состояло в другом. Он был единственный, кому удалось (притом на уровне гения) реализовать идею Бальзака, высказанную в знаменитой «Шагреновой коже» таинственным стариком, владельцем рокового талисмана: «Боль, может быть, есть не что иное, как предельное наслаждение. Кто мог бы определить границу, где сладострастие становится болью и где боль остается еще сладострастием?» Достоевский не просто указал на эту границу, он стер ее, разрушил незыблемую традицию разграничения персонажей по социальным и нравственным признакам, узаконенную литературной теорией и аналитической практикой. Он не просто обобщал действительность, как принято обычно говорить, а моделировал ее по-своему, развертывая неведомые прежде ме-

тафизические глубины и крайнюю противоречивость психологических состояний человека, где «бездны» добра и зла потому были безднами, что свободно перетекали одна в другую, – своего рода сообщающиеся кровеносные сосуды, и разделить их значило бы уничтожить само явление – феномен «героя Достоевского», как, впрочем, и другой великий его парадокс, состоявший в том, что все его лица: амбивалентны: автор обратил внимание читателя на зыбкость нравственных границ (черта современного человека – одна из причин исключительной популярности произведений Достоевского как на Западе, так и на Востоке, в Японии, например) где сладострастие становится болью, а боль остается сладострастием. Причем боль у героев Достоевского в состоянии вызывать величайшее наслаждение не просто физическое, а духовное, нравственное. Второй великий парадокс, открытый им, состоял в том, что положительные и отрицательные, униженные и унижающие, оскорбленные и оскорбляющие – словом, жертвы и их палачи, все они скроены им по одной колодке, по одной схеме, где боль и наслаждение, притом не в физическом, а именно в нравственном, духовном состоянии: радость через мучение; любовь, скорее похожая на мщение, любовь как припадок, как петля; наслаждение собственной низостью; предел позора в сознании своего ничтожества, точно отмщение кому-то, вызывающее величайшее наслаждение – несоединимое каким-то поразительным образом вполне органично соединяется у него в одном чувстве, в одном переживании!

Принципы изображения духовного мира человека, найденные и разработанные Достоевским в его героях – «сладострастниках» и «парадоксалистах» одновременно, как их определял сам Достоевский, – не имели ничего общего с карамазовщиной и садизмом (сладострастием) в истолковании Горького. Это всего лишь недоразумение (сознательное или невольное – другой вопрос), как еще более странные каратаевщина и мазохизм по отношению к художественной технике и идеям Толстого. Горький мистифицировал читателей, заводил их в тупик, оперируя понятиями, не соответствующими тому, о чем шла речь.

По всей вероятности, история с Каратаевым, точнее сказать, с понятием «каратаевщина», введенным Горьким, была вызвана его стремлением понять русский национальный характер в его многогранности. Мера таланта и степень мастерства не давали достаточно оснований для этого, он сам хорошо это понимал. Однако художественная практика разработки концепции нового героя вольно или невольно привела его к соотношению своих персонажей пьесы «На дне» к характерологическим «точкам отсчета», созданным Толстым и Достоевским. Стратегия поиска выявила логику исторического просчета в определении пролетарским писателем дальнейшей траектории развития русского национального характера. Прямым наследником лукианской «морали» на стыке с безнравственностью можно назвать, например, шолоховского героя – Якова Лукича Островнова («Поднятая целина»).

Тем не менее свою «точку отсчета» в образе Луки Горький создал. И это обстоятельство во многом определяет актуальный интерес к его пьесе.

Эдуард КУЗНЕЦОВ

Родился в 1941 году в Горьком. Окончил химический факультет Горьковского госуниверситета и более 40 лет проработал на Горьковском автомобильном заводе.

Крупнейший в России коллекционер пародии, эпиграммы, шаржа, исследователь сатирических жанров, автор 12 книг по этой тематике и более сотни статей в российской периодической печати. Лауреат премий имени Горького (2006, 2012) и «Бриллиантовый Дюк» (Одесса, 2013).

Живет в Нижнем Новгороде.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ И САТИРИКИ

До революции

Горький ворвался в литературу и общественную жизнь России энергично и ново – не заметить его появления было нельзя. Сатирики с мгновенной реакцией на «злобу дня» по-разному восприняли появление нового таланта. Одни обратили внимание исключительно на автора необычных произведений, другие – на сами произведения, третьи захотели покрасоваться на фоне редкого литературного явления.

Во все времена пародия, эпиграмма, памфлет, реплика, фельетон одними из первых откликнулись на появление в литературе всего наиболее интересного и самобытного. Произведения Горького, опубликованные на рубеже XX века, дали сатирикам богатую возможность продемонстрировать свои профессиональные качества. Литературная сатира тогда была на подъеме, её избаловал богатый выбор объектов: активно работало много поэтов и прозаиков, декларировавших самые разные взгляды и убеждения, выступавших под знаменами многочисленных направлений, течений, школ, групп и союзов.

«Обслуживали» эту массу литераторов достаточно искушённые сатирики. Они отличались не только разнородностью литературных вкусов, но и разнообразием идеологических убеждений, что позволяло им группироваться вокруг периодических изданий определённых направлений. Авторитетный литературный и театральный критик, пародист А. Измайлов работал в солидной буржуазной газете «Биржевые ведомости». Она не могла себе позволить той легковесности, с какой веселил читателей Ф. Благов в развлекательном журнале «Будильник». Сатирический журнал «Сатирикон», печатавший О.Л. д'Ора, Е. Венского и других сатириков, несмотря на сбой во вкусе, был принципиальным идейным противником консервативной газеты «Новое время» и ее сотрудника В. Буренина, постепенно сползавших на позиции черносотенства.

Можно было бы предположить, что и литературная пародия, процветающая в начале XX века, благодаря усилиям названных авторов, самым противоречивым образом откликнется на ставшие популярными произведения Горького. Да, появилось немало пародий и из «правого» и из «левого» лагеря, основными темами которых стали переиначенные мотивы ранних рассказов писателя: новые герои (босяки, воры, дворники, женщины лёгкого поведения...), вульгарный жаргон (шелъма, стерва, гнида, парашка, дерябнуть...), необычные места действия (подвалы, ночлежки, общественные туалеты...), нестандартные ситуации (ругань, драки, пьянки, обжорство...), шероховатость и веле-речивость стиля («в дверь ночлежки заглянула ироническая рожа судьбы и улыбнулась загадочно и холодно», «эх, собрал бы я остатки моей истерзанной души и вместе с кровью сердца плюнул бы ей в рожу, чёрт её поberi!»).

Однако предположение о разное в пародиях не оправдалось. Законы жанра и мастерство пародистов победили. Сторонники разных идеологий и эстетических ценностей единодушно продемонстрировали в своих пародиях то, чем они и должны отличаться: пониманием внутренней (содержание) и внешней (форма) сути произведений и воспроизведением их на новом уже комическом уровне. Произошло то, что должно было произойти: пародии разных авторов (конечно, талантливых) парадоксальным образом слились как бы в одну пародию, в которой громадно-корявый, обтрёпанный и ленивый «челкаш» вёл с замызганно-прекрасной «мальвой» бессвязный диалог, постоянно перемежающийся сплёвыванием и вульгарными знаками взаимного внимания.

Однако и недостатки всех этих пародий были едины. Пародисты сделали ставку на внешние обстоятельства, на броскую экзотику произведений Горького. Абсолютно без внимания были оставлены все социальные вопросы (бедность, бесправие, обречённость), а попытки осмысления жизни и её преобразования были или проигнорированы или превращены в абсурд. Впрочем, случались пародии, основанные не только на обыгрывании сюжетных перипетий нового автора, но и его стиля.

Отрывок из пародии О.Л. д'Ора «Муж матери»:

...Хотя он был слесарем, но борода у него была чёрная, глаза маленькие и злые, как у тарантула, и звали его Михаилом Власовым.

С начальством он держался грубо, тем не менее его никто не любил, и многие неохотно переносили его побои. Это страшно обижало Михаила Власова...

Совсем иначе выглядели произведения Горького (да и он сам) в эпиграммах тех же самых сатириков. В них была дана воля собственным мнениям, пристрастным оценкам, субъективным позициям. Во-первых, большинство авторов не уклонились от выигрышной темы дискредитации Горького, проведя примитивную параллель между ним и его деклассированными героями.

В. Тан:

...Щеголял в цветной одежде,
Щеголял в мороз босым –
Назывался Стенькой прежде,
А теперь зовут Максим.

Во-вторых, пытались выразить мнение о его произведениях и героях, в основном потакая вкусам обывателя.

Эпиграмма «Литературный ассенизатор и публика» из «Петербургского листка»:

Я привёз тебе подарок, и подарок непростой...
Я нашёл его в помоях, «На дне»... ямы выгребной!

Ну и, конечно, каждый постарался продемонстрировать личный взгляд на место молодого писателя под солнцем, не стесняясь порой самых сильных выражений. Чего стоили одни сатиры Буренина, где через строчку можно было наткнуться на такие характеристики Горького, как «моветон», «жалкий раб», «нос задрав», «полуневежда дикий», «заносчивый холоп», «маляр Максим» и другие.

Не удивительно, что подобные публикации не подогревали любовь Горького к сатирикам. Он вообще с прохладцей относился к критике как к занятию бесполезному и рекомендовал собратьям по перу не следовать советам критиков («вредный для нас народ, очень вредный... Они нам гораздо больше вредят, чем приносят пользы...»).

Тем не менее, оценивая работу тех, кто откликнулся на произведения Горького, можно заключить, что они весьма профессионально подошли к анализу творчества писателя, чётко соблюдая жанровую дифференциацию. Общественная значимость творчества Горького определила пристальный интерес к нему сатириков разных идейных убеждений, способствуя разносторонней оценке его писательской деятельности.

Среди сатирических откликов на творчество Горького наиболее любопытны были миниатюры авторов, способных увидеть в произведениях писателя не повод к потехе и издевательствам, а литературное событие, требующее пристального внимания и анализа. К таким авторам, несомненно, относился Александр Измайлов – известный критик, автор многочисленных статей и книг о русской литературе конца XIX – начала XX века. Как сатирик и пародист он прославился двумя томами («Кривое зеркало» и «Осиновый кол»), ставшими классикой сатирического жанра. Насколько популярны были его произведения, говорит факт выхода в свет «Кривого зеркала» пятью изданиями в течение 1908–1914 годов. То, как Горький был представлен в этой книге знатоком литературы (каковым являлся Измайлов), не может не обратить на себя внимание. Измайлов был по-своему объективным критиком, относящимся к собратьям по перу не по конъюнктурным соображениям, а исключительно по внутренним убеждениям. Это вызывало уважение даже тех литераторов, о творчестве которых критик и пародист отзывался не очень-то доброжелательно. Вот и к работам Горького у Измайлова было отношение неоднозначное. Высоко оценивая ранние рассказы писателя, он негативно воспринимал его тенденциозные произведения обличительной направленности.

Имя Горького возникает на страницах «Кривого зеркала» несколько раз по разным поводам. Измайлов не ставил целью акцентировать внимание на конкретных событиях жизни и деятельности писателя, но такова была значимость фигуры Горького, что даже рассмотрение тем, напрямую не связанных с его работой, так или иначе затрагивало его имя. Стоит обратиться к ряду упоминаний о Горьком в различных материалах (фельетонах, рассказах, сатирах, пародиях), составляющих содержание «Кривого зеркала», более подробно.

В фельетоне «На интервью у г. Собакевича» Измайлов обрушился на второй том «Истории русской литературы XIX столетия» Н. Энгельгардта. В нём Энгельгардт откровенно клеветал на Л. Толстого, Г. Успенского, Н. Помяловского, Ф. Сологуба и других авторов, приписывая им массу выдуманных грехов и недостатков. Досталось и Горькому. Его литературный успех Собакевичем (именно под такой фамилией был выведен в фельетоне «литературовед» Энгельгардт) был назван позорным, сам же писатель охарактеризован клопом и низвергнут с вершин славы «всей пятернёй» или даже «прямо извозчичьей оглоблей». Против такого опозрения, оговора, инсинуаций и был направлен фельетон Измайлова. Автор от лица интервьюера пытался возражать Собакевичу, противопоставляя его зубодробительному мнению собственное представление о раннем творчестве Горького («прелестные вещи»). Фельетон не только утверждал литературные позиции Измайлова, но и отдавал должное заслугам известных авторов, включая пролетарского писателя.

В «Кривом зеркале» можно почувствовать разное отношение к молодому писателю и его произведениям, но то, что Горький был поставлен в ряд самых популярных литературных деятелей, не вызывает сомнений. Это подтверждается и фельетоном «Очки слепого (сказочка для детей не моложе 20 лет)». Ушлый редактор газеты «Упырь», не имеющей подписчиков, ищет способ поднять интерес публики к своему изданию. Он оповещает потенциальных читателей о будущих сотрудниках газеты: крупными буквами – «Лев Толстой, Леонид Андреев, Горький, Куприн и Дорошевич» и мелкими – «в газете не участвуют». Ряд знаменитых авторов, среди которых помещает Горького пародист, свидетельствует о высочайшем месте писателя на вершине российского литературного Олимпа.

В «Ночных плясках» – издёвке на постановку силами писателей пьесы Ф. Сологуба – упоминание имени Горького тем более символично. Случайные посетители представления (простолюдины с примитивным уровнем мышления) демонстрируют осведомлённость о существовании Горького. Они не знают ничего о литературе и о современных писателях, но имя Горького им знакомо. Интересно и то, как комментирует положение Горького один из соседей героев рассказа: «Он на острове Капри морское землетрясение наблюдать уехал и толстую книгу пишет». Тут факты исторических событий срачиваются с юмористическим восприятием биографии писателя.

В «Проекте Всероссийской выставки» Измайлов в противовес официальным экспонатам знаменитой промышленной выставки выдвигает свои, неудобные для властей предложения. Среди них:

Уж как ни вертись, а не пройдешь мимо
Академического диплома Горького Максима.

Скандалный эпизод с избранием Горького в 1902 году в Российскую академию наук, отменённым Николаем II, оценивается автором как одно из важных событий, подчеркнувшее весомость писателя и его прогрессивную роль в эпоху самодержавия. Тогда звание почётного академика было опорочено, следствием чего стал отказ от него А. Чехова и В. Короленко. Противостояние лучших русских писателей правящему режиму было отмечено сатириком как факт, имеющий немаловажное значение.

Наиболее серьёзные материалы, затрагивающие творчество Горького, в «Кривом зеркале» представлены в пародиях. Одна из них – из цикла «Любовь у старых и новых писателей (история русского романа)», другая – «из дружеских пародий». Фактически они представляют собой два варианта одного «босяцкого» сюжета. В них практически одинаковые герои, место действия, диалоги, характеристики... Смысл пародий тоже общий – насмешка над идеализацией босяков, их образа жизни и «философии». Но если в первой пародии основное внимание было сосредоточено на развенчании лирической стороны босяцких отношений, то во второй эта проблема отступила на задний план перед сокрушительной иронией над обличительным пафосом произведений Горького («Гляжу я в жизнь и вижу – нет в ней справедливости»). Причём пародийная издёвка носила не отвлеченный характер, а была направлена на конкретные факты: на приметы личной жизни Горького («Взять хошь бы того же Алексея Максимыча... Мы, босяки, вознесли его на верх славы») и на идеи его произведений («Человек звучит гордо, но только до тех пор, пока у него не провалится нос»). Благодушные сюжета из цикла «Любовь...» полностью разрушается в пародии «Море смеялось...» яростной озлобленностью героя-босяка, уже научившегося взваливать на общество вину за своё бедственное положение. Пародист если и не опровергал своеобразное понимание Горьким классовой розни и социальной несправедливости, то подвергал их существенному сомнению.

Измайлов в своей книге ненавязчиво зафиксировал важную роль Горького в русской литературе. Несмотря на скептическое отношение к идеям писателя, он сумел объективно отразить по праву завоёванное Горьким место в ряду самых известных литераторов России. На фоне десятка книг и сотен статей о творчестве пролетарского писателя, появившихся в начале XX века, «Кривое зеркало» лишь косвенно задело Горького. Но таково свойство сатиры, что она порой эффективней многих книг и статей воздействует на читателей, находя прямые и короткие пути к их чувствам и разуму. «Кривое зеркало» давало понять, что, несмотря на возможную критику, творчество Горького значимо и необходимо читателю всех уровней.

После 1917 года

Взаимодействия Горького с официальными властями и творческой интеллигенцией никогда не были простыми и безоблачными. Это касалось его деятельности в дореволюционной России, пребывания за границей и завершающего этапа жизни в Советском Союзе.

С самого начала революции хорошие отношения с советской властью у Горького не сложились. И хотя он много делал полезного для молодого государства, непонимание между писателем и новой властью усиливалось. После отъезда Горького за границу он практически был вычеркнут из российской жизни и литературы. Его существование пришло в соответствие с высказыванием эпиграммы десятилетней давности:

...Жизнь по-новому устроив,
Он забыл российский быт...
Позабыл своих героев,
Да и сам... почти забыт!

Демьян Бедный – рупор политического официоза – писал:

...И если Горький за границей
Вдруг стал эсеровской слезницей,
То он, конечно, не здоров:
Насквозь отравлен тучей разных
Остервенело буржуазных
Белогвардейских комаров.
Что до меня, давно мне ясно,
Что на него, увы, напрасно
Мы снисходительно ворчим:
Он вообще неизлечим.

Впрочем, скоро руководство страны ощутило потребность в авторитете всемирно известного писателя. Его стали всячески заманивать в Советский Союз, а во время приездов в 1928 и 1929 годах устраивать восторженные встречи. К этому времени были забыты все недоумения, связанные с осложнением отношений писателя с советской властью, его «несвоевременные мысли» периода 1918 года и более поздние попытки иметь собственное мнение, расходящееся с политикой нового государства. Тот же Демьян Бедный публично сменил своё мнение:

Художник удивительной судьбы,
Боец несокрушимейшей удачи,
Друг класса, сбившего дворянские гербы,
И буревестник классовой борьбы...
Дать верный лик его – труднее нет задачи...

После окончательного возвращения из Италии в 1931 году писатель превратился в объект единодушного почитания. Он был введён во всевозможные государственные комиссии и редакции, его инициативы по укреплению культуры приветствовались и поддерживались, ему присваивались разнообразные должности и звания, раз и навсегда был решён вопрос о его материальном обеспечении, его значение утверждалось памятниками, переименованиями улиц и площадей, театров и населенных пунктов...

Горький встал на предложенный путь, стараясь принести пользу социалистическому государству и отечественной литературе. К нему ходили на поклон, надеясь на решение вопросов, на поддержку издательских проектов, на спасение от произвола, на получение льгот... Никто не сомневался в его главенствующей роли ведущего писателя страны и в его способности сдвинуть любое сложное дело с мертвой точки. Сам Горький, полушутя, называл себя «учреждением».

Однако не нужно было быть чересчур проницательным, чтобы ощутить двусмысленность положения литератора в стране с жестоким диктатом. Активное сотрудничество писателей с властью у многих рождало непонимание или плохо скрываемое возмущение. Эти чувства, преодолевая официально утвержденное почтение, распространялись и на поведение Горького. К ним добавлялось ощущение профессиональной исчерпанности творческого потенциала писателя. В итоге это привело к тому, что среди прославляющих Горького дифирамбов начали мелькать осторожные критические замечания, закамуфлированные общим почтительным тоном.

В 1930 году на открытии Клуба писателей прозвучали эпиграммы посвящения Веры Инбер в сопровождении шаржей Кукрыниксов. О Горьком были написаны следующие строки:

В центре неба, никак, никуда,
Не отклоняясь ни строчкой,
Стоит Полярная звезда
Неподвижная точка.

Посвящение можно было понять двояко. С одной стороны – звезда, с другой – Полярная, ледяная, неподвижная (и вообще – точка). С одной стороны – в центре неба, с другой – ни туда ни сюда: нечто неживое, застывшее, недействующее... Примерно так же можно было трактовать послание Горькому Вадима Шершеневича, появившееся в журнале «Бич» в 1928 году:

Вы, расцветший на виду поколений,
Вы, о котором слава звенит, –
Вы прошли от нижней до самой верхней ступени,
И теперь уперлись – извините – в зенит...

Неумеренные славословия, которыми была начата миниатюра, неожиданно превращались в двусмысленность. «Зенит» воспринимался как тупиковая позиция, после которой поступательное движение вперёд было уже невозможно («уперлись»). Да и нарочитое извинение лишь подчёркивало возникшую неловкость от странного комплимента.

Появлялись в печати и негативные отзывы о конкретных литературных работах Горького. В 1927 году в газете «Вечерняя Москва» была опубликована «Стихорецензия» Арго на первую часть романа М. Горького «Жизнь Клима Самгина»:

Я книгу взял, восстав от сна –
И погрузился в сон.
Роман «Жизнь Клима Самгина»
На восемьсот персон!
Что Достоевский? Что Бальзак?
Что книги прежних дней?
Бывало лучше – точно так,
Но не было длинней!

Этому отзыву вторила эпиграмма Александра Безыменского:

«Клим Самгин»... неплохая штука...
Но, Боже мой... какая скука!

Не всякое мнение в то время можно было выносить на всеобщее обозрение. Целый ряд сатир, целящих в Горького, не предназначался для широкого распространения, и их тексты дошли до читателей лишь в конце 80-х годов. В 1928 году на страницах рукописного альманаха «Чукоккала» появилась пародия д'Актиля на «Песню о Буревестнике». Она была пропитана насмешкой и издёвкой над некогда знаменитым и свободным Буревестником, заканчивающим свои дни в тесной клетке. Раньше «среди пернатых, призывая и волнуя, реял гордый Буревестник, чёрной молнии подобный, и вопил – обуруваем духом пламен-

ного бунта: «Бури! Бури! Дайте бурю! Пусть сильнее грянет буря!» При советской же власти умение реять оказалось никому не нужным, и Буревестника (уже не гордого) свезли в музей, посадили в клетку, предписали «норму корму»... Там он и сидит, и случайные посетители приносят обрюзгшей птице канареечное семя и заменяют в ржавой банке застоявшуюся воду. А на клетке висит плакатик: «Буревестник. Тот, который...»

Язвительнейшая пародия напрямую соотносилась с судьбой Горького. Писатель, вернувшись в Советский Союз, уже не принадлежал себе. Он не мог поехать за границу, не мог встретиться с кем заблагорассудится, не мог высказаться бесцензурно и, говоря иносказательно, «волочил по камням крылья» и клевал с рук. Немудрено, что пародию д'Актиля не пропустили в печать при подготовке первого издания избранных страниц «Чукоккалы» в 1979 году.

Не менее ядовито звучала эпиграмма Эмиля Кроткого, появившаяся на свет (но не в печати) в период подготовки Первого съезда советских писателей:

Известный скромностью натуры,
Я не без умысла, увы,
Плетусь в хвосте литературы –
Она воняет с головы.

Эпиграмма была реакцией Кроткого на шарж Кукрыниксов «Парад советской литературы», на котором Горький был изображён в голове колонны, а Кроткий замыкал шествие.

Очевидно, подобных примеров в истории советской литературы и журналистики было не так уж много. По сравнению с дореволюционным периодом число эпиграмм и пародий на Горького уменьшилось в десятки раз. Большинство из них стало носить комплиментарный характер. Неслучайно по этому поводу появилась реплика Василия Лебедева-Кумача:

«Не смотри на недостатки,
А на достижения».
Даже Горький станет сладким
В этом положении.

Авторы, вкладывавшие в свои сатиры критические мысли, явно плыли против общего течения, высказывая собственное мнение вопреки мнению большинства, серьёзно рискуя своим благополучием. Ведь некоторые из этих материалов появились после принятия ЦК беспрецедентного решения (1929 года), запрещавшего какую-либо критику по адресу Горького.

Современность

Пародия – оперативный жанр, активно реагирующий на литературную погоду. Произведение, сегодня ставшее популярным, завтра должно быть обыграно в пародии.

Но она не забывает и те произведения, срок жизни которых может исчисляться десятилетиями и веками. Конечно, в этом случае речь идёт о произведениях не проходных, а значимых, оставивших глубокий след

в жизни человечества. До сего дня появляются пародии на Гомера, Данте, Шекспира, Лонгфелло, Уайльда, Гюго, Диккенса...

В пародийных атаках на Горького не было недостатка в течение всей его жизни. Но после его утверждения мировым лидером пролетарских писателей, родоначальником всепобеждающего метода социалистического реализма появление пародий на него стало практически невозможным. Такое положение дел сохранялось фактически до времен перестройки. Пародии, появившиеся через 50–60 лет после смерти Горького, фактически были написаны в иной стране и в иную эпоху. В это время уже не запрещалось с разных литературных и идеологических позиций интерпретировать творчество писателя и его облик.

Новым пародиям оказались присущи все контрастные особенности жанра: интеллектуальные образцы соседствовали с примитивной пересмешкой, а имитационное следование букве и духу оригинала – с чисто внешним, поверхностным использованием формы. По своей направленности пародии также существенно различались: если одни нащупывали литературные и идейные корни произведений Горького, то другие обыгрывали особенности поведения писателя в последние годы его жизни. Естественно, присутствовал и третий путь, на котором пародисты искали личной популярности, упоминая имя Горького всуе. В соответствии с избранной позицией менялась и тональность приподневнятных пародий: от традиционно-почтительной до высокомерно осуждающей в свете «прозрений» задним числом.

К наиболее оригинальным ретроспективным пародиям на Горького можно отнести «продолжение» романа «Мать» Владимира Свирского. Пародия вошла в цикл стилизаций «Эпилоги», построенных по своеобразному принципу: что случилось бы с героями известных произведений, если бы они дожили до победы революции или до 1937 года. Выдерживая стилистику романа, автор попытался представить недалёкое будущее его героев. Он столкнул Павла Власова и Андрея Находку в январе 1918 года во время демонстрации, протестующей против разгона Учредительного собрания. Красноармейцы, руководимые Власовым, стреляли в демонстрантов, среди которых оказался Находка.

Последующий спор двух героев показал разницу в их идейных и нравственных позициях. Отвечая на обвинения Находки, Власов говорит: «Революция в белых перчатках не делается. Жертвы неизбежны... Нравственно всё то, что работает на революцию». Он не сомневается в собственном праве расстреливать современников на благо грядущих поколений. Совестливый Находка с гневом возражает: «Нас с тобой после той демонстрации судил суд. И приговорил к по-се-лению. А ты сегодня без всякого суда... Десятки жизней приговорил к смерти. И сам привёл приговор в исполнение!»

Ясно, что автор своеобразной стилизации судил не только Власова как носителя идеологии большевизма, но вместе с ним и Горького. Писатель как автор «Несвоевременных мыслей», несомненно, горячо поддерживал бы Находку, но Горький – житель Страны Советов 30-х годов – в лучшем случае уклонился бы от столь острого и опасного диалога. Этот второй подразумеваемый план сообщал пародии-стилизации вдвойне трагический смысл.

В противовес многозначной пародии Свирского не более чем стилистической переделкой кажется пародия Виктора Рубановича из цикла «Та самая Несси» – о загадочном лох-несском чудовище. В качестве сюжетной основы для неё был использован эпизод из рассказа Горь-

кого «Рождение человека». Однако в пародии вместо рождения нового ящера потуги чудовища кончились для взявшегося помогать автора конфузом: «плезаврка» всего-навсего облегчилась после вчерашнего переедания. «Лох-Несс смеялся. Дождь, хихикая, сек воду и землю. Ветер, надрываясь от хохота, выл и ревел...»

В контексте многочисленных пародий, составляющих цикл «Та самая Несси», эта миниатюра выглядит уместной и даже не лишенной логики: не раз Горький и сам показывал себя в нелепых ситуациях, пытаясь извлечь из них жизненные уроки. Но, будучи вырванной из потока таких же стилизаций и отнесённая к творчеству Горького, она приобретает вид до некоторой степени странный и по большому счёту неоправданный. Впрочем, и другие пародии на темы горьковских произведений настоящими пародиями назвать трудно. Они базировались на известных сюжетах и героях, но имели в виду совсем иные темы и смысловые акценты. Например, бандитской послеперестроечной эпохе нашего государства была посвящена пародия Вадима Дабужского с внешними перепевами ситуаций романа «Мать».

Вряд ли стоит упоминать о недавних имитационных вариантах переделок «Буревестника» – то в стиле всепроникающей рекламы, то в жанре репортажа о хоккейном матче или газетной заметки о ещё недавнем «вбросе» в торговую сеть дефицитных товаров. Известны более значительные перепевы, связанные непосредственно с именем создателя «Песни».

Революционные призывы мятущегося Буревестника самым болезненным образом отозвались в судьбах тех, для кого они в принципе предназначались. Русская интеллигенция, так ждавшая революционных перемен, оказалась у разбитого корыта: одна её часть очутилась за границей, другая, оставшаяся в России, была лишена возможности выражать свое мнение. Поэтому пародийные упоминания «Песни о Буревестнике», прозвучавшие из-за границы, имели весьма ядовитый смысл и агрессивное звучание.

С самого начала литературные достоинства «Песни» как бы не обсуждались. Борис Зайцев писал: «Литературно “Буревестник” убог». С этих же позиций он называл Горького «буревестником» с маленькой буквы, а его деятельность на пользу большевизму – «буревестничеством». Саша Чёрный не простил Горькому, укрывшемуся за границей, двойной игры:

Пролетарский буревестник,
Укатив от людоеда,
Издаёт в Берлине вестник
Под названием «Беседа»:
Анекдотцы, бормотанье
(Буревестник, знать, зачах!) –
И лояльное молчанье
О советских палачах...

Дон Аминадо в фельетоне «О птицах» не менее горько вспоминал о Буревестнике-провокаторе: «Явился самый главный – с косым воротом и безумством храбрых. Откашлялся и нижегородским баском грянул:

Над седой равниной моря...
Гордо реет буревестник,
Чёрной молнии подобный...

...Мы... сладострастным шёпотом декламировали:

Им, гагарам, недоступно
Наслажденье битвой жизни...

И рыча добавляли:

Гром ударов их пугает...

Но случилось так, что именно гагары-то и одолели...»

В стихотворении Валентина Горянского «Максиму Горькому», опубликованному в Париже, среди многих очень резких слов нашлось место для писателя и как автора «Песни».

Горянский в раздражении указывал на удивлявшее многих противоречие в творчестве и личной жизни Горького: с одной стороны – деклассированные элементы и романтика революции, с другой – обеспеченная и благополучная, чисто буржуазная жизнь в богатой Италии.

Получалось, что Горький в зависимости от политической ситуации, складывающейся вокруг него, ассоциировался то с Буревестником (или Соколом), то с Ужом. Владимир Маяковский требовал от писателя конкретизации положения среди друзей и врагов революции:

Алексей Максимыч,
из-за ваших стекол
виден
Вам
еще
парящий сокол?
Или
с Вами
начали дружить
по саду
ползущие ужи?

В журнале «На посту» в 20-е годы в период опалы писатель критиковался как «бывший Главсокол, ныне Центроуж». А почти сразу после этого в момент изменения ситуации Демьян Бедный, захлёбываясь от похвал, называл Горького «Буревестником классовой борьбы». Не отставали от литераторов и художники. На целом ряде карикатур писатель символично изображался то Буревестником, то Соколом (конечно, «над ревушим гневно морем»), иногда даже с поверженным Ужом в когтях.

Гораздо позже уже в перестроечные времена Феликс Кривин с присущей ему дотошностью обнаружил многозначительную фразу в энциклопедии «Жизнь животных»: «из буревестников в нашей стране гнездятся только глупыши». Он же обратил внимание на противоречие в написании и восприятии текста «Песни»: «Первым на здравый смысл замахнулся Максим Горький, сказавший незабываемые слова:

– Безумству храбрых поём мы песню!

Он сказал их для поощрения храбрости, но они были поняты как поощрение безумства. И безумства становилось всё больше, а храбрых почти не оставалось в стране».

«Двуглавым буревестником» назвал Горького Лев Колодный в книге «Поэты и вожди». Вторая голова, по всей видимости, должна была сви-

детельствовать о двуличии писателя в период тесного сотрудничества с вождями большевиков.

Мотив «Буревестника» возник и в пародии Зиновия Вальшонка на Г. Лонгфелло из цикла «Кошки-мышки»:

И индейский Буревестник
реял смело и свободно
вдоль земли оджибуэев
над седым от пены морем!

Он напомнил современному читателю, что «Песня о Буревестнике» появилась в 1901 году – всего через три года после перевода лонгфелловской «Песни о Гайавате», мастерски выполненного И. Буниным. Этого оказалось достаточно, чтобы зародить мысль о стилистических перепадах, иногда случающихся в поэзии. Зафиксировать такое явление чаще всего удается внимательным пародистам.

Оглядываясь на пародийные перевоплощения «Песни о Буревестнике», можно заключить, что независимо от времени появления они в основной своей массе стали своеобразными выразителями тех претензий, что накопились в обществе к творчеству и поведению Горького, и отражением противоречия между прекраснородушным, но абстрактным революционным романтизмом и практикой революционеров-реалистов.

Упомянутые в обзоре пародии, касающиеся Горького, несут заряд не столько литературный, сколько личностно-политический, обязанный той степени свободы, что ныне дозволена, и тем фактам из жизни писателя, что ныне введены в обиход. Тем не менее ретроспективный взгляд лишней раз подчеркивает неизбежность тем, поднятых писателем в своих произведениях, неисчерпаемость его творчества, его мощное влияние на мысли и чувства новых поколений.

Михаил ЧИЖОВ

Родился в 1946 году в Горьком. Окончил политехнический институт, работал в химическом объединении «Капролактамы» в Дзержинске, затем в органах охраны природы.

Автор нескольких сборников прозы и публицистики, лауреат премии Нижнего Новгорода. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

М. ГОРЬКИЙ. XXI ВЕК

Перечитывая «Заметки о мещанстве» и «Разрушение личности»

1

В самых первых своих рассказах Максим Горький весомо заявил, что его религия – Человек с большой буквы. Вспомним романтических героев начинающего писателя: Макар Чудра, Лойко Зобар, Радда, Данко с горящим сердцем, ведущим людей к свету из тёмного лесного царства. И таких людей Горький не находил на переломе XIX–XX веков в буржуазной России, в духовном смысле напоминающей душную, предгрозовую иссохшую от жара капитализма степь, жаждущую освежающего дождя. Капитализм Максим Горький характеризовал, как всегда, прямо и откровенно: «Зло жизни, он не стесняется своей ролью, он цинично откровенен в своих действиях и, нагло говоря грохотом машин “всё моё!”, равнодушно развращает людей, искажает жизнь» («Заметки о мещанстве», 1905 г.).

«Красивые – всегда смелы», но они, к сожалению, только в сказках. И эту сказку взялся приближать к реальности молодой писатель Максим Горький. Присматриваясь, прислушиваясь к людям из народа во время своих странствий по Руси в 1888–1889 и 1891–1892 годах, он понял, что они есть, эти красивые, гордые и сильные, как его Сокол, люди, но они задавлены гнусной действительностью, социальной несправедливостью, при которой им – нужда и тяжкий труд, а жестоким их гонителям – все блага, возможные на свете. И потому, гордясь русским народом, он тем не менее отмечал: «Народ по природе сильный и предприимчивый, он долго ничего не мог сделать своими крепкими руками, туго связанными бесправием; неглупый, он был духовно бессилен <...>, смелый, он двигался медленно и безнадежно, ибо не верил в возможность вырваться из плена...»

Максим Горький – один из первых высоких умов, кто на стыке XIX и XX веков художественными средствами заговорил об эксплуатации людей труда и необходимости их коллективного сплочения ради осво-

бождения от гнёта несправедливости. Стефан Цвейг в речи к 60-летию М. Горького резонно отметил, что ранее «все виды творчества в пределах Российской империи принадлежали дворянству (имеется в виду XIX век. – М. Ч.)... <...> Но вот происходит чудо, неожиданное и негаданное: тысячу лет молчавший народ внезапно сам обретает дар речи. Из собственной плоти он сотворил себе уста, из собственного глагола – своего глашатая, из собственной толщи – человека, и этого человека, этого писателя – своего писателя и заступника он вытолкнул из своего гигантского лона, дабы он всему человечеству подал весть о русской народной жизни, о русском пролетариате, об униженных, угнетаемых и гонимых».

Словно искра, вылетевшая из огнива, тема угнетения трудового народа зажгла мировой пожар осуждения капиталистической действительности. Француз Анри Барбюс с романами «Огонь» и «Свет из бездны», датчанин Мартин Андерсен Нексе («Пелле-победитель»), американец Джек Лондон («Люди бездны», «Железная пята»), словно вторя Максиму Горькому, подняли свой голос в защиту обездоленных тружеников, боль за которых стала их личной болью. «Я не могу допустить примирения между поработителем и поработленным. Противоречия жизни должны быть свободно развиты до конца, дабы из трения их вспыхнула истинная свобода и красота, животворящая, как солнце. Великое, неисчерпаемое горе мира, погрязшего во лжи, во тьме, в насилии, обмане, – моё личное горе», – писал Горький в «Заметках о мещанстве».

Почему же в XXI веке в России (впрочем, и в мире тоже) ничтожно мало публицистов и писателей, воспринимающих горе народа как своё личное, как Максим Горький? И разве российский капитализм с «суверенной демократией» чем-то лучше всех других национальных капитализмов мира?

Может быть, не только пишущей интеллигенции, но и самим **современным** рабочим неинтересна правда, как интересна она была Павлу Власову, герою романа «Мать»?

«Люди плохи, да. Но когда я узнал, что на свете есть правда, – люди стали лучше!»

Карл Каутский писал М. Горькому в 1907 году после прочтения романа «Мать»: «Сила и художественная выразительность позволяют мне так глубоко проникнуть в эти условия, будто я сам в них жил». Далее он признавался: «...если Толстой учит меня понимать Россию, которая была, то Ваши работы учат меня понимать Россию, которая будет, понять те силы, которые вынашивают новую Россию».

Или в XXI веке физический труд стал легок, как детская игра, а между рабочим человеком и его хозяином (работодателем) наступило полное взаимопонимание и блаженный мир, при котором хочется лишь смеяться от радости и чувства глубокой надежды на светлое будущее без угроз увольнения и других санкций? И не нужно вовсе искать правду, как искал её Павел Власов?

Несомненно, заводской труд на станках с цифровым программным управлением, каждый из которых управляется бригадой из 26 программистов, а сам станок представляет собой по кубатуре целый цех времён Максима Горького, стал гораздо легче и интеллектуальнее. А значит, и капитализм стал более человечным к людям, работающим на владельцев «заводов, газет, пароходов»? И сами они, хозяйва жизни, «которые захватили в свои руки власть над всей землёй и над человеком и всё хотят развить, укрепить эту власть силой золота», стали добрее к своим подчинённым? Что они не «обезумели от жадности» и не «стали глупыми

и жалкими рабами своих фабрик и машин, своих векселей и золота, зарвались, запутались в сетях дьявола наживы...»?

Они лишь стали хитрее и изворотистее, тем и сохраняют своё господство.

И странно слышать призывы некоторых государственных мужей и СМИ, их обслуживающих, к единению рабочих и капиталистов, к их примирению. Эти призывы в своё время слышал и Максим Горький, оценивая их так: «Они хотят примирить мучителя и мученика и хотят оправдать себя за близость к мучителям, за бесстрашие своё к страданиям мира» («Заметки о мещанстве»). И эти призывы – суть проявления мещанства, утверждает он. «Роль примирителя – двойственная роль, и мещанин – вечный пленник внутреннего раздвоения. Всё, что он когда-либо выдумал, носит в себе непримиримые и подлые противоречия. Он в одно время даёт человеку бутылку водки и книжку о вреде алкоголя, взимая с того и другого товара известный процент в свою пользу».

Ах, как точно и мудро подметил Горький мещанскую сущность, совсем не изменившуюся за последние сто с лишним лет. Не это ли мы, граждане России, видим сейчас, но не признаём правду истиной. Почему?

Да, сейчас не индустриальное общество, которое обвинял М. Горький, а информационное и постиндустриальное, суть его кратко можно выразить всем известным умением вешать лапшу на уши. Другими словами, оно в искусстве манипулировать сознанием так, чтобы человек верил не упрямым фактам, а словам, льющим с экранов ТВ, со страниц газет и мониторов персональных компьютеров. Факты же таковы, что наёмные работники в офисах и цехах постоянно находятся под наблюдением видеокамер, показывающих не только картинку, но и записывающих звук. Такой колпак страшнее, чем контроль надсмотрщиков на рабовладельческих плантациях в Древнем Риме и в США XVIII–XIX веков или контроль цеховых мастеров на заводах царской России. В XXI веке хозяева жизни хотят иметь в своей собственности не только тело и руки труженика, но его мысли и душу. Втайне они хотят совсем отказаться от живых работников, заменяя их роботами и андроидами. Без живых работников меньше хлопот.

Современное научно-техническое развитие, финансируемое теми же капиталистами, успешно решает задачу роботизации промышленного производства. Капиталисты хотят снять с себя ярлык эксплуататора и выдать себя за благодетелей человечества. Это им удаётся. Ну как же, они заботятся о здоровье рабочего и заменяют тяжёлый ручной труд машинным, внедряют автоматику, роботы! Кроме этого, они поставили на службу себе философию. Для сокрытия преступлений капитала придумано течение социал-дарвинизма. Вкратце оно гласит: богатый человек добр и заботлив. Он платит большие налоги, благодаря которым кормится бедный и неблагодарный нищерброд, носитель всемирного зла и смуты.

2

Наряду с основной задачей постиндустриального общества, сокрытие эксплуататорской сущности капитализма «нового» типа, поставлена задача атомизации трудящихся, чтобы каждый из них думал только о своей рубахе на грешном теле. Последствия этого каждый из нас, живущий в России, наблюдает ежечасно и ежедневно. Все заметили, как с возвратом капитализма будто по мановению волшебной палочки низко пали в обществе культура, нравы и иссякло, словно испарилось

творчество. Четверть века назад пришла упорно призываемая либеральной интеллигенцией свобода творчества, но что-то никто не создал нечто похожего на «Берегись автомобиля» и «Девять дней одного года» в кинематографе и не написал рассказа, равного по силе воздействия «Судьбе человека» и «Уроков французского». Рухнула так называемая тоталитарная советская система, принижающая возможности человека по утверждению либеральных буржуа, а результат? Итогом стала культурная и моральная опустошенность. Все это заметили, но мало кто задумался: почему так?

Максим Горький в статье «Разрушение личности» (1909) четко ответил на этот вопрос. Читаем и запоминаем: «Каждый знает, какую роль играла частная собственность в дроблении коллектива и в образовании самодовлеющего «я», но в этом процессе мы должны видеть, кроме физического и духовного порабощения народа, распад энергии народных масс, постепенное уничтожение гениальной, поэтически и стихийно творящей психики коллектива, которая одарила мир наивысшими образами художественного творчества».

Пришедший на смену советскому коллективизму буржуазный индивидуализм (не путать с индивидуальностью) заживо похоронил народное творчество (речь не идет об уже созданные и ранее разработанные его виды). Творчество народа Горький характеризовал весьма категорично: «Искусство – во власти индивидуума, к творчеству способен только коллектив. Зевса создал народ, Фидий лишь воплотил его в мрамор».

После буржуазной контрреволюции народ с 1991 года замкнул свои уста и душу, даже политических анекдотов в лихие 90-е было не услышать. Причина молчания – грандиозный обман: национальная собственность, ради укрепления которой народ отдавал здоровье и свои жизни, была передана в частные руки. «Народ безмолвствует», – отметил Пушкин, заканчивая драму «Борис Годунов». После этого молчания и апатии во время правления царя Бориса наступила великая российская Смута начала XVII века. Что случится с Россией после народного молчания новейшего времени, остаётся только догадываться. Очевидно лишь одно: молчащий народ, потерявший энергию, или пассивность (по определению Льва Гумилёва), не способен выдвигать из своих рядов героев, о которых мы начали статью. «И всегда и всюду на протяжении истории – человека создавал народ», – констатировал Максим Горький. Активный, ищущий народ, – добавим мы от себя, – объединённый общей идеей созидания.

Разобшённый, запуганный и безмолвный народ весьма и весьма желаем капиталистами – им легко управлять. Максим Горький, анализируя принципы капитала, говорит, что тот строит общество по типу толпы – группы людей, связанных между собой временно, непрочно и по сиюминутному настроению. В такой системе, говорит Горький, «нет творческой, то есть социальной связующей идеи, и не может быть длительного единства энергии, – каждый субъект является носителем грубо и резко очерченного самодовлеющего “я”».

Причинно-следственная цепочка в таком случае складывается вполне очевидная. Без коллективной идеи, объединяющей отдельных людей в народ, исчезает в нём созидательная энергия, подвигающая массы к творчеству. Без творчества хиреет культура, падают нравы в обществе, индивидуумы мечутся из угла в угол, погружаются в оккультные верования, бросаются в разврат, кто верит в Бога, кто-то преклоняется перед дьяволом. Короче говоря, кто в лес, кто по дрова.

Особое место в развитии общества как во времена Максима Горького, так и в XXI веке занимает интеллигенция, заслуги которой в русском искусстве и в технике весьма и весьма значительны, но велика её вина в разрушении государства российского. И притом неоднократного: и в 1917, и в 1991 годах. Стоя всю жизнь на материалистических позициях, Максим Горький был уверен: чтобы понять психику любого человека, нужно определить его социальное положение. Положение интеллигента он определял так: «Позиция интеллигента в жизни была столь же неуловима, как социальное положение бесприютного мещанина в городе: он не купец, не дворянин, не крестьянин, но – может быть и тем, и другим, и третьим, если позволят обстоятельства». Очень верное замечание, полностью отвечающее поговорке о никчёмных людях: ни в городе Богдан, ни в селе Селифан. Тут требуется уточнение к словам Горького «но может быть и тем, и другим, и третьим» – может, но **не хочет**, и никакие обстоятельства не будут тому причиной. Интеллигент третьего и четвертого поколения скорее умрёт с голоду, чем станет крестьянином, потому что он презирает труд, особенно физический. Трудящийся человек для него – «неуловим, непонятен и внушает интеллигенту спутанное чувство робости перед ним, удивления и ещё каких-то ощущений, которые интеллигенту не хочется и трудно определить, но в которых мало лестного для мужика» («Разрушение личности»).

Так считает Горький, и думается, что он прав на все 100%, будто и не прошёл век. Впрочем, действительно, не прошёл, потому что Россия, предав социалистический метод, отброшена в идейном и экономико-политическом плане на сто лет, в эпоху первоначального накопления капитала или дикого капитализма. Ту, что мы проходим в текущий момент. Потому-то все характеристики, данные Максимом Горьким в 1909 году русским интеллигентам, писателям и мещанам, идеально подходят к ним и в XXI веке.

«Современного литератора, – пишет Горький в статье “Разрушение личности”, – трудно заподозрить в том, что его интересует судьба страны. <...> для них родина – дело, в лучшем случае, второстепенное, <...> проблемы социальные не возбуждают их творчества в той силе, как загадки индивидуального бытия, <...> главное для них – искусство, свободное, объективное искусство, которое выше судеб родины, политики, партий и вне интересов дня, года, эпохи. Трудно представить себе, что подобное искусство возможно». Оно не только возможно, но очень даже процветает, судя по победителям и лауреатам таких литературных премий, как «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский Букер». В лучшем случае темами их произведений становятся описания жизни великих людей прошлого, мистика, истории давно минувших лет, различные утопии и антиутопии, оторванные от реальной жизни, в худшем – опошление и надругательство над советской историей с её достижениями. И те и другие с обязательным русофобским душком. Она-то, русофобия, и является своеобразным пропуском к зарубежному читателю, привычно поносящему всё русское от творчества до спорта. Эти творения активно переводятся на иностранные языки именно в силу негативного отношения к советской и русской истории.

Почитайте произведения большинства лауреатов вышеуказанных премий, и вы согласитесь с мнением Максима Горького, описывающим этих авторов: «...для всех их одинаково характерна чрезмерно лёгкая

возбудимость психического аппарата, быстрая смена его возбуждений, настроения угнетающего свойства, отрывочный ход идей, социальная тупость...».

Сравнивая литературу 80-х годов XIX века и литературу начала века двадцатого, Горький отдаёт явное предпочтение литературе прошлого, говоря, что «интеллигентское “я” того времени было всё-таки более чутким этически, – в нём ещё заметна здоровая брезгливость юности, оно не проповедовало педерастии и садизма, не смаковало картины насилия женщин». В начале века XXI русскоязычное искусство пустилось во все тяжкие. Проповеди свободы секса, педерастии, садизма, характерные для буржуазных мещан от искусства, возведены в превосходную степень. Теперь уже не только с текстовыми описаниями постельных сцен можно ознакомиться в «художественных произведениях», но и увидеть их, как своеобразные инструкции в натуре, со сцен театров и на экранах кино.

То, что литература и искусство в целом начала XXI века является нерасторжимой частью культуры начала века двадцатого, нет ничего удивительного. И та и другая её части отражают схожую капиталистическую действительность, хотя и разделена она веком. Угол падения равен углу отражения, и отражается художественный луч от абсолютно одинаковой поверхности: достижение наживы любой ценой, восхваление и преклонение перед сильными мира сего и западными «учителями», презрение к трудящимся людям, очернение истории страны. Потому-то характеристики Максима Горького так убийственно верны, поражают не бровь, а глаз и лишний раз подтверждают истину, что бытие определяет сознание. Бытие же вековой давности и бытие нынешнее похожи, как сиамские близнецы.

Раз за разом Горький восхищает нас, читателей XXI века, пророческим даром. Вот слушайте: «На Руси великой народился новый тип писателя, – это общественный шут, забавник жадного до развлечения мещанства, он служит публике, а не родине, и служит не как судия и свидетель жизни, а как нищий приживал – богатому. <...> Современный русский “вождь общественного мнения” утратил презрение к пошлости: он берёт её под руку и вводит в храм русской литературы. <...> Он научился ловко писать, сам стал фокусником слова и обнаруживает большой талант саморекламы. Иногда и он крикливо, как попугай, порицает мещанство; мещанин слушает и улыбается, зная, что задорные эти слова – лай комнатной собачки и что сахаром ласки легко вызвать у неё благодарный визг. <...> в них с поразительной быстротой выявлялась органическая неспособность интеллигента к дисциплине, к общежитию, и немедленно чёрным призраком вставала роковая и отвратительная спутница русского интеллигента – позорно низкая оценка человеческого достоинства ближнего своего».

Да, что-что, а способностью к саморекламе, или самопиару, как говорят ныне, писатель XXI века обладает уникальной. Он пользуется малейшей возможностью засветиться на экране телевизора, прекрасно понимая, что не талант, не знания, не опыт жизненный, не сострадание к человеку важны в век социальных сетей и телевидения, а количество выходов на экран. Массовая мещанская культура, а иной при капитализме быть не может, признаёт только тех, кто имеет покровительство хозяев, тех, кто имеет много «лайков» в соцсетях.

Максим Горький, говоря о неуважении к собрату по перу и к ближнему своему как «позорному спутнику» интеллигента, писал: «...иногда

от кого-нибудь из них мы узнаём, что кто-то из предков Льва Толстого служил в некоем департаменте, Гоголь обладал весьма несимпатичными особенностями характера...» Вот и в XXI веке вдруг читаем у писателей и «исследователей», что Чехов посещал проститутток, а Зоя Космодемьянская была шизофреничкой.

Всё изложенное выше даёт нам полное право поставить в текст выводов Максима Горького фамилии нынешних русскоговорящих (и только) «культурных просветителей». В этом случае мы будем иметь следующее: «Когда люди типа господина Мережковского (К. Серебrenникова, К. Райкина, А. Макаревича, Ч. Хаматовой, Л. Ахеджаковой и т. д. и т. п. – добавлено мной. – М. Ч.) кричат и поют о необходимости защиты “культурных ценностей”, “наследия веков”, то им не веришь».

4

В последние годы жизни М. Горький считал главным делом работу над романом-эпопеей «Жизнь Клима Самгина», этой, по сути, истории духовной жизни России на рубеже XIX–XX веков. Созданный им образ Клима – типичнейший образ хлюпика-интеллигента XX века, «лишнего» человека, такого же, какими в своё время были Евгений Онегин, Григорий Печорин, Владимир Бельтов. Над чем бы Самгин ни думал, сознание его всегда на перепутье, он не может ни в чём конкретно определиться, ответы на чёткие вопросы у него всегда между «да» и «нет». И потому жизнь Самгина – это синтез наблюдений с 1905 года (время написания статьи «Заметки о мещанстве») М. Горького над российской интеллигенцией и анализ мировоззрения этой так называемой прослойки, так дорого обходящейся российскому государству в его «минуты роковые».

Именно такие интеллигенты (а их в России немалое число), прозревая в Самгине свою сущность, в годы перестройки и позднее возложили на Горького ответственность за «сталинский» социализм, ненавидимый ими до глубины души. Дискредитация писателя в начале 90-х формировалась и проходила в условиях «борьбы с советским тоталитаризмом», с социализмом как политической системой, с «проклятым наследием» коммунистических идей. Обладая весьма прочной злой памятью, интеллигенты до сих пор не могут простить Максиму Горькому его провидческие определения, раскрывающие их гниловатую суть. Так, на передаче «Культурная революция» один из поэтов (лауреат «Букера») ничтоже сумняшеся навесил на Горького такие ярлыки: «босьяк, люмпен из мещан, ловкий актёр и лицемерный позёр». Вот оно, истинное проявление культуры интеллигента, верно подмеченное М. Горьким. Однако поэту показались оскорбления недостаточными и завершил он свою «разоблачительную» речь совсем уж неприличным: «На руках Горького, как и Сталина, вся кровь, пролитая в стране до и после 1937 года». Несколько мягче рассуждал на этой передаче другой лауреат «Большой книги».

Базарно-уголовный диалект, характерный для нынешних «интеллигентов», дал основание Виталию Третьякову (политологу, автору и ведущему философской телепрограммы «Что делать?») утверждать в одной из статей, что русской интеллигенции в XXI веке не стало. Возможно, что так, но русскоязычная «интеллигенция» продолжает здравствовать и процветать, как змея, на шее доверчивого народа.

И ещё факт, что вызывает ненависть у «интеллигентов» к «босьяку» Максиму Горькому и другим русским «босьякам» из народа (С. Есенин,

например), что он (они), по словам Андре Жида, стал «всемирно услышанным» писателем. И ещё он сказал: «Ни один русский писатель не был более русским, чем Максим Горький». Нынешним «интеллигентам», несмотря на мощные СМИ, на социальные сети, паутиной опутавшей земной шар, никогда не стать всемирно услышанными, потому что недалёк их кругозор и убоги идеи, которые они пытаются пропагандировать.

«Интеллигентов» бесит вся та огромная переписка, которую вёл М. Горький с великими людьми своего времени (20 000 писем), в том числе и с зарубежными. Эпистолярное это наследие говорит об огромном уважении к русскому писателю из народа, а значит, и к самому народу, к русскому миру, ярко воплотившемуся в таланте М. Горького. Когда в конце 1905 года в разгар революционных боев в Москве М. Горького арестовали в Риге, а затем перевезли в Петропавловскую крепость, за его освобождение поднялась вся мировая общественность. Свободу Горькому требовали Анатолий Франс, Огюст Роден, Марк Твен, Анри Барбюс, Мартин Андерсен Нексе и другие. После освобождения Максим Горький уехал в США, создав там знаменитый очерк «Город жёлтого дьявола» и роман «Мать».

Есть и объективные (не зависящие от сознания) причины некоторого забвения М. Горького. Сейчас в России, как и во всем мире, у власти теснятся представители «одномерного» человека, мещанина, поклонники жёлтого дьявола – самого главного врага Максима Горького, которому он противопоставлял Человека с большой буквы. Героя – сильного, красивого, справедливого, благородного. Потому М. Горький выведен из школьных программ, потому сменили название улицы в Москве на безликую Тверскую, потому убрали памятник буревестнику революции с площади Белорусского вокзала в той же Москве во времена мэрства «интеллигента» Гавриила Попова. К счастью, вернули на место спустя четверть века, в июне 2017 года.

И как бы там ни было, прежде всего он был народным заступником, а не просто пролетарским писателем, как его представляют сейчас «интеллигенты». Они чётко понимают, что в условиях постиндустриального общества надобность в пролетариате резко уменьшилась, а значит, должен исчезнуть из памяти народа его защитник и их идейный противник, колющий им глаза правдой, как иглой. Мелкобуржуазное общество – их питательная среда. Аморфное время без чёткой дисциплины и ответственности, но с воровством на всех этажах «социального лифта», время болтливых «лириков» в ущерб практичным «физикам», время голого расчёта вместо искренней любви, время суетливых подхалимов и забвения здоровых, прямых мыслителей. Это общество и само мещанство – «бездонно жадная тряпина грязи, которая засасывает в липкую глубину свою гения, любовь, поэзию, мысль, науку и искусство» («Разрушение личности»). Вот почему в XXI веке нет гениальных произведений, подобных горьковским, усыхает наука и творчество, нет Человека, ничтожно мало Героев.

Остаётся лишь надеяться, что народ и писатель Максим Горький останутся неотделимы друг от друга. Или, как писал (1928 г.) в заключение своей речи Стефан Цвейг: «Мы приветствуем Максима Горького, народом рождённого художника, и русский народ, который сам стал художником в его лице».

Быть тому!

Ирина КУЗНЕЦОВА

Родилась в 1948 году в деревне Рекшино Горьковской области. Окончила Институт им. И.Е. Репина АХ СССР.

Заместитель директора по научной работе Нижегородского государственного художественного музея.

Автор книг и статей по искусству. Член Союза художников России. Живет в Нижнем Новгороде.

ДАРЫ МАКСИМА ГОРЬКОГО

Нижегородский государственный художественный музей – один из старейших в России, насчитывает около двенадцати тысяч произведений отечественного и зарубежного искусства. Формирование его собрания шло различными путями. Заметную роль в этом процессе сыграл Алексей Максимович Горький.

Известно, что Горький был страстным коллекционером с широчайшим диапазоном интересов. Он приобретал картины, рисунки, старинные монеты, оружие, медали, книги, предметы декоративно-прикладного искусства. В поисках интересных экспонатов писатель посещал выставки и мастерские художников, Нижегородскую ярмарку, антикварные лавки. Зная об увлечении писателя, многие художники дарили ему свои произведения. Современники, в частности Д.Д. Бурлюк, В.Ф. Ходасевич, Д.С. Богородский, отмечали, что А.М. Горький не только горячо любил изобразительное искусство, но и прекрасно разбирался в художественных направлениях, стилях, индивидуальных манерах как отечественных, так и зарубежных мастеров, великолепно знал искусство народов Востока. Но главным художественным пристрастием писателя было современное русское искусство. В его собрании находились работы И.И. Левитана, А.Е. Архипова, М.В. Нестерова, Ф.С. Богородского, Н.Н. Дубовского, П.П. Верещагина, графические листы И.Е. Репина, С.А. Сорина, П.М. Боклевского, П.Д. и А.Д. Коринных, скульптурные работы И.Я. Гинзбурга, С.Н. Судьбинина, Н.А. Аронсона. Горький в отличие от большинства коллекционеров не был привязан к своей коллекции. Его собирательство носило общественный характер. Многие произведения из своего собрания писатель просто дарил музеям, родным, друзьям, причем делал это с учетом специализации музея или вкусов частного лица. Так, уникальная коллекция восточного декоративно-прикладного искусства в 1921 году была подарена Этнографи-

ческому музею в Ленинграде, коллекция античных монет – Нижегородскому городскому художественному и историческому музею, книги (около 600) – Нижегородской публичной библиотеке, старинное оружие и рыцарские доспехи – Ф.И. Шалапину и т. д.

Судя по скудным архивным данным, в 1901 году Горький передал на хранение в Нижегородский музей свинцовые слепки 185 медалей. Вскоре они вместе с другими предметами: монетами, жетонами, бытовыми антикварными предметами – были оформлены как дар, став первым пожертвованием писателя в собрание музея. В 1904 году, перед отъездом из Нижнего, Горький сдал на хранение (с правом экспонирования) еще 31 предмет, в том числе картины, графические листы и скульптурные работы. Среди них особый интерес представляли пейзаж И. И. Левитана (которым писатель очень дорожил), акварели М.В. Нестерова «Святой Кирилл» и «Святой Мефодий», созданные в процессе подготовительной работы для росписи Владимирского собора в Киеве и проникновенный, типично нестеровский «Весенний пейзаж», написанный к картине «Преподобный Сергий Радонежский» и подаренный писателю самим художником, о чем свидетельствует надпись в углу картины. В оставленной писателем коллекции находились также авторизованные копии картин К.А. Савицкого, И.Е. Репина, Н.Н. Ге, В.Д. Поленова и других.

В 1909 году А. М. Горький направил городскому голове В.А. Гориневу письмо с предложением «отдать в собственность музея» картины, находившиеся на хранении в Нижегородском музее. Предложение было принято «с глубокой благодарностью» членами комитета по управлению музеем, отметившими, что этот ценный дар «обогащая городской музей, в то же время будет служить и напоминанием о щедром жертвователе – славном и талантливом писателе-нижегородце». На заседании 6 октября 1909 года А. М. Горький единогласно был избран почетным членом комитета музея и оставался им до конца жизни.

В послереволюционные годы, живя в основном в Италии, Горький не терял связи с родным Нижним и его музеями.

К концу 1936 года в собрании Художественного музея находились поступившие по завещанию писателя полотна Б.М. Кустодиева и Н.К. Рериха, картины Л.В. Туржанского («Лошади»), А.А. Рылова («Медведица с медвежатами», «Ветви ели»), К.А. Вещилова («Зимний пейзаж»), В.Н. Мешкова («Стадо на фоне гор»), В.К. Бялыницкого-Бирули («Весна»), В.Л. Яковлева («Москва»), П.П. Кончаловского («Сорренто») и другие.

Наиболее значительными из всех даров А.М. Горького Художественному музею являются коллекции живописных произведений Б.М. Кустодиева и Н.К. Рериха, выделенные в самостоятельные монографические залы постоянной экспозиции отечественного искусства. Оба художника, вероятно, были близки писателю как цельностью и глубиной природы, так и яркой оригинальностью и индивидуальностью творческой манеры.

Выросший на Волге, в крупном торговом городе – Нижнем Новгороде, А.М. Горький досконально знал жизнь русской провинции и высоко ценил личность и творчество ее бытописателя – Б.М. Кустодиева. Самобытные, красочные полотна художника привлекали писателя сложной гаммой чувств и настроений: от любования до иронии, с которой Кустодиев воспроизводил особенности провинциального быта и нравов.

Алексей Максимович познакомился с Кустодиевым еще в начале века, приобретал его картины для своей коллекции, проявлял заботу о живописце с нелегкой судьбой. Дочь художника, Ирина Борисовна, вспоминала, как, навестив в мае 1919 года парализованного Кустодиева, Горький долго говорил о своем восприятии и понимании его картин, значении их для народного сознания, «народной истории». Для измученного тяжким недугом живописца это были не только добрые слова утешения, но и объективная оценка великого писателя его роли в отечественной культуре. Вскоре Кустодиев отправил Горькому уменьшенный вариант знаменитой «Красавицы», сопроводив его письмом, в котором подчеркнул, что Горький был первым, кто так «проникновенно и ясно выразил то, что (художник. – И. К.) хотел в ней изобразить».

Шесть картин Кустодиева из коллекции Горького (одна из них двусторонняя) дают представления о тематической и стилиевой эволюции художника и об особенностях его творческого метода.

Наиболее ранней по времени создания является картина «На террасе» (1906 г.). Это своеобразный групповой портрет семьи художника, изображенной за чаепитием на веранде дома – мастерской «Терем» в Кинешемском уезде Костромской губернии. Выдержанное в светлой холодной гамме полотно раскрывает гармоничное единение человека и природы.

Острое видение природы, знание человеческого характера в соединении с поисками собственного стиля проявилось в двойном портрете «На приеме» (1907), где художник изобразил двух священнослужителей, окормлявших паству небольшой сельской церкви.

Характерными (по тематике и манере письма) для творчества Кустодиева являются картины зрелого периода: «Купчиха, пьющая чай» (1923), «Вербный торг у Спасских ворот» (1917), «Купец-сундучник» (1923). В них с искренней любовью и тонким юмором художник запечатлел национальное своеобразие русской провинциальной жизни, изобразив сцены народного гулянья, колоритный быт и образы купечества.

Самым знаменитым произведением в горьковской коллекции Б.М. Кустодиева является полотно «Русская Венера», написанное на оборотной стороне картины «На террасе» в 1925–1926 гг., за год до смерти художника. Сын Кустодиева Кирилл Борисович вспоминал обстоятельства создания полотна: «Время было трудное, и для картины не нашлось холста нужного размера. Поэтому по просьбе отца я взял его старую картину “Терем” (групповой портрет), натянул обратной стороной на подрамник и загрунтовал. Отец приступил к работе». Так на одном холсте появились две картины, разделенные по времени на 20 лет. В «Русской Венере» большой художник воплотил не только народный идеал женской красоты, но и свою безграничную любовь к жизни во всех ее проявлениях. Узнав о смерти «солнечного живописца», Алексей Максимович с горечью писал: «Кустодиева жалко, отличный был художник. Торопятся умирать русские люди».

Из одиннадцати картин художника-мыслителя Н.К. Рериха, хранящихся в музее, восемь подарены А.М. Горьким. Писателя и художника связывали долгие деловые и дружеские отношения. Трудно сказать, когда произошло их знакомство. Известно, что в 1904 году они оба входили в число пайщиков проектируемого в Петербурге Нового, или Оперного театра при Народном доме Николая II, в 1905–1906 годах посещали «литературные среды» в знаменитой «башне» Вячеслава Ива-

нова. Н. Рерих бывал на квартире у Горького, общаясь там со многими знаменитыми современниками.

В свою очередь, Горький был частым гостем семьи Рерихов, внимательно следил за творчеством художника. Юрий Николаевич, старший сын Н.К. Рериха, рассказывал о том, что Алексей Максимович подолгу засиживался у них дома в Петербурге, увлеченно беседовал с отцом о памятниках культуры народов Востока, в частности о мифологии и философии Индии, с глубоким интересом расспрашивал Николая Константиновича о его археологических изысканиях, замыслах и планах будущих экспедиций в Индию, Тибет и Китай.

В 1915 году М. Горький посетил выставку «Мир искусства», где экспонировалось несколько новых работ Н. Рериха. «Он очень хотел иметь мою картину, – вспоминал художник. – Из бывших тогда у меня он выбрал не реалистический пейзаж, но именно одну из так называемой “предвоенной серии” – “Город осужденный”, именно такую, которая ответила бы прежде всего поэту» .

Горький называл Рериха за эту серию «прорицателем» и «величайшим интуитивистом современности». Высоко оценивал он и белые стихи Рериха – своеобразные философские притчи, называя их за торжественность стиля «письменами».

В своем литературно-публицистическом и поэтическом творчестве Рерих неоднократно обращался за советами к писателю, ему первому показывал свои стихи и статьи. Позднее, находясь за границей, издавая сборник статей и очерков «Пути благословения», Рерих дает поручение своему секретарю Шибаеву послать два экземпляра книги (в русском новом правописании) Горькому в Берлин с приложенным письмом.

В очерке «Друзья», перебирая в памяти людей близких ему духовно, Рерих называет имена Максима Горького и Леонид Андреева. «Случалось так, что Горький, Андреев, Блок, Врубель и другие приходили вечерами поодиночке, и эти беседы были особенно содержательны. Никто не знал об этих беседах при опущенном зеленом абажуре. Они были нужны, иначе люди и не стремились бы к ним. Стоило кому-то выйти, и ритм обмена нарушался, и торопились по домам. Жаль, что беседы во ночи нигде не записаны. Столько было затронуто, что ни в собраниях, ни в писаниях никогда не было отмечено», – вспоминал художник.

Внутреннее родство писателя и художника проявлялось не только в этих «потаенных» сокровенных беседах, но и в совместной просветительской деятельности, в частности в работе в литературно-художественных организациях, в издательствах: Сытина (по изданию серии книг по искусству для народа) и «Нива» (по реорганизации журнала), общественных комитетах. Горького и Рериха объединяли устремленность к миру, патриотизм, осознание миссии культуры, искусства в формировании сознания народа. И вполне закономерно, что в марте 1907 г., обеспокоенный судьбой памятников культуры, Горький собирает у себя на квартире цвет интеллигенции – большую группу художников, писателей и артистов (А.Н. Бенуа, Ф.И. Шаляпина, К.С. Петров-Водкина, И.Я. Билибина и других).

Создается комитет по делам искусств, председателем которого становится А. М. Горький. Своими заместителями он назначает Н.К. Рериха и А.Н. Бенуа. Комитет обращается к народу с воззванием: «Граждане! Берегите дворцы, они станут дворцами нашего всенародного искусства, берегите картины, статуи, здания – это воплощение духовной

силы вашей и ваших предков, не трогайте ни одного камня, охраняйте памятники, здания, старые вещи, документы – все это ваша история, ваша гордость» .

Время развело писателя и художника, но сохранило их духовную близость. Н. Рерих в 1917 г. отправляется в Финляндию, затем в Англию, США, Индию. С 1925 по 1927 год предпринимает знаменитую Центрально-Азиатскую экспедицию по маршруту: Индия, Гималаи, Тибет, Китай, Монголия, снова Индия.

В ходе путешествия в Хотане (Западном Китае), в 1925–1926 гг. было написана одна из лучших живописных серий Н. Рериха «Майтрейя (Красный всадник)», состоящая из семи картин, объединяющих прошлое, настоящее и будущее народов Центральной Азии. Она является удивительный сплав реальности и мифа. В конкретные пейзажные мотивы, жанровые сцены органично вплетены символы, образы и знамения, связанные с древними восточными легендами о заповедной Шамбале – стране мира, счастья и всеобщего благоденствия, которая появится с приходом Будды грядущего – Майтрейи.

В июне 1926 г., завершив первый этап экспедиции, Рерихи прибыли в Москву. Выполняя высокое поручение, художник передал советскому правительству Послание махатм (духовных учителей Востока), ларец со священной гималайской землей «на могилу В.И. Ленина», а от себя несколько картин, созданных во время путешествия, и прежде всего серию «Майтрейя». В конце лета 1926 г., получив экспедиционные паспорта, Рерихи выехали на Алтай, затем отправились в Монголию и оттуда караванными тропами через Тибетское нагорье и Трансгималаи в Индию. В горной долине Кулу, в Северных Гималаях художник поселился с семьей, как полагал – временно. Здесь прошел последний, «индийский» период его жизни.

Судьба оставленных в Москве картин оказалась непростой. Известно, как они попали к А.М. Горькому. Документальных данных об этом нет. По одной из версий, Горький, вернувшийся в начале 1930-х годов из Сорренто, посетил А.В. Луначарского, где увидел в кабинете наркома аккуратно сложенные полотна. Впоследствии эти картины Рериха были подарены советским правительством писателю и украшали столовую его подмосковной дачи в Горках. Их видела и описала в своих воспоминаниях художница В.М. Ходасевич, отмечавшая, что «картины эти нравились Алексею Максимовичу. Правда, он говорил про них лишь: “Любопытные вещи”». Более ранние работы Рериха Горький больше ценил и отдавал ему должное как одному из крупнейших самобытных русских художников. В 1936 году серия «Майтрейя», картины «Красные кони» и «Явление срока» в числе произведений других художников по завещанию Горького были переданы в дар Горьковскому художественному музею.

К личности А.М. Горького, его творчеству, значению в истории отечественной и мировой литературы Н.К. Рерих неоднократно обращался в устных выступлениях и статьях («Горький», «Друзья», «Голос Горького»). В далеких Гималаях, получив известие о смерти духовного брата, он пишет статью «Горький», посвященную памяти писателя: «За последние месяцы ушли три великих русских: физиолог Павлов, композитор Глазунов и теперь Горький.

Как о всяком большом человеке и великом таланте, около Горького собралось много легенд, а с ними и много наветов. Кто-то хотел его представить бездушным материалистом, кто-то вырывал из жизни

отдельные словечки, по которым нельзя судить ни человека, ни произведение. Но история в своей неподкупности выявит в полной мере этот большой облик, и люди найдут в нем черты, для многих совсем неожиданные...

Через все уклоны жизни, всеми путями своего разностороннего таланта Горький шел путем русского народа, вмещаая всю многогранность и богатство души народной» .

Произведения столь разных художников – почвенника Кустодиева и космиста Рериха, находившиеся в коллекции Горького, свидетельствуют о широте и разносторонности интересов писателя и глубине его натуры.

В 1948 году в Горьковском государственном художественном музее была открыта выставка, посвященная 80-летию со дня рождения Алексея Максимовича Горького. На ней экспонировались подаренные писателем произведения, а также картины и рисунки советских художников, посвященные его жизни и творчеству. Выставка явилась данью уважения и признательности нижегородцев-горьковчан своему великому земляку.

Вячеслав ФЕДОРОВ

Родился в 1947 году в г. Шумерля Чувашской Республики. Журналист, краевед. Более двадцати лет работал в горьковской молодежной газете «Ленинская смена», вел военно-патриотическую тему. Побывал во многих военных и во всех пограничных округах, в горячих точках: афганское приграничье, Нагорный Карабах, Чечня.

Автор трех книг и составитель десяти сборников на военную тему, за которые получил премии Министерства обороны СССР, главкома ВВС, начальника погранвойск СССР.

Редактор отдела газеты «Земля нижегородская». Живет в Нижнем Новгороде.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА

Утро 19 июля 1936 года центральные газеты страны вышли с жирными траурными рамками по всем страницам. Умер Горький... Алексей Максимович... Великий пролетарский писатель... Буревестник революции...

Заключение врачей отвечало на вопрос, возникший у каждого:

«Смерть А.М. Горького последовала в связи с острым воспалительным процессом в нижней доли легкого, повлекшим за собой острое расширение и паралич сердца».

Кто бы знал, что таким будет исход после его тайной встречи с внучками, болевшими гриппом. В тот день он был утомлен после приезда из Крыма, но встретиться с девочками очень хотелось, и ему эту встречу устроили. Ослабленный организм принял изрядную дозу заразы, с которой справиться ему не удалось.

Вопреки желанию родных, которые хотели похоронить Алексея Максимовича на Новодевичьем, поближе к сыну, и его волеизъявлению, Горького кремировали. Вышедшие после похорон газеты обнадежили:

«Прах его покоится в почетном месте земного шара – в Кремлевской стене на Красной площади».

В «Правде» разразился стихами «дежурный» поэт Демьян Бедный, поднаторевший писать панегирики:

Художник удивительной судьбы,
Боец всеокрушимейшей удачи,
Друг класса, сбившего дворянские гербы,
И буревестник классовой борьбы...
Дать верный лик его – труднее нет задачи.

Отдавший жизнь свою великой цели, он,
Чей путь был боевым и мудро-человечным,
Войдет в советский пантеон
Художником, бойцом и нашим другом вечным.

Одна из строчек стиха была пророческой: «Дать верный лик его – труднее нет задачи».

И к слову она пришлась. На следующий день после похорон в «Известиях» можно было прочитать сообщение:

О памятнике А.М. Горькому

Для увековечения Алексея Максимовича Горького Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный комитет ВКП(б) постановили воздвигнуть памятники А.М. Горькому в гг. Горьком, Ленинграде и Москве за счёт государства.

Поручено Комитету искусств при СНК Союза СССР организовать конкурс на памятник А. М. Горькому с привлечением лучших сил.

Наверное, лучшим скульптурным силам тогда думалось, что они легко справятся с этой задачей. Горький был колоритной фигурой, а лицо его будто было сотворено резчиком. Тут даже не надо было особо подбирать материал. Подойдет глина, гипс, мрамор, гранит, бронза... В мастерских уже стояли эскизные заготовки выставочных скульптур Горького.

Никто бы тогда не подумал, что для выполнения постановления Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) упонадобится долгих 16 лет.

Первые три года «лучшие силы» потратили на то, чтобы «дать верный лик» Горького.

К исканиям подключились все, у кого разгорелись буйные фантазии на тему – каким видится памятник Горькому и где он должен стоять?

Строки писем и газетных публикаций с предложениями невозможно читать без определенного содрогания: а вдруг хоть одно из этих предложение было бы принято.

Вот, к примеру, один из авторов предлагал поставить памятник Горькому на Стрелке. Но не просто памятник, а возвести целый «музей-панораму эпохи жизни и творчества писателя». Музей должен быть сооружен в виде пирамиды, на самой вершине которой стоял бы фигура Горького «в позе стремящегося вперед и с книгой в руках, и сияющая днем и ночью, как маяк». Но этого фантазеру показалось мало. По его мнению, на памятнике должен быть укреплен радиорупор, передающий ежедневно «в часы рождения и смерти писателя лучшие страницы и заветные мысли из его произведений».

Сколько бы поколений горьковчан знало наизусть всего Горького, и проклинали его час рождения!

Еще предложение: построить в Кремле на территории Мининского садика огромное здание с плоской крышей. На этой крыше и разместить Горького, а само здание использовать как выставку достижений. То, что здание закроет вид на Волгу, – не беда. Телевизионные камеры, укрепленные на памятнике, должны показывать «панорамы окрестностей города, видимых с памятника». Только что народившееся телевидение уже пошло в дело. Предложено еще и то, что мы сегодня называем интерактивностью: каждый, поднявшийся на крышу здания ночью, мог включить специальный рубильник и увидеть, как на заволжских лугах

в 2–6 километрах от города загоралась гигантская надпись – «Максим Горький». Красиво? А то!

Скульптурным гигантизмом 30-х годов заразилась и провинция. Чем она хуже?

Крестьянин Успенский из деревни Красная Слобода Большемурашкинского района видел писателя на невысоком гранитном пьедестале, а у подножия распластавшегося в гордом взлете буревестника. И еще группу героев романа «Мать», «устремляющихся в революционном порыве», тут же «как символ гибели старого мира под натиском этой силы – изображение смертельно растерянного Артамонова».

Были вполне прагматичные предложения. Собор Александра Невского на Стрелке по причине наступления всеобщего атеизма оказался не нужным. Взрывать его раздумали. Что ж ему пропадать зря. Вот на самую верхотуру и предполагалось водрузить Горького. Заодно, он и маяком послужит.

Или еще экономичный вариант. Место на Дмитровской башне кремля. Попутно можно и площадь переименовать.

Скульпторы, на которых возлагалась надежда по поиску «верного лика» писателя, свои поездки в Горький не афишировали, но многие здесь побывали, прикидывая, где бы мог встать Горький.

Летом 1938 года в город приехал малоизвестный скульптор Исаак Абрамович Менделевич. Известным он станет после того, как в городе появится памятник Чкалову его работы. А пока они просто друзья.

Скульптора сопровождал Чкалов, а встречал журналист Леонид Кудреватых, помощник летчика по депутатским делам и еще кто-то, оставшийся неизвестным.

– Москвич, – рекомендовал Чкалов своего спутника.

Целый день Чкалов водил москвича по городу, показывал ему красивые места, гулял с ним по Верхневолжской набережной.

Чкалов как депутат, избранный в Верховный Совет СССР от трудящихся Горьковской области, и как истый волгарь глубоко интересовался ходом проектирования памятника великому земляку – Алексею Максимовичу Горькому и выбором места для строительства этого памятника в нашем городе. А скульптор Менделевич в то время как раз работал над проектом памятника великому пролетарскому писателю.

В предвечерние сумерки Валерий Павлович и Менделевич стояли на Откосе.

– Посмотри, Исаак Абрамович, – объяснял Чкалов скульптору, – какой это прелестный город. Тут сходятся и братаются две великие русские реки. Тут зелень откосов и корпуса новых заводов-гигантов. Памятник Алексею Максимовичу должен быть виден со всех концов города. Его надо установить на таком месте, чтобы им любовались с пароходов, подходящих к городу по руслу обеих рек. Одним словом, надо создать грандиозное произведение искусства. Такое произведение, чтобы посмотреть его приезжали со всех концов нашей большой страны.

Летчик и скульптор долго ходили по Откоосу, подбирая место, где может встать памятник Горькому. Любил Горький Волгу и волжский люд. Самое место и памятнику стоять на высоком откосе. Наперво так и порешили.

Чкалов внимательно следил, как продвигается работа у скульптора. И уже в Москве завез нижегородского журналиста к нему в мастерскую.

– Прошу сюда, – пригласил к одному из станков. Он осторожно снял марлю, и перед нашими глазами предстал проект грандиозного памятника Алексею Максимовичу Горькому. Этот проект скульптор изготовил для выставки.

Скульптор мыслит осуществление своего произведения при определенном ансамбле городских кварталов и близлежащих к памятнику построек. На большой гранитной площадке, по краям которой расположены фигуры людей различных профессий, возрастов и национальностей, читающих произведения Горького, возвышается громадная глыба, увенчанная статуей писателя.

Скульптор предлагает три варианта статуи: Горький, смотрящий вдаль в Заволжье; Горький в начале творческой деятельности – он куда-то идет с закинутым за плечи плащом; и Горький устремленный вперед, призывающий.

Высота всего памятника в натуре мыслится примерно в 45–50 метров.

Чкалов внимательно осмотрел проект, сделал несколько замечаний, а потом, подумав, сказал:

– Знаешь, как мы с Исаак Абрамовичем думаем это сделать?

Памятник будет стоять высоко, на горе, против Окского моста. Надо сделать на гору широкую мраморную лестницу. Это будет лестница более красивая, чем прославленная лестница в Одессе. По бокам ее нужно расположить фигуры героев горьковских произведений. И сразу, когда человек пересекает Оку, перед ним встает величественная картина. По ступеням белого мрамора он поднимается к памятнику человеку, имя которого носит город.

Этот рассказ о посещении скульптора нижегородским репортером Леонидом Кудреватых и Чкаловым был опубликован в «Горьковской коммуне» 27 декабря 1938 года, через двенадцать дней после гибели Чкалова.

Одно из выбранных мест, которые облюбовали скульптор и летчик, у Георгиевской башни, через два года займет памятник летчику. Бытующая нижегородская легенда упорно твердит, что Чкалов занял место Горького. Это не совсем так. Площадка у башни рассматривалась как один из рабочих вариантов. Многие приезжавшие скульпторы положили на нее глаз, но считали, что она тесновата для их замыслов, им не нравилось будущее соседство современного писателя с глубокой стариной кремля, не устраивала скванность композиции, которую «диктовала» Георгиевская башня.

Как мы уже знаем, Чкалов и скульптор Менделевич выбрали место против Окского моста. Целая гора была в их распоряжении.

Эта история стала очередной нижегородской легендой, и ее часто можно слышать из уст экскурсоводов, вводящих в заблуждение гостей города. Правда, заблуждение это сиюминутное, гости тут же забывали о пальме первенства в выборе места для памятника Горькому, благо стоит он совсем в другом месте.

Вполне возможно, что ни Чкалов, ни Менделевич не ведали, что подхватили чужую идею с установкой памятника. Даже сейчас, выйдя на это место Откоса, чувствуешь, как дух захватывает от широты увиденного. Правда, место Горького там занял Жюль Верн, но и Горькому Откоса досталось. Давно уже сидит он неподалеку, охватывая взглядом свою любимую Волгу.

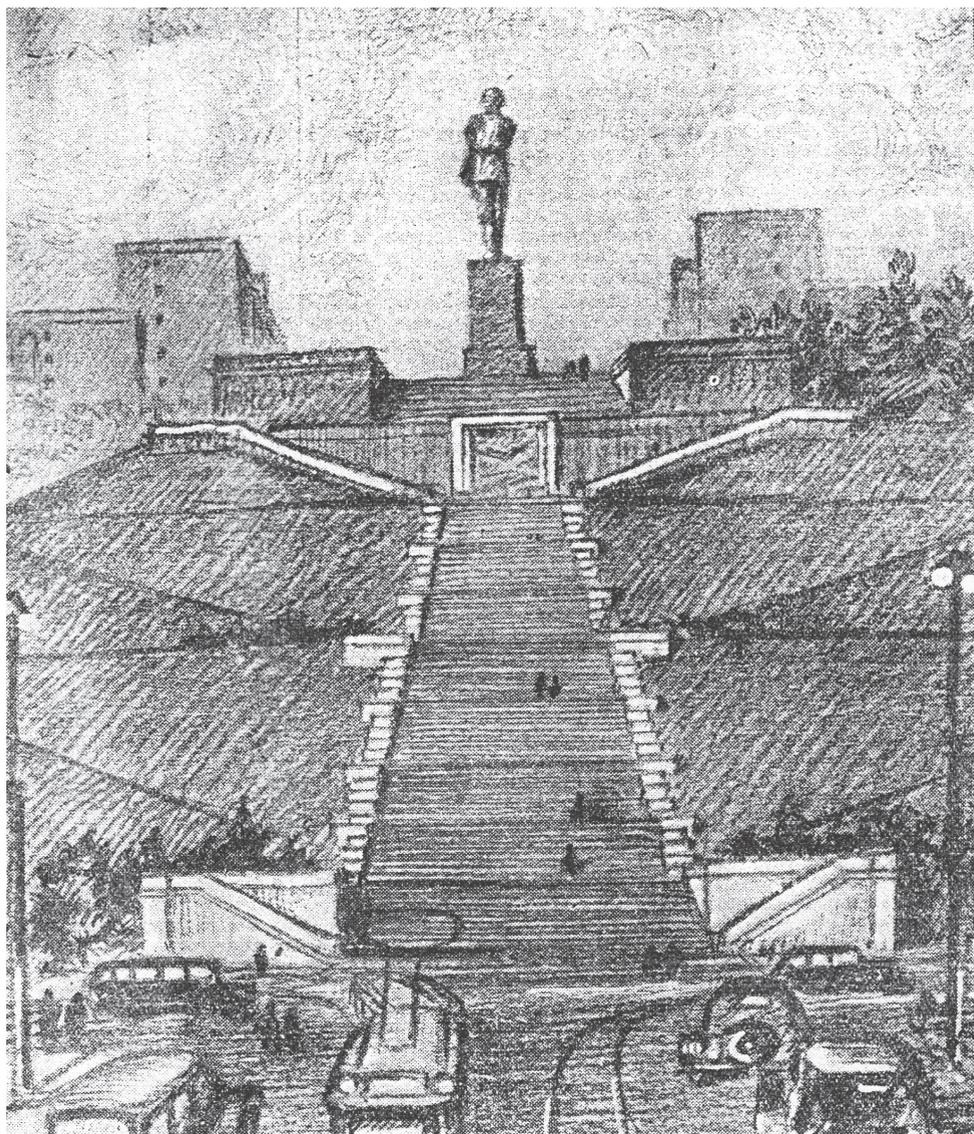
Восстановим справедливость, а для этого проследим хронологию возникновения идеи постановки памятника Горькому именно на этом месте Откоса. Чкалов с Менделевичем посетили это место летом 1938 года.

А вот заметка из газеты «Правда» от 21 октября 1936 года.

На горьковских предприятиях «Красное Сормово», автозаводе имени Молотова и других обсуждался вопрос, на каком месте воздвигнуть памятник Алексею Максимовичу Горькому в городе, носящем его имя.

После широкого обсуждения вопроса среди трудящихся города городской совет и краевой исполнительный комитет на специальном совещании с участием известного скульптора проф. Манизера решили установить памятник на горе, при слиянии Волги и Оки.

На участке, намеченном для сооружения памятника, начались работы.



Заметим, это писала газета «Правда» как о деле решенном. Правда, никаких работ на Откосе не велось еще три года, так как памятника Горькому не было в природе.

А теперь обратите внимание на рисунок, сделанный тогда еще молодым нижегородским архитектором Святославом Леонидовичем Агафоновым. Он опубликован в «Горьковской коммуне» 27 октября

1939 года. Вот так должен был выглядеть памятник Горькому на реконструируемом Комсомольском съезде. Название дороги от Окского моста в гору вряд ли кто сейчас уже помнит. Оно не прижилось. Говорят, что у приезжающих в Горький был всегда один вопрос: «В честь какого по счету съезда названа эта дорога?» Действительно, была нелепица, и с названием быстро простились.

Вам не напоминает этот эскиз иллюстрированную идею Чкалова, которую он высказал годом раньше?

А теперь обратите внимание на сам памятник. Знакомый силуэт? Именно такой Алексей Максимович Горький стоит в сквере нашего города на площади, носящей его же имя.

Все правильно. В апреле 1939 года в помещении Музея А.М. Горького Комитета по делам искусств при СНК СССР в Москве состоялась выставка проектов памятников А.М. Горькому. На этой выставке шел отбор памятников для Москвы, Горького и Ленинграда. Для столицы отобрали скульптуру работы Ивана Дмитриевича Шадра, а для Горького – Веры Игнатьевны Мухиной. Ленинград оставался пока без памятника. Достойных работ не было.

Так что горьковчане впервые увидели памятник своему земляку, который должен быть установлен в городе его имени, в октябре 1939 года. И все знали, что его автор та самая Мухина, которая прославилась огромным монументом «Рабочий и колхозница».

Но приключения памятника Алексею Максимовичу Горькому на этом не заканчиваются.

Мысленно перенесемся в апрельские дни 1939 года, когда в Москве была развернута выставка проектов памятников Горькому. Разве нам не интересно узнать, каким виделся памятник профессиональным скульпторам? Насколько у них хватало фантазии.

Газета «Правда» сообщила, что в Москве предполагается установить бронзового Горького на Манежной площади, на углу проспектов Горького и Кирова в Ленинграде и, как мы уже знаем, на волжском Откосе в Горьком.

Начнем наш осмотр с памятника, автором которого была Вера Игнатьевна Мухина. Она представила трехметровую фигуру молодого Горького. «Спокойная и уверенная поза, решительное выражение смелого лица писателя, только что вступившего на широкий путь общественной и литературной деятельности» – таким Горького увидели зрители. «Верный лик» у Мухиной сложился сразу, без вариантов. Горького она хорошо знала. Ей пришлось делать надгробный памятник сыну писателя – Максиму на Новодевичье кладбище. Тогда она сразу же «попала» в образ, и Горький без замечаний одобрил работу скульптора. Правда, Мухина расценила это по-своему:

«Мне кажется, это было чувство художника, что другому художнику мешать не надо».

В зале по соседству с Мухиной разместил свои работы известный уже нам скульптор Менделевич. Ничего нового, кроме того, что мы знаем, он в свои три скульптуры не внес, разве что у постамента – предполагаемого скалистого утеса, появились четыре скульптурные группы, показывающие читателей произведений Горького. Памятник был рассчитан на постановку его на волжском Откосе.

Дальше газеты сообщали: «Скульптор Королев меняет это место на другое, правда, не худшее. Он проектирует памятник внутри Горьковского кремля в окружении кремлевских стен, уступами спускающихся

к Волге. Эти уступы дали скульптору прекрасный мотив волн (скорее морских, чем волжских), разбивавшихся о камень, на котором стоит фигура Горького».

Знавшие скульптора Бориса Даниловича Королева, несомненно, были удивлены, увидев на выставке вполне реалистичный памятник писателю. Горький стоит на высокой скале, фигура писателя напоминала скульптуру Мухиной – молодого Горького. Чему же удивились бы знатоки творчества Бориса Даниловича Королева?

В то время скульптор был признанным кубистом. Он пытался приспособить то направление, в котором он работал, для создания памятников, которых требовалось все больше и больше. Он участвовал в первом советском конкурсе по «выработке проектов памятников Российской социалистической революции», положение которого утвердил сам Ленин. Королев избрал для себя образ анархиста Михаила Бакунина. Кстати, в этом же конкурсе участвовала и Вера Игнатьевна Мухина.

Современники, видевшие знаменитого анархиста Бакунина в гипсовом исполнении Королева, тут же прозвали его «марсианским идолом». Критики успели написать: «Такого смелого опыта не было дано совершить ни одному кубисту».

Но этого «смелого опыта» не довелось увидеть массовому зрителю. Памятник снесли еще до открытия.

С Горьким скульптор был уже осторожен и не подверг его «кубизации», но критика обошла проект монумента молчанием, и мы нашли в старом журнале лишь его изображение.

Поднаторевший в скульптурных изображениях Ленина и Сталина скульптор Сергей Меркуров придал Горькому позу оратора с поднятой рукой. Но к чему призывал писатель. К буре? Но она уже грянула.

Кому-то из скульпторов Горький показался похожим на деревенского парня, приехавшего в город на заработки, а кому-то скорее «на украинского богатыря, нежели на русского пролетария».

Первоначально, по замыслу, Вера Игнатьевна Мухина планировала своего Горького для установки на Манежной площади. Архитектор Сергей Замков помог ей прорисовать, как все должно быть.

Но жюри конкурса все больше склонялось к другой фигуре Алексея Максимовича Горького, которую вылепил скульптор Иван Дмитриевич Шадр. Его Горький – это человек на склоне жизни со шляпой и батожкам в руке. Таким его знала Москва.

Для города Горького писатель остался молодым бунтарем в неизменной косоворотке и сапогах с заправленными туда брюками. Еще была широкополая шляпа, но скульптор ее исключила. Волжский ветер должен трепать волосы и плащ писателя. Кстати, именно таким Горький предстает на многих фотографиях нижегородского светописца Максима Петровича Дмитриева. Сейчас уже забыто, но именно эти тиражированные фотографии, продававшиеся на книжных лотках, послужат для молодых современников писателя примером моды. Горькому будут подражать, по мнению молодых, именно так должен был выглядеть «человек из народа».

Вера Игнатьевна Мухина вдумчиво работала над образом Горького, ее сохранившиеся записи хоть и несут заряд патетики, но показывают напряженный творческий процесс скульптора.

«Образ Горького... должен был в моем представлении обобщить нижегородский период его жизни. Мне хотелось, чтобы боль за попранное человеческое достоинство сквозила в его суровом лице, в глазах,

устремленных вдаль, в сжатом кулаке, сдерживаемом другой рукой. Он – как натянутая струна, он сам – дитя назревающей бури, он буревестник революции».

Эти строчки, написанные Верой Игнатьевной Мухиной, появились в «Литературной газете» 2 августа 1952 года, в то время, когда в Горьком шли работы по закладке фундамента памятника.

«Уже в нижегородский период со всей определенностью проявились важнейшие черты личного и творческого облика Горького. Каковы эти черты, выделявшие писателя среди его современников? В работе над памятником Горькому мне пришлось задуматься над ними. Одним из основных качеств, определяющих значение писателя, кроме таланта, является степень его гражданственности. Ею в высшей степени обладал Горький: он не был созерцателем жизни! Страстная, боевая активность отношения к ней – один из основополагающих элементов горьковского миропонимания».

Кроме основной фигуры писателя к памятнику должны были примыкать еще три скульптуры: фигура Матери, поднимавшей упавшее знамя, фигура Данко, протягивающего к небу пылающее сердце, и срывающаяся с волны птица-буревестник.

Для Мухиной памятник Горькому был не просто правительственным заказом. Кто хорошо знал Веру Игнатьевну, говорили, что она могла под любым предлогом отказаться от работы – если замечала что-то чуждое для себя в нравственном плане. В галерее созданных ею скульптурных портретов нет ни одного изображения «вождей». Ей заказывали портрет Сталина, но при условии: чтобы не отвлекать вождя, лепить его по фотографии. Она ни секунды не колебалась и ответила отказом. Домашним же сказала: «Я не могу лепить человека с таким узким лбом».

А возмись она за портрет Горького при жизни, подошел бы он ей в «нравственном плане»?

Думается, что ответ будет утвердительным. В жизни Мухиной, а вернее в судьбе ее семьи, Горький сыграл очень большую «нравственную» роль.

Мужем Веры Игнатьевны был военный врач Алексей Андреевич Замков. Познакомились они в разгар Первой мировой войны, когда она медсестрой работала в госпитале. Алексей Андреевич Замков до сих пор остается фигурой загадочной и мистической. В анкетах он писал, что по своему происхождению он из крестьян. Много позже была найдена его фотография, где он предстает в форме полковника царской армии. Видимо, Алексей Андреевич ее пропустил и не уничтожил.

В разработку чекистов он попал сразу же, как только сделал успешную врачебную карьеру. К нему за помощью стали обращаться московские знаменитости, лечил он и Горького. За всеми этими людьми нужен был пристальный чекистский догляд. Да и за самим доктором тоже. Он к тому времени изобрел гормональный препарат, омолаживающий клетки человеческого организма. Препарат пользовался большим спросом, особенно у жен партийной элиты. Завистливые коллеги обвинили Замкова в мошенничестве и шарлатанстве. Их поддержала газета «Известия».

Один из пациентов доктора посоветовал ему уехать из страны. Алексей Андреевич Замков дрогнул...

Откуда ему было знать, что подбивал его на выезд провокатор из ОГПУ. Вера Игнатьевна Мухина согласилась следовать за мужем. Они прихватили сынишку и отправились в неизвестность...

А неизвестность закончилась в Харькове, где их арестовали. Не сносить бы им головы, но еще не наступили времена жесточайших репрессий.

Вера Игнатьевна так описывала произошедшее:

«Первой допросили меня. Мужа подозревали в том, что он хотел продать за границей секрет своего изобретения. Я сказала, что все было напечатано, открыто и ни от кого не скрывалось.

Меня отпустили, и начались страдания жены, у которой арестовали мужа. Это продолжалось три месяца. Наконец, ко мне домой пришел следователь и сообщил, что мы высылаемся на три года с конфискацией имущества. Я заплакала».

Местом ссылки стал Воронеж. Это, конечно, не безбрежная лесная даль Сибири...

За вызволение семьи принялся Максим Горький. Он мобилизовал пациентов Замкова и поклонников Мухиной. Писал в Политбюро, что талантливому врачу Алексею Андреевичу Замкову требуется не просто свобода, но и... собственный институт.

Удивительно, но Политбюро пошло навстречу. Замков стал заведовать лабораторией, которая со временем переросла в Государственный институт урогравиданотерапии.

Мухина занялась отнятым у нее делом.

Неизвестно, благодарила ли она Горького за вызволение, но вопреки своим принципам лепила его портрет уже по фотографиям и своей памяти.

Но впереди была еще одна опасность, которая могла прервать работу над памятником. И может быть, навсегда. Наступили уже такие времена, когда прошлые заслуги человека ни во что не ставились, а «дела» раскручивались по наветам, анонимкам и доносам...

Донос на Мухину поступил в госкомиссию ЦК партии, когда сдавалась знаменитая скульптура «Рабочий и колхозница», предназначенная венчать советский павильон на Всемирной выставке в Париже. Какой-то доброхот усмотрел в развевающемся шарфе профиль Троцкого. Правда это или неправда, но говорят, что осматривать скульптуру тайно приезжал сам Сталин. Никакого Троцкого он в шарфе не нашел.

После всех этих перипетий Вера Игнатьевна Мухина наконец-то вернулась к памятнику Горькому. Да не к одному, а сразу к двум. Умирая, скульптор Иван Дмитриевич Шадр взял с нее слово, что она закончит его памятник писателю.

А в это время «Горьковская коммуна» сообщила:

«С весны на месте строительства памятника в районе улицы Заломова перед Окским мостом начнутся геологоизыскательские, топографические и другие работы.

Совет Народных Комиссаров СССР отпустил 400 тысяч рублей на предварительные работы по строительству памятника Алексею Максимовичу Горькому на родине писателя».

Оба события случились весной 1941 года. Через месяц с небольшим будет не до них...

Лишь 24 июля 1947 года «Горьковская коммуна» смогла оповестить земляков писателя о том, что «завод “Монументскульптура” закончил отливку бронзового памятника Алексею Максимовичу Горькому, который будет установлен в гор. Горьком. Все работы по сборке памятника завод предполагает завершить в августе».

А работать над памятником Вера Игнатьевна Мухина начала сразу же после окончания войны. В августе 1945 года она с двумя подругами, тоже скульпторами, отправляется в Горький, чтобы окончательно затвердить местопребывание памятника.

«Проехались с большим толком: выбрали для памятника другое место – рядом с этим, но выгоднее. Берег по Оке при слиянии весь зеленый от травы, очень крутой, в него упирается мост, который идет от Канавина (бывшая Нижегородская ярмарка), от Сормова и Соц.города (огромные заводы). Сначала был памятник запроектирован под мостом, но мы выбрали немного левее, очень холм хорош над Окой. Предисполкому тоже понравилось. Поставили 9-метровый силуэт, выполненный из фанеры, оказалось, что от него гора сразу сократилась. Поставили 7-метровый и попали в точку. Всем понравилось и нам тоже. Сразу нашли размер. Это очень большое дело».

Действительно, определилось главное – памятникорост Алексея Максимовича. Мухиной требовалось лишь увеличить давно готовую трехметровую уже утвержденную скульптуру. Заметим, замысел при этом не меняется. Накануне сдачи семиметровой скульптуры Горького в отливку она в газетном интервью сообщила горьковчанам, что по-прежнему рядом с памятником писателю видит Ниловну, поднимающую знамя, Данко с горящим сердцем и гигантского шестиметрового буревестника, срывающегося с волны.

В Горьком разворачиваются работы по закладке фундамента памятника, укрепляется откос. Приближался очередной юбилей писателя – его 80-летие, чем не повод для открытия монумента. И все шло к этому.

Документально точно так и неизвестно, почему произошел срыв памятного юбилейного события, но, видимо, без «помощи» вождя народов здесь не обошлось. Конечно, Сталин знал, что памятник Горькому для его родного города уже отлит. Что же получается: Москва потянется за Горьким? Вождя понять можно. Писатель был для него одной из ключевых политических фигур, таковой и остался. Горький был «приманкой» для писателей мирового уровня, которым щедро показывали «плоды» советской жизни. И Сталин берет идеологическое руководство в свои руки. Где-то же есть памятник Горькому, который изваял Шадр. Почему он не в работе?

И тут вспомнили, что Мухина дала Шадру слово довести все работы по этому памятнику до конца. Ее и призвали к делу. Долгое время авторами памятника Горькому, который стоял у Белорусского вокзала в Москве, считались И. Шадр и В. Мухина. Почему же так? Скульптура Шадра получила одобрение на выставке, обошла изваяние, предложенное Верой Игнатьевной Мухиной, и в итоге почему-то приобрела двух авторов.

Здесь кроется очередная загадка, которую мы и попытаемся решить прямо сейчас. Для этого мы вновь возвращаемся к фигуре Сталина. В марте 1939 года он посылает двух «знатоков» монументального искусства – Лазаря Кагановича и Вячеслава Молотова пристальнее рассмотреть будущий памятник Горькому, предназначенный для Москвы.

Молотов отнесся к рассматриваемой фигуре писателя вполне лояльно, зато у Кагановича замечаний было немало. Правда, в одном они были единомышленны: «Образ Горького как основоположника пролетарской литературы в основном показан правильно».

А дальше:

«В фигуре непропорциональны соотношения между туловищем и головой... Излишняя приподнятость головы и вытянутая шея усиливают впечатление о недостаточной величине головы и подбородка, а также подчеркивают чрезмерную худобу горла... Подчеркнутая сутуловатость создает впечатление горба с левой стороны спины... Указанные недостатки усугубляются неправильными пропорциями одежды: пиджак короток и обтянут, небрежно положенный воротник рубашки искусственно подчеркивает и без того длинную шею, широкий рукав пальто утрирует толщину правой руки».

И как резюме ко всему сказанному:

«Таким образом, изготовленная фигура памятника А.М. Горького в том виде, как он есть, в настоящее время не может быть установлена».

Неужели у этих «знатоков» не нашлось бы придираков и к памятнику, предназначенному в Горький, – но, к счастью, Сталин не отправил их судить еще одну бронзовую отливку. Может, и посчитал: для провинции сойдет.

Можно себе представить «радость» Веры Игнатьевны Мухиной, получившей предписание строгих рецензентов. Памятник Шадра уже отлит в бронзе, и как можно все это исправить? Все надо было делать заново.

Сын Веры Игнатьевны вспоминал: «Я принялся ее уговаривать отказать от дальнейшей работы над памятником, аргументируя это тем, что в конце концов это образ Шадра, а не ее и она не может нести ответственности за изменения чужого образа. Но не тут-то было. Со слезами на глазах мама говорила, что она обещала Ванечке довести до конца эту работу, что ее окончание не только дело дружбы и чести, но что оно разобьет лед непрерывных запретов на памятники в Москве».

А надо сказать, что со времен ленинского указа о монументальной пропаганде, памятники в Москве ушедшим из жизни современникам появлялись крайне редко. Кандидатуры на возводимые монументы проходили строжайший отбор и утверждение вождя. Достаточно сказать, что есть указ об увековечивании памяти нашего земляка Валерия Павловича Чкалова, много раз речь заходила о сооружении ему памятника, но он так в Москве и не появился. У Сталина был свой взгляд на роль личности в истории, и он расставлял эти личности по своей иерархической лестнице. И если бы Сталин не хватился, трудно сказать, появился бы памятник Горькому в Москве в те годы. К провинции Сталин претензий не имел – ставьте, эти люди ваши!

Вера Игнатьевна, собравшись с силами, взялась за переработку памятника. Сын писал: «...Мы решили переработку эту делать прямо по гипсовой большой модели, к счастью, сохранившейся после бронзовой отливки. Прежде всего мы переработали голову. Изменения произошли очень большие. Более “спокойная” голова потребовала от нас изменений всей фигуры в сторону смягчения силуэта. Гипсовая фигура была установлена на высоте пьедестала, чтобы можно было сразу учесть не только все нужные ракурсы точки зрения, но и общий силуэт с далеких расстояний. Смягчение силуэта потребовало от нас полной переработки спины и всего правого бока статуи».

Передвижение каждой складки потребовало срубания (вручную) многокилограммовых слоев гипса и наращивания их снова в других местах. Эта колоссальная работа заняла у нас все лето и всю осень, когда мы работали на открытом воздухе на лесах зачастую по 12–15 часов в сутки в ветер и в дождь».

Приходилось по несколько раз в день спускаться с лесов и проверять, как смотрится скульптура снизу. За время работы обострилась гипертония, мучила одышка и, как результат – декомпенсация сердца и инфаркт легкого. На открытие памятника, которое состоялось в июне 1951 года, она не пришла, была прикована к постели.

А в это время в Горьком шла полным ходом реконструкция площади, которую в разные годы называли по-разному: Новая, Ново-Базарная, Сенная, Арестантская, 1 Мая. У Алексея Максимовича Горького есть ее описание:

«Широко развертывается Сенная площадь, замкнутая желтым корпусом арестантских рот и пожарной каланчей свинцового цвета. Вокруг глазастой вышки каланчи вертится пожарный сторож, как собака на цепи. Вся площадь изрезана оврагами, в одном на дне его стоит зеленоватая жижа».

Эту самую площадь решено было благоустроить и назвать в честь писателя. И памятник, который должен был стоять на откосе, должен был переместиться на эту площадь.

Вера Игнатьевна Мухина к своим работам относилась довольно своеобразно. «У меня несчастье, – говорила она. – Пока делаю вещи, я их люблю. А потом хоть бы их не было...» Быть может, это своеобразное отношение и спасло ее от сердечного приступа, когда она получила известие о переносе памятника. Столько лет жила в ней идея этого монумента, которая начала воплощаться, и...

Официальная причина отказа от воплощения ее замысла выражалась в заключении геологов, они не давали полной гарантии, что откос выдержит 13-тонного бронзового Горького и не сползет вниз, унося за собой пролетарского писателя.

Но есть еще одна версия, которую описал сын Веры Игнатьевны Всеволод: «На каком-то обсуждении в горисполкоме какое-то ответственное лицо заявило: “Это же не дело, товарищи, куда у вас смотрит Горький? Он смотрит на место ярмарки и Канавино, куда он к потаскухам ходил”. Все! Городские власти охватила такая паника, что они категорически потребовали переноса памятника».

Действительно, сдвинув Горького к краю откоса, Мухина «оторвала» взгляд писателя от Волги и переместила на Оку, на Нижегородскую ярмарку, которая вполне могла восприниматься как рассадник чего-то нехорошего, к чему мог быть причастен и Алексей Максимович.

За бронзовую честь писателя побеспокоились, заключив памятник в окружение площади.

В последний раз Вера Игнатьевна Мухина видела свое творение в январе 1952 года, когда она вместе с архитектором П. Штеллером выбирала лучшее положение памятника. Больше он ее не интересовал. Попутно ей пришлось прийти в ужас, когда она увидела черного Максимыча, словно покрытого ваксой. Она попросила об одном: смыть краску, сделать скульптуру светлее и зеленеватее. Собственно, сейчас мы ее и такой видим. Получили отставку Ниловна, Данко, буревестник. Памятник стал похож на свои стандартные подобия, стоящие в цветочных клумбах. Сроки его открытия несколько раз переносились, наконец 2 ноября 1952 года это произошло. Как водится, недобрым словом помянули врагов народа, убивших писателя.

Веры Игнатьевны Мухиной на открытии памятника не было. Объявили, что она приболела, но ходил и такой слух, что обиделась. Она имела на это право.

Через год ее не стало. Она умерла от стенокардии, которую называли болезнью каменотесов.

На этом закончились приключения памятника, которые продолжались 16 долгих лет. К этим приключениям можно добавить и те, что были связаны с прокладкой метро. Над площадью нависла опасность уничтожения. И хоть было обещано сохранить памятник именно здесь, но в это было трудно поверить. Многотонной бронзовой фигуре писателя трудно было устоять над станцией совсем неглубокого заложения. Последние пикетчики, дежурившие и ночами, ушли с площади, когда стало точно ясно, что от предполагаемого проекта отказались.

«Люблю нижегородцев – хороший народ!» – говаривал наш великий земляк.

Мы тоже вас любим, Алексей Максимович!

Стихи по кругу

Александр ПОПОВ

Нижний Новгород

* * *

И стало нормой – лицемерить,
Но, чашу лжи испив до дна,
Не сможем впредь и правде верить.
Правд – много, Истина – одна...

* * *

Вершилось в храме таинство крещения,
К Всевышнему с молитвой обращенье
Под пристальными взглядами с икон,
Святых, казалось, улыбались лики,
И возвещал младенец миру криком,
Что он к великой вере приобщён.

Свеч зыбкий свет ложился на иконы,
Заворожённый, слушал я каноны,
А в вышине плыл колокольный звон,
И мысль одна владела мной всецело:
Чтоб человека зло не одолело,
Всю жизнь любви учиться должен он...

* * *

Волна, играя и резвясь,
Накрыла волнорез крылом,
А волнорез, не шевелясь,
Лежал и думал о своём...

Наталья ОКЕНЧИЦ

Михайловск, Ставропольский край

Годы предстоящие

В семьдесят с лишним лет
Манит седое небо,
И поднебесный свет
Пахнет кусочком хлеба.

В семьдесят с лишним лет
Солнце всего дороже.
Смотришь прохожим вслед...
– Кто же тебе поможет?

В семьдесят с лишним лет
Тоже смеяться можно.
И отогреет плед.
Я доживу... возможно...

В семьдесят с лишним лет
Не утихают раны.
Помнишь любви рассвет,
И не хватает мамы.

Срок давности

Разве поздно ворвался свет
Прямо в душу, пронзая тело?
За ошибки далёких лет
Я прощенье просить хотела.

Трепетала, ждала, звала.
На воде собирала блики.
Уходила на край села.
Только ветер меня окликнул.

Только поле смотрело вслед,
Провожая пернатых стаю.
За ошибки далёких лет
Ветер в поле меня прощает.

* * *

Шкура бурая под ноги брошена.
Где ж ты бегал, красивый медведь?
Я в гостях у мужчины хорошего,
Только больно на шкуру смотреть.

Два бокала, в салате – горошины,
Две улыбки, балык, виноград...
Шкура бурая под ноги брошена,
И поленья в камине горят...

Всё смешалось с горчинкой непрошеной.
Ухожу, чтобы не зареветь.
Шкура бурая под ноги брошена...
Мы не все бессердечны, медведь...

Родные места. Возвращение...

Много счастья на свете всякого,
От которого – слёзы из глаз.

Я увидела речку – заплакала.
Речка быстрая, горы – Кавказ.

Три орла небо меряют крыльями.
Целый мир ожидает вдали.
И спешу я дорогами пыльными.
А душа обновилась. Болит...

Мне глаза улыбаются карие.
Та улыбка, как утренний свет.
Неужели разлуки состарили
Нас с тобою, подруга?.. Привет!..

Мстислав ШУТАН

Нижний Новгород

* * *

Вот счастье! вот права...

А. С. Пушкин

О счастье и правах с улыбкой говорить,
природу, творчество, любовь боготворить,
отламывать от жизни твёрдую коросту,
смиренью цену знать и шутке лёгкой, острой,
но саркастических не допускать ухмылок
и собственную речь не превращать в обмылок,
Мадонне Бенуа великого да Винчи
ответить вздохом и шепнуть о тайном, личном,
нечаянно порхнуть на струны старой скрипки
и стать её смычком, пронзительным и гибким...

* * *

И звезда с звездой говорит.

М. Ю. Лермонтов

Век суров и неоригинален:
Мерзостями до краёв набит...
Но – весна! И карта из проталин.
И звезда с звездой говорит.

Что-то вздулось, сдвинулось, сместилось –
и мускулатуру не узнать:
Неужели гнев сменил на милость?
Но звезды столетью не достать.

Не хватает ловкости и роста...
Только мне бы чудо сотворить:
Со звездой ласково и просто
пошептаться – не поговорить.

* * *

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

С. А. Есенин

На просторной лестничной площадке
славно жил и даже поживал.
Пирожочком лакочился сладким:
что дадут, то, в общем, и жевал.

Это и полезно, и приятно –
узнавать судьбу свою на вкус.
Только, мир живой и непонятный,
я к тебе как ненормальный рвусь.

Выбегу. Дыханье ледяное.
Небо в затухающем огне...
А душа-предательница ноет:
«Жизнь моя, такой ты снилась мне?»

* * *

Когда я слушаю стихи,
то вижу не гранитный камень,
а трепет смолкнувших стихий,
ласкающий ладони пламень,

в ночное таинство вхожу,
в загадку дня, как в лес, вбегаю,
рассвет во взглядах нахожу
и по складам его читаю.

А неба голубой зрачок
рифмует блики, лики, тени...
И кажется родным пучок
сплетений и переплетений.

* * *

Неужели вошёл в этот дом?
Дверь скрипит, и скрипят половицы.
День, судьба – всё случится потом,
а сейчас бы водицы напиться.

Всё, что в жизни так дорого мне, –
узы, вьюги, крутые овраги,
дышит в этом прозрачном огне –
в обжигающей холодом влаге.

Так бы эту водицу и пить,
песню ходиков слушать да слушать,
в руки взять и навек сохранить
о тоске позабывшую душу.

Сахиб МАМЕДОВ*Баку*

* * *

О прозреньи я молился Богу
И ответил мне Всевышний Бог,
Указав на ясную дорогу
Среди сотен путаных дорог.

И постиг я истину простую,
Ту, что раньше я не мог узреть:
Если жизнь прожита не впустую,
То совсем не страшно умереть.

Если знаешь, что за горизонтом,
То к черте отмеривая путь,
Понимать ты будешь с каждым годом
Все глубинней жизненную суть:

Что восход рождается с закатом –
Устье превращается в исток.
Сколько ни шагал бы ты на Запад,
Все равно вернешься на Восток.

И вот это все осозная,
В книгу жизни хочется внести
Больше дел для обретенья Рая,
Пока все не кончатся листы.

Ты прочтешь последнюю страницу.
И когда подступит тихо смерть,
Ты умрешь – но чтобы возродиться,
Как рожден был, чтобы умереть.

Вечный мир похож на этот мало.
Так же, как на землю небеса.
Быть конца не может без начала,
А начало может без конца.

Потому года терять не надо.
Всех нас ждет обещанный итог.
И я верю, что вот эту правду
Донести до каждого б я смог.

Чтобы каждый истину простую
Мог постигнуть и не пожалеть.
Если жизнь прожита не впустую,
То совсем не страшно умереть.

Елена ОСТРЫХ*Новокузнецк*

* * *

Одиноко ветер ходит,
Старое окно заводит:
Скрипы – скрипы – скрипы – скрип.

За окошком месяц чистый,
Снег идет, а счастье близко
Под рукой сопит.

Кружат думы хороводы.
Беды, радости, невзгоды –
Что судьба таит?

Кошка – беленькая шубка –
Щурится, урчит.
Крепко спит моя дочурка,
Тайны ночь хранит.

* * *

Гарцующий на звонких ножках
Льет быстрый дождь, торопится куда-то.
Сквозь солнце падает на головы прохожих.
Он, как и я, немножко виноватый,
Подобен звуку брошенных горошин
И в жаркий летний день не зван, не прошен...

Сергей МАРЧИК*Минск***Бессонница**

Ночь испытывает на прочность. Уснуть
так же тяжело,
как заставить себя сидеть в темноте.
Гложет сомнение выбора: путь
не тот. Всё не то.
И люди не те.

Вот уже лезет в окно рассвет. О чём
с ним говорить,
если каша одна в голове и не до бесед?
Сделаю вид, будто нет ничего за окном.
Нет его. Нет меня.
И бессонницы нет.

Под порошею

Под порошею
Всё, что прожито,
Всё, что прошлое
Под порошею.
Что томило и
Что тревожило,
Стало инеем
И порошею.
И лежат пути.
белоснежные,
захотел – иди,
Но не мешкая.
А не хочешь – стой
Да поглядывай,
О судьбе иной
Не загадывай.
Хоть живи до ста
Лет в именице.
Если жизнь пуста,
Что изменится?

Александр КОНОПКИН

Саров

* * *

Смотрит девочка в толщу неба,
Каждый день по дороге в школу,
Повторяя строфу сонета,
Машинально листая полу-
развалившийся том Петрарки.
Завтра может попасться Лорка –
Собираясь, она в запарке
Может выбрать любой на полке,

Ведь для девочки – всё едино.
Ей приятен бумажный запах,
Ей приятна сама картина:
Книга, девочка, снег на лапах
переживших морозы елей,
И негромкая речь прохожих,
И простуженный скрип качелей,
И перчатки из гладкой кожи.

И прозрачного неба толща.
В ней ни радости, ни упрёка,
Ни зимы, уходящей молча,
Ни кричащих грачей, до срока

прилетевших к своим берёзам, –
Пустота, тишина и холод.
Пустота, тишина и грёзы
Каждый день по дороге в школу.

Стоматолог

Бордюрный камень
Зубным протезом
Вставляют в челюсть
Проезжей части...

Мужик с кувалдой
В жилетке красной
Ровняет прикус
В дневную смену.

Собой доволен –
Теперь улыбка
Без перекосов
И без изъянов.

Устало сплюнув,
Сдаёт работу.
Он – стоматолог
Щербатых улиц.

Случайное фото

Ты резко встала, рукой схватила
За спинку стула.
Стул слишком низкий – ты получила
Почти сутулой.
И свет от лампы, такой неяркой,
Не стал подмогой.
Твоя улыбка была не жалкой,
Скорее строгой.

На тёмном фоне (что очень кстати),
Почти что чёрном,
Твоя фигура в вечернем платье
С закрытым горлом.
Так мало света. Густые тени,
Как крылья шали,
Не повторяли изгибы тела,
Скорей скрывали.

Куда ты смотришь? На эту вазу,
Где принял позу
Когда-то пышный, приятный глазу
Цветок мимозы?

А может, просто ты отвернулась,
Чтоб не читалась
В глазах усмешка, с которой юность
Глядит на старость?

Смотрю на снимок: слегка зернистый,
Без чётких линий.
Цвета фальшивят: зелёный – чистый,
Подводит синий.
Пусть профи скажут: «Там сто ошибок!»
Я не смущаюсь.
Смотрю на этот случайный снимок
И улыбаюсь.

* * *

Я всегда за твоим плечом –
Я смотрю, как ложатся волосы.
Я молчу, потому что с голосом
Что-то странное. Горячо
Под ключицами и в груди.
И дышать забываю. Нравится
Замирать, и молчать, и плавиться...
Не оглядывайся, иди.

Вячеслав МАЙОРОВ

Стерлитамак

* * *

И даль светлей,
И голос дальний ближе,
И всё родней мне русская душа,
И всё милей, которых не увижу,
И та любовь, которая прошла.
И грусть сильнее
О прошлом, о далёком,
О невозвратном, милом, о былом...
О тех краях, что не окинул оком,
О людях тех, с кем не был я знаком...

* * *

Спасибо вам за ваш привет,
За вашу ласковую нежность
И за очей лукавый свет,
И за души моей мятежность.

Спасибо вам за всё, за всё,
За кротость тихих расставаний;
За рук прохладу и тепло
Моих нечаянных мечтаний.

Вечер в деревне

Вечер тихий. Тихий шорох
За калиткой, у ворот,
Это, верно, дядя Фёдор
Сторожить амбар идёт.

Солнце ласково играет,
На порог мне льёт вино...
Чей-то пёс тоскливо лает,
Чьё-то скрипнуло окно...

Тени стали чуть длиннее,
Смех ребят, топор стучит...
Во дворе у Тимофея
Тёлка сытая мычит.

Ветер тронул ветвь рябины
И опять, чудак, – за дом...
От церквушки у низины
Колокольный слышен звон.

Голосит вдали петух,
Снова пёс лениво тьякнет;
Вновь кнутом пальнёт пастух,
Из окна полынью пахнет.

Вздвогнет эхом грусть кукушки,
Застучит опять топор.
У колодца две старушки
Не окончат разговор...

Елена СОМОВА

Нижний Новгород

* * *

Погреюсь у костра, в котором я сгорела,
В котором сердце жизнью задыхалось,
Поймаю неба сахарную алость
И мельничные жернова предела.

Листом раскроюсь высоко над птицей –
Она не знает, где блуждает искра
Звезды, которая глядела в лица
Летящих и сгорающих так быстро.

Пётр РОДИН*Воскресенское, Нижегородская область*

Крещение

А у нас зима закуролесила:
Снегопад! Стихия – Божий дар!
Завладел он китежскими весями,
Сравнивая с небом Светлояр.

За селом, за соснами, за Люндою
Всё зовёт берёзки в хоровод
На дорогу, во Крещенье людную,
Молодой, красивый Новый год.

По земле ступает новолетие.
Звонниц стон в заснеженной тиши...
Я хочу, чтоб Русь моя отметила
Праздник Возрождения Души.

Поутихнут новогодья здравицы
Ночь уймёт и снегопад окрест.
Над церквами китежскими явится
Ледяной животворящий крест.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции:

603057, Нижний Новгород,

ул. Бекетова, 24/2.

Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции

или по электронной почте:

jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются
отдельным файлом Word с указанием ав-
торства, наименования произведения и
краткой биографической справкой. Неот-
корректированные рукописи с большим
количеством ошибок не рассматриваются.

Редакция не вступает в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвраща-
ются. Ответственность за достоверность
фактов несут авторы материалов. Мнение
редакции может не совпадать с мнением
авторов.

При перепечатке материалов ссылка на
журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Подписано к печати 02.02.2018.
Выпущено в свет 26.02.2018.
Формат 70×108¹/₁₆. Усл.-печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Цена свободная.

Отпечатано в типографии
АО «ИПК «Чувашия»
428019 Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13